



ЮНОСТЬ

2



ЮНОСТЬ

*Какие сухие слова:
«Сокращение вооружения»!
Очень сухие слова...*

*Но вмешивается воображение!
И с первым всплеском зари —
во исполнение Закона —
солдаты моей земли
к станкам подходят знакомо.
Мудрость уверенных рук.
Моторов светлая дрожь...
И чья-то заморская ложь
бессильной становится вдруг!
Весенние дуют ветра,
мир*

приходит в движение...

*Какие простые слова,
какие прямые слова,
какие большие дела:
сокращение
вооружения!*

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

2

ФЕВРАЛЬ · 1960

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



Рабочий день кончился. Начинается вечер учебы.

Рисунок Ю. Вечерского.

«СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ!»

Памяти В. Маяковского

Пусть это выглядит дерзко,
но, в горы упоенно трубя,
я с самого раннего детства
считал коммунистом себя.
У наших костров негаснувших
с волнением, навек дорогим,
мы в пионерских галстучках
пели партийный гимн.
В беды самые лютые
от холода и от огня
матерь моя —

Революция —
всегда защищала меня.
Участия в битвах заждавшийся,
я верил, что долг возвращу
и матерью,
меня защищавшую,
когда-нибудь сам защищу!

Я чувствую зависть громадную.
Никак не могу утешиться.
Не воевал я —

в гражданскую.
Не воевал —
в Отечественную.

Но нет,
родился не поздно я!
Я счастлив, что мне дана
со всяческой ложью и подлостью
поаведная война!
Пусть с виду такие милые
враги порою встречаются,
переговоры мирные
на этой войне исключаются.
На этой войне мы сражаемся,
победы

трудно одерживая.
Это —
моя гражданская,
это —
моя Отечественная!

Мы —
на фронтах Революции.
Мы —
ее продолжение.
Ее продолжение —
сражение —
высокое, чистое жжение.

Я не люблю успокоившихся,
мебели уподобившихся,
мебели пыльной, грузной,
до омерзенья безвкусной.
Ходят с лицами вялыми —
куда им бороться,

оспаривать!
«Советскую власть отстаивали мы...
Чего ее дальше отстаивать!»
Советскую власть

отстаивайте
с преданностью бойцов
от старого
и от старшего,
от разномастных лжецов.
Склоняясь над пульсом колоса,
в цехах разливая литье,
врываясь в бездонность космоса,
отстаивайте ее!
Советскую власть порочило
столько разных господ!
Ей,

усмехаясь,
пророчили
полный развал и разброд.
Грозилась враги ее ярые
с бряцанием громким и с криками.
Были предатели явные,
были предатели скрытые:
каменно-равнодушные,
подписывая резолюции,
именем Революции
расстреливали Революцию.
Игра была грубая,

наглая,
и подвизалась в истории
фигура очень им надобная —
мальчик «чего изволите».
Его вы не сразу изловите.
Он хитроумен, тих.
Мальчик «чего изволите» —
довольно живучий тип.
Скользящий,
как в вазелине,
всюду он проползет.
Выгодно —
он возвеличит,
выгодно —
врагом назовет.

Мальчики эти самые,
способные-преспособные,
пальчики свои сальные
к нашим древкам приспособили.
Они,

суетливые,
потные,
делая столько подлого,
себя выдавая за подлинное,
боялись всего подлинного.
Они с цитатами вескими,
что опровергнешь едва ли,
столько раз несоветскими
советских людей называли!

Я думаю о Маяковском,
тогда еще суть их видевшем,
им,

как ужи, бескостным,
по-маяковски выдавшем.
Сейчас он хрестоматием.
Ему поставили памятник.
Но сколько воды мутили
вокруг него эти «пайньки»!
В статейках

его протаскивая,

работали,

не зевали.
Писателем непролетарским
они его называли.
Делая ему пакости,
эти ханжи и ворчател
«Стихи о советском паспорте»
при жизни не напечатали.
Но он,

исполненный юности,
живет для нас без кавычек,
огромен,

как Революция,
и, как она, бескорыстен!
Биением каждой жилки
он будет сражаться вечно,
и нам,

маяковцам жизни,
его бескорыстье завещано!

Когда мужики ряболице,
папахи и бескозырки
шли за тебя,

Революция,
то шли они бескорыстно.
Они к тебе кровно привязывались
преданно,

честно,
выстраданно.
А были те, что примазывались,—
им это было выгодно.
Они,

изгибаясь,
прислуживали,
они, извиваясь,

лестили
и предавали при случае —
это вполне в их стиле.
Гладеньки,

бархатисты,
плохого не порицали,
а после —
шли в бургомистры,
а после —

шли в полицаи.
Я знаю эту породу.
Я сыт этим знаньем по горло.

Они

в любую погоду
такие, как эта погода.
Им, кто юлит, усердствуя,
и врет на собраниях всласть,
не важно,
что власть —

Советская,

а важно им то, что власть.
А мне это очень важно
и потому тревожно.
За это я умер бы дважды
и трижды,

если бы можно!
Пусть у столов они вьются,
стараются —

кто ловчее.

Нужны тебе,
Революция,
солдаты,

а не лакеи.
Улыбка лакея приятельская —
он все, что угодно, подаст.
Душа у лакея предательская —
он все, что угодно, продаст.
Солдаты —

народ нелестивый.
Ершистый они народ.
Солдат перед ложью не стихнет.
Солдат на других не наврет.

Ершистые и колючие,
сложная ваша участь!
Порою обиды горячие
терпели вы за колючесть!
Вы столько обид получали,
столько на вас плели!
Но шли вы куда —

в полицаи?!
Вы в партизаны шли!
Как те мужики ряболице,
папахи и бескозырки,
шли вы за Революцию,
шли умирать бескорыстно.

За ваше служение истине,
за верность ей в годы бед
считаю вас коммунистами —
партийные вы или нет!
В бою вы за правду пали.
Вступаю за вами в бой,
и, беспартийный парень,
я,

Революция,
твой!

Вторжение в звездные ярусы,
великих работ напряжение,
сраженья с двуликими янусами —
все это

твое продолжение!
Горжусь я такою участью!
Я буду тверд до конца,
и из меня не получится
вкрадчивого лстеца.
Не страшно, что плохо любитя,
что грустен, как на беду,
но страшно, что Революцию
в чем-нибудь подведу.
И пусть,

не в пример неискренним,
рассчитанным чьим-то словам,
«Считайте меня коммунистом!»
вся жизнь моя скажет вам,





СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

Повесть

Рисунки Г. Калининского.

Суббота

Вечер. Ася возвращается домой. Одна. Павел ее не провожает. А два часа назад, худой, длинный, в новой светлой шляпе, он ждал Асю в вестибюле метро, обрадовался, сунул ей в руку букетик подснежников. Все было хорошо. Так бы и оставалось, если бы не ее упрямство. Увидела, отвечать на вопрос ему не хочется, — и больше спрашивать не надо было. Но Ася снова спросила. И Павел снова не ответил... Она стала допытываться. И вот добилась: идет домой одна, и больше они никогда не встретятся.

Никогда!..

А если бы не добивалась? Если бы не спрашивала? Если бы не настаивала? Тогда получилось бы еще хуже. Даже и подумать невозможно, что было бы тогда.

Дома она сказала, что придет после одиннадцати. Отец поднял глаза от газеты, посмотрел строго, но промолчал: он последние дни почти не разговаривал с Асей.

Но если она вернется домой не в одиннадцать, не в двенадцатом, а сейчас, отец не выдержит характера.

«Что случилось?» — спросит он.

«Ничего», — ответит Ася.

Не поверит. Пожмет плечами. «Не хочешь, можешь не говорить». Будет молчать, молча негодовать на того, кто посмел обидеть его дочку.

А ее никто не обижал. Так получилось. И получилось потому, что она послушалась отца. А если бы она его не послушалась?

Идти домой, где спросят, почему так рано пришла, не хочется. И вместо того, чтобы доехать на метро

до самого дома, она поднимается вверх и идет пешком по бесконечному бульвару.

На Асе новое пальто из красного бобрика, синий берет, капроновый шарфик в пеструю клетку. В руке — нарядная сумка. Сумка не ее. Сумку она взяла у Марины, соседки по лестничной площадке, которая работает в «Гастрономе», в столе заказов. С тех пор, как Ася окончила школу, Марина признала ее взрослой. Они подружились. Вот и подарочный набор купили вместе, складчину, а потом разделили: Марине сумку, а Асе шарф. Но в торжественных случаях они соединяют набор.

— Чтобы сохранить ансамбль, — говорит Марина и поясняет: — Ансамблем называется гармоническое соединение разных частей туалета, решенных в одном стиле и подходящих друг к другу по цвету и форме.

Вычитала где-то. Она модница, ходит в Дом моделей на сеансы и потом долго объясняет, что должно идти Асе. Будто Ася может тут же все это себе купить. Но пальто из бобрика Марина одобрила. И прическу тоже, хотя никакой специальной прически нет. Дома Ася соврала, что в их цехе иначе нельзя, и коротко подстриглась.

«Угадала свой стиль», — сказала Марина.

А Павел, когда Ася рассказала, что подстриглась всего за месяц до знакомства с ним, пожалел, что не видел ее раньше, с косой. Но теперь это не имеет значения. Все, что касается Павла, больше не существует. Месяцев этих, когда она только о нем думала, не было. Зимы этой не было.

...С утра ждали, что день будет холодный, как вся неделя, но с обеда потеплело. Вечером на мокрых дорожках бульвара сталолюдно.

Молодые люди оборачиваются на Асю: идет рыженькая, курносая, быстрая. Сумкой размахивает, через лужи прыгает. Это сама Весна торопится. Кон-

цы шарфа только отлетают! Как не заговорить с ней!

И заговаривают. А что брови у Весны нахмурены, не замечают. А может быть, замечают, да только дела им до этого нет.

Парень в коротком пальто на костяных пуговках и с лихим капюшоном сказал:

— Ух ты, рыжая, а какая хорошенькая! И прыгнула законно!

— Сегодня комплименты старшим говоришь, завтра в школе пару схватишь. Тоже законно.

Мальчишка растерялся: откуда знает, что он еще школьник? Не сообразил: выдали серые форменные штаны под лихим пальто.

— Ладно, гуляй себе! — сказал примирительно.

А нахала постарше: «Алло, детка, разве мы не знакомы?» — Ася отбрила ледяным голосом, да так, что он разинул свой глупый рот, только сигаретка прилипла к губе.

В другое время Ася не ушла бы с бульвара, из упрямства бы не ушла: кого ей бояться?

Но сегодня и петушки, пробующие басить, и нахалы постарше, привешенные к своим пышным кашне, мешают ей подумать о том, что случилось. А не думать об этом нельзя.

Чтобы ей не мешали, она переходит на тротуар. От большого красного дома пахнет горячим тестом, шоколадом, ванилью.

Когда они переехали в этот район и в первый раз здесь гуляли, отец объяснил: «Кондитерская фабрика тут!»

«Вот бы где работать!» — подумала Ася. Позже было решено стать укротительницей тигров: понравилась Людмила Касаткина в картине с таким названием. Еще позже — врачом. К брату Андрею приходила докторша с зеркалом на лбу; зеркало ослепительно сверкало; родители разговаривали с докторшей так, что было видно: нет для них во всем свете человека главнее.

Потом прежние желания показались смешными: детство кончилось. И она позавидовала Андрею: он на три года моложе, но ему все ясно с того дня, когда получил в подарок первую коробку красок, — хочет рисовать!

А чего хочет она? Самостоятельной быть. И поскорее. И покуда отец советовался с друзьями и, как он торжественно объявил дома, вел переговоры у себя на карандашной фабрике, где работал мастером графитного цеха, Ася устроилась сама.

Все решили руки: узкая кисть и длинные, гибкие пальцы.

— К таким рукам еще бы слух! — сказала учительница в детской музыкальной школе, куда Асю однажды привел отец.

Слух был неважный, музыке учиться не пришлось. А музыкальные руки пригодились: Асю взяли на часовой завод на конвейер сборки будильников. Спасибо рукам!

И она уже привыкла и уже несколько месяцев дает матери свою долю в хозяйство. И пальто из красного собрика на весне первый раз в жизни купила на собственные. И когда хочет, может купить себе билеты. Например, в цирк. Покуда Ася училась в школе, на театр деньги отец давал: считал, что это тоже относится к учению. Про цирк раз и навсегда сказал: баловство. И когда она в первый раз в жизни пошла сама покупать себе билеты, взяла билеты именно в цирк. Чтобы самостоятельность почувствовать.

Какие удивительные совпадения случаются в жизни! Если бы она не купила тогда этих билетов, если бы Марину вдруг не заставили в тот вечер дежурить

в столе заказов, если бы она не встретила Павла, который проходил мимо цирка, увидел ее, задержался в толпе перед входом и, растерянно оглядываясь, нерешительно спросил: «Не лишний ли у вас билет?», — они бы не познакомились.

Впрочем, это уже не имеет значения. Тогда познакомились, сегодня раззнакомились.

И все-таки она вспоминает, как это было.

...Молодой человек с вежливым голосом купил у нее билет, и они оказались рядом. Места были хорошие. Даже слишком. Когда по арене проскакала белая лошадь с седым расчесанным хвостом, Асе показалось, что копыта из-под копыт летят ей прямо в лицо. Она откинулась на спинку кресла.

— Испугались? — спросил сосед.

— Что вы! Ни чуточки! — ответила Ася счастливым голосом, радостно блестя глазами. — Я очень люблю лошадей.

В антракте они остались сидеть на своих местах. Разговорились.

— Я и не собирался в цирк, — сказал сосед, — но рад, что попал. — Он помолчал. — Я действительно совсем не собирался. А увидел вас, решил: обязательно спрошу про билеты. Мне очень захотелось, чтобы у вас был лишний билет...

Он сказал это серьезно и просто. И Ася не отшутилась, а тоже серьезно кивнула головой, а потом сразу похвалила белую лошадь и прыгунов с перекидными досками.

— В темпе работают! Держат ритм, — сказала она с уважением; она знала, как это трудно — держать ритм.

Сосед согласился и добавил:

— Это удивительно, какие трудности преодолагает человек, если имеет желание.

Асе понравилось, как он это сказал. Такие слова можно и к ней отнести, если задуматься. Это ведь только кажется, что у нее все так просто вышло: пришла на завод и стала к конвейеру. Но она про себя ничего не сказала, а соседа спросила, не приезжий ли он.

Оказалось, действительно приезжий. Тоже кончил десятилетку. Нет, не в этом, уже три года назад. Учится. К сожалению, не в самой Москве, а за городом.

— А я работаю, — сказала Ася. — Это тоже очень интересно.

И новый знакомый согласился, что это, конечно, тоже интересно.

В конце второго отделения при затихшем оркестре и притушенных огнях, под тревожную барабанную дробь фокусник в черном плаще поджег под куполом цирка огромную палатку. Вместе с палаткой сгорела вошедшая в нее женщина в золотых туфельках, черных трусах с золотыми блестками и чешуйчатом золотом лифчике. Барабанная дробь оборвалась. Стало слышно, как трещит догорающее пламя. Когда от палатки остались только хлопья сажки, оркестр заиграл снова, и из облака белого дыма возникла сгоревшая женщина. Она соскользнула вниз по канату и, весело улыбаясь, еще нестерпимее сверкая золотыми туфельками, блестками на трусах и чешуей лифчика, бежала на носочках арену, помахивая рукой и приседая.

Фокусник раскланялся. Представление окончилось. Ася вышла из цирка вместе с Павлом. Она уже знала, что его так зовут.

— А меня зовут Ася, — сказала она.

— Анна? Или Анастасия? — спросил Павел.

— Анна у нас мама. Анастасия — это очень длинно. А я просто Ася. Даже и в паспорте так записано: Ася Владимировна. Мне к метро.

— И мне тоже. Вы позволите вас проводить?

— Пожалуйста.

...Вот так они и познакомились. На прощанье условились встретиться снова. Подумать только, сколько всего должно было произойти, чтобы они познакомились! Но сегодня это уже ничего не значит. Могла же она вообще не познакомиться с Павлом!

Ася и самой себе не может объяснить, чем он ей так понравился, почему она всю зиму ждала его звонков, радовалась, когда он приезжал, огорчалась, когда он не мог выбраться. А он жил где-то за городом и часто приезжать не мог. Когда приезжал, Ася показывала ему Москву. Они шли по улицам. Ася глядела на него, худого и длинного, всегда снизу, но, может быть, потому, что она объясняла, а он слушал, все время чувствовала себя главной, и совсем не так, как с Генкой, и уж совсем не так, как с Вадимом.

Генка, Геннадий, — впрочем, он не возражает, когда его во дворе называют по имени-отчеству, — очень важный. Стоит ему перейти через улицу и появиться в их дворе, как к нему подходят самые занятые, самые солидные люди их дома. Одному нужно выяснить, почему в его «Темпе» при корректировке яркости уменьшается размер кадра. Другой хочет знать, как избавиться от треска в приемнике. Третий сообщает, что на семейном совете решено купить магнитофон, и желает осведомиться о принципиальных особенностях разных схем и марок. Мало ли какие вопросы задают соседи молодому радиотехнику, особенно с тех пор, как в вечерней газете была помещена заметка об оригинальном любительском приемнике, сконструированном Геннадием Никоновым, и фотография самого конструктора, который гордо поднял подбородок, но не сумел спрятать улыбку! Генка отвечает подробно, с удовольствием сыплет терминами, чертит карандашиком схемы, покапризничав, соглашается зайти посмотреть, посоветовать и на следующий день дарит Асе цветы.

— Привыкай, Рыжик, — скромно говорит он Асе. — У хороших врачей тоже все хотят получить консультацию на ходу. В наш электронный век Геннадий Никонов всегда будет в центре общественного внимания.

Что значит «привыкай», и почему она должна к нему привыкать?

Но последнее время Генка почти не появляется в их дворе. Иногда звонит по телефону.

— Ты, конечно, завтра занята? — небрежно спрашивает он. — Ну, ну, валий! Привет историку!

Историк — это Вадим, студент, Асин сосед по подъезду. Геннадий считает, что у Аси для него нет времени из-за Вадима. Ася попыталась объяснить ему, что с Вадимом они просто дружат, давно, еще со школы.

— Знаю, читал, — сказал Генка. — В журнале для детей. «Прошу редакцию объяснить: могут ли мальчики дружить с девочками?» Редакция отвечает: «На этот вопрос мы попросили ответить заслуженную учительницу школы». Засим фотография какой-то засушенной личности и ответ: «Могут». Учительница стыдит тех, кто этого не понимает. Она стыдит, а мне не стыдно. Мы ведь не в шестом классе. Мы с тобой взрослые люди.

— А мне с Вадимом интересно, — говорит Ася. — Он мне все объясняет.

— Подумаешь! Объяснять я тоже могу. Хочешь, целую лекцию прочитаю? Про цветное телевидение, например.

— Мы с Вадимом говорим совсем про другое.

— Вот-вот, я тоже думаю, что про другое. Привет!

Он резко бросал трубку. А потом все-таки проходил по их двору, небрежно раскланиваясь на ходу: «Нет, нет, в ближайшие дни очень занят» — и поглядывая на Асины окна.

Генка с ней мирился и ссорился, исчезал и появлялся, небрежно звал ее Рыжиком, а однажды даже нарочно, чтобы она узнала об этом, пригласил на танцы Марину.

Но она привыкла к его выходкам и вообще привыкла к нему: он был очень похож на мальчишек из ее класса. Вадима она знала давно и тоже к нему привыкла.

А Павел? Тут было все другое... Он появился тогда, когда началась ее самостоятельная жизнь, в день, когда она сама купила себе билеты. Они встречались не в Асином дворе, не на ее улице, а где-нибудь в городе. Часто он приезжать не мог, всегда спешил, и все это было таинственно и по-взрослому.

Очень хотелось Асе познакомить Павла с Вадимом. Очень хотелось знать, что про него скажет Вадим. Очень хотелось, чтобы Вадим ей самой помог разобраться, что с ней такое происходит. Не решилась. Побоялась, что он удивится так же, как удивилась Марина.

— Ну что ты в нем нашла? — сказала она. — Со всем не твой стиль!

Ася сердито ответила:

— Как ты не понимаешь?! У нас это очень серьезно. При чем тут стиль?

Нет, Вадим удивился бы совсем иначе.

Он снял бы свои очки, протер их, надел бы снова и сказал:

— Видишь ли, дружок, для того, чтобы ответить тебе на твой вопрос...

Так он всегда начинал свои долгие, рассудительные советы.

Но не станет она говорить с ним о Павле, и вообще не станет она больше о Павле и думать. Могла она не знать, что он существует? Вот и не существует! Месяцев этих не было, ничего этого не было! Так она решила твердо. И выполняла это решение целых сто шагов. А потом снова стала вспоминать, как Павел ее в первый раз поцеловал. Никто ее раньше не целовал.

Генка один раз попытался, но она на него так крикнула! Он только забормотал что-то невнятное про детские журналы, взрослых людей и электронный век. А Вадиму и в голову подобное не приходило.

А Павел, это было уже зимой, поцеловал ее. Они долго бродили по улицам. Шел крупный, сырой снег. Они вошли в подъезд и остановились на площадке около батареи отопления.

Павел взял Асину руку в мокрой варежке — на улице она лепила снежки — и сказал озабоченно:

— Замерзли пальцы?

Он осторожно снял мокрую варежку, взял ее руку в свои ладони. И руке сразу стало тепло. И щекам тоже почему-то стало жарко. Павел неловко наклонился и поцеловал ей руку, а когда поднял голову, она увидела, что он побледнел, и сама потерлась головой о его плечо. И тогда Павел поцеловал ее волосы, на которых растаял снег, и поцеловал ее в щеку, а потом в губы. И у них обоих сильно застучали сердца.

И теперь всегда, когда Павел провожал Асю, он целовал ее, а однажды сказал, как ему тяжело, что всегда приходится спешить на поезд, и как было бы ужасно, если бы они не встретились осенью перед цирком и если бы он вдруг не решился подойти к ней и спросить про билет.

— Обыкновенная счастливая случайность,— сказала Ася своим радостным голосом.

Павел ответил:

— Нет, предопределение.

Он знал много торжественных слов.

Когда они куда-нибудь шли, Павел старался принарядить свои длинные, редкие шаги к ее коротким и быстрым, нагибался в ее сторону, слушал, что она рассказывает...

Она рассказывала про Москву то, что знала сама, и то, что услышала от Вадима, а больше всего про фильмы, которые смотрела бесцельно в заводском клубе, где они шли позже, чем в кино, но где билеты зато были дешевле.

А Павел редко успевал смотреть новые картины, хотя говорил, что тоже любит кино. И, удивительное дело, он не читал почти ни одной новой книги, о которых спорили в цехе, хотя вообще-то читал он много. Но про книги он рассказывать не любил. Он рассказывал про маленький город, из которого был родом. Город старинный, от Москвы совсем недалеко, но ехать нужно летом на пароходе, а зимой добираться и вовсе трудно. Железной дороги покуда нет, но строить. Театра тоже нет. Зато городок тихий, зеленый, на берегу реки, среди лесов и сам весь в садах. Летом в нем много приезжих, и каждый день снизу и сверху проходят большие пароходы, а за рекой дубовый лес замечательный, и рощи березовые, и луга. И Ася, которая никогда не была в таком маленьком городе, слушала и удивлялась. Ей было интересно слушать про этот городок. Может быть, потому и интересно, что это родина Павла. Так и должно быть: его городок так же не похож на Москву, как Павел не похож на всех ее знакомых. Она расспрашивала его про реку, потому что любила плавать и грести. И Павел рассказывал, что тоже когда-то любил грести, но потом совсем разлюбил.

И еще она знала, что Павел даже в воскресенье занят до половины дня. Если приезжает, то только под вечер, и вид у него замученный, и говорит он потухшим голосом. О своем институте, о товарищах по институту он ничего не рассказывал. Иногда Ася думала: он просто похвалился, когда они познакомились, что учится, а теперь стесняется сказать, что похвалился. Правда, он один раз обмолвился про стипендию, другой раз — про общежитие. А больше ничего про институт не говорил. Но Ася не спрашивала. Из гордости. И потому, что ей было все равно: он ей очень нравился. И может, он где-нибудь в таком месте учится или работает, о котором не полагается много говорить.

Однажды она случайно встретила Павла в городе: приехала в центр покупать подарок матери ко дню рождения. Павел был не один. С ним шел бледный толстощекий парень с соломенно-желтыми волосами и таким же соломенно-желтым портфелем. Павел смутился, но сказал, как всегда, тихо и вежливо, только обращаясь к ней, как прежде, на «вы»:

— Здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста. Моя знакомая. Мой... — он помолчал, — мой однокашник.

— Добровольский Григорий, — сказал желтоволосый, сильно окая на каждом слове своей длинной фамилии.

— Ася Конькова.

— Анастасия или Анна? — спросил Добровольский, слабо пожима Асину руку большой белой рукой, с которой он снял перчатку, такую же желтую, как его портфель и его волосы.

Было странно, как внимательно оглядел этот человек Асю: ее берет, ее новое бобриковое пальто, которое она надела, хотя было еще холодно, ее старенькие ботинки. Было странно, что он спросил про

ее имя то же самое, что когда-то, в первый день, спросил Павел...

— Просто Ася, — ответила она.

— А мы путешествуем по магазинам, — объяснил Григорий. — Вытащил этого книжника и сидня. А вы путь куда? Тоже за покупками? Тогда последуем вместе.

Асе показалось, что Добровольский заметил смущение Павла, обрадовался этому и теперь смотрит на них в упор приглядывающимися светлыми глазами.

Но в первом же магазине он про них забыл. Он протиснулся к прилавку, начал громко читать цены, обозначенные на этикетках, расспрашивать в одном отделе, когда ожидают польские долгоиграющие пластинки, в другом — когда поступит телевизор «Рубин-102», стал листать паспорта, разложенные на прилавках, прицениваться к проигрывателям и радиолам. Потом он вдруг увидел огромный радиокомбайн, воскликнул, уже не окая: «Колоссально!» — и ринулся к нему. «И недорого! Тринадцать тысяч. А отделка какая! Орех!» И, сняв перчатку, Григорий нежно погладил своей белой рукой полированные стенки радиокомбайна. В другом магазине желтоволосый впился в настольные часы на мраморном цоколе — часы были похожи на маленький надгробный памятник, — расспрашивал продавца, какой они марки, дается ли на них гарантия, на какой срок, а потом выразил пожелание послушать бой.

— Уйдем! — сердито предложил Павел.

— Неудобно, — ответила Ася, хотя Григорий, наверно, не заметил бы их ухода. Он примерял часы в золотом корпусе и сыпал вопросами: «Стрелки светятся? Корпус антимагнитный? Камней сколько?»

Ася уходить не хотела: ее заинтересовал и почему-то встревожил странный знакомый Павла.

Все-таки он оторвался от часов.

— Ох, есть в Москве что купить, есть! — сказал он, когда они вышли из магазина. — Были бы только деньги. — И его светлые глазки даже потемнели от волнения.

— Пустое занятие! — раздраженно и презрительно сказал Павел.

— Я же говорю, что ты книжник и фарисей. Сегодня оно для нас пустое, а в скором времени будет не пустое. В старину говорили так: в двадцать лет ума нет — не будет; в тридцать — жены нет — не будет; в сорок лет денег нет — не будет. По первому пункту мы с тобой, смею надеяться, меры приняли, по второму, — он снова скользнул глазками по Асе от берета до ботинок, — примем всенепременно. Да и время к тому идет. А про третий... про третий я сейчас вам все объясню.

Но объяснить он не успел. Его привлекла еще одна витрина, и, когда Павел сердито сказал, что никуда больше заходить не будет, Григорий, расseyанно попрощавшись, устремился в двери комиссионного.

— Это твой товарищ? — удивленно спросила Ася.

— Знакомый, — неохотно ответил Павел.

— Мне показалось, вы учитесь вместе.

Павел промолчал. И она опять не обратила на это внимания. Мало ли почему у Павла может быть противный знакомый! Не хочет говорить — не надо.

...Все началось с прошлого воскресенья. Коньковы сидели на кухне за завтраком.

Ася, наверное, в пятый раз за утро сказала:

— Мы с Павлом...

Владимир Михайлович отодвинул тарелку:

— Я все слышу: Павел да Павел. А чем он занят, твой Павел?

Мать поглядела на Асю. И Андрей, который раньше

ше всех вышел из-за стола и мыл под краном свои кисти, тоже поглядел на Асю. Все трое смотрели на Асю, ждали, что она ответит. И она поняла, что о Павле дома говорили без нее уже не один раз.

— Учится он, — сказала Ася.

Это прозвучало не очень уверенно.

— Где?

Нужно было ответить: «Не знаю». Нужно было сказать: «Спрошу у него». Но Асе больше всего хотелось быть самостоятельной, и она ответила:

— А я не интересовалась.

— Встречаешься с человеком, домой его не сегодня-завтра пригласишь, с родителями будешь знакомить — и давно бы пора, — а кто он, здравствуйте, это тебя не интересует! Это на тебя похоже!

Совсем это не было на нее похоже! Ася сказала обиженно:

— А если я его спрошу, а он мне не ответит?

И тут за Асю вдруг вступилась мать.

— Ты тоже, отец, — сказала Анна Алексеевна, — когда на номерном заводе работал, не очень-то о себе распространялся.

— Секреты свои ваш Павел может вам не докладывать, но кто он, такого секрета быть не может. Я мастер, ты домашняя хозяйка, Андрей — учащийся, хотя и лодырь, Ася — сборщица на конвейере, соседская Марина в магазине работает, парень ее — лейтенант. А кто этот Павел... не знаю, как его фамилия? Или ты, может, фамилии тоже не знаешь?

— Знаю. Милованов — его фамилия.

— А адресок у товарища Милованова, надо быть, — почта, до востребования.

— Я на него анкету не заполняла. Придет к нам, можешь сам заполнить.

Она бы ни за что не ответила так отцу, если бы он не угадал про адрес до востребования.

— Как с отцом говоришь! — крикнула Анна Алексеевна.

Андрей сразу потерял интерес к разговору и выскочил из кухни. У отца заходили желваки, он взял газету, которую прочитал до завтрака, и стал изучать ее снова. Ася кинулась через площадку к Марине — выговориться. Воскресенье было испорчено. И всю неделю Владимир Михайлович воспитывал дочь осуждающим молчанием.

Но теперь это не имело значения. Отец был прав. Спросить у Павла, кто он, чем занимается, нужно было раньше. Вот она и спросила сегодня. И возвращается теперь домой одна. Теперь она знает, кто Павел. Но ни за что не решится сказать дома то, что узнала.

...А было так. Через несколько дней после ссоры с отцом позвонил Павел. Слышно было не очень хорошо, как будто он звонит откуда-то издалека.

— Я свободен неожиданно до конца недели. Когда мы могли бы повидаться?

— Завтра, — предложила Ася. — В кино рядом с вокзалом идет «Главная улица». Говорят, хорошая картина. А я пропустила. Пойдем?

Павел помолчал.

— Может, в другое кино сходим?

— Но я хочу «Главную улицу» посмотреть.

— Тогда лучше в субботу, — сказал Павел.

...Сегодня суббота. Они встретились в вестибюле метро. В этот субботний час все вестибюли московского метро заполнены шумными компаниями, которые ждут опоздавших, и одиночками, нервно вопрошающими друг друга: «Простите, сколько на ваших?» На руках у родителей торжественно проплывают в толпе малыши, влекомые в гости. Мелькают проигрыватели, гитары, коробки с тортами, первые бу-

кеты. Мальчишки заворуженно замирают около мастера, который налаживает автомат с газированной всдой, потрясенные загадочной сложностью сверкающих внутренностей машины. Продавец лотерейных билетов, раскрутив прозрачный барабанчик, настаивает: «Граждане, не проходите мимо своего счастья! Спешите выиграть «Волгу»!». Торопятся озабоченные пассажиры дальних поездов с тяжелыми чемоданами. Молодые люди говорят в пространство: «Странно, опаздывает», — хотя еще ни одна девушка в этот час свиданий никогда не приходила вовремя.

Ася тоже опоздала. Совсем немного, минут на пять. Она сразу увидела в толпе Павла. Он высматривал ее, беспокойно крутил головой и что-то прятал за спину. Наверно, цветы.

— Привет! — сказала Ася. — Какие новости?

— Какие у меня могут быть новости!.. Вот несколько вечеров был посвободнее, а увиделись только сегодня, — сказал Павел жалобным голосом. — А завтра опять занят. И так всю неделю. Какая ты сегодня нарядная!

— А вчера ты тоже был занят?

— Вчера? Нет. Вчера я как раз совсем не был занят.

— А почему не хотел пойти в кино?

— В кино? В кино я не мог.

— Не мог? — удивилась Ася. — Что-то это у вас, товарищ Милованов, плохо стыкуется.

— Что? — не понял Павел.

— Мастер у нас так говорит, когда мы на сборке чего-нибудь напорем, а потом оправдываемся. Занят не был, меня видеть хотел, а в кино со мною идти не мог — странно!

— Занят я действительно не был, но в кино идти не мог. Особенно рядом с вокзалом.

Этот ответ вдруг встревожил Асю. «Очень просто, — подумала она. — Я его ревную. Да, ревную. А что? И буду ревновать». У нее захолодело в груди, как в тот день, когда она в первый раз решилась спуститься с горы на лыжах. И она тем же упрямым голосом, которым надерзила отцу, сказала:

— Со мной вчера не мог идти в кино? Не мог? Значит, боялся кого-нибудь встретить? Да? Что ж ты молчишь? — И сразу поняла: угадала!

Павел ответил неуверенно:

— Действительно, есть люди, которых мне не хотелось бы там встретить... Только ты тут ни при чем.

Но Ася уже не слышала.

— Не хочешь, чтобы тебя увидела со мной какая-нибудь студентка из твоего института? Да?

— Какая студентка? — беспомощно сказал Павел. — Ну, что ты такое говоришь!.. Там, где я учусь, нет никаких студенток.

— А я не знаю, где ты учишься! Я вообще про тебя ничего не знаю. Ничего!

— Ты ничего про меня не знаешь? — горько сказал Павел.

— А что я про тебя знаю? Встречаюсь с тобой, не сегодня-завтра приглашу домой, с родителями буду знакомить. А кто ты, — этого я не знаю. И адрес у тебя тоже — почта, до востребования!

Все обидное, что сказал отец, казалось ей теперь справедливым. Остановиться было невозможно. Вот так же невозможно остановить на спуске разбежавшиеся лыжи. И так же страшно от холода в груди и почему-то радостно. И чем круче спуск, тем холоднее в груди, тем радостнее... Она сказала, что хочет знать про него все, значит, объяснила ему, что это для нее очень серьезно. Павел должен ее понять именно так. Понять и обрадоваться. И начнет-

ся у них теперь особенная, теперь уже совсем взрослая полоса.

— Ты приезжаешь и уезжаешь. Ты целуешь меня и говоришь, что это было бы ужасно, если бы мы не встретились. А больше я про тебя ничего не знаю.

Он почти крикнул:

— Значит, ты мне не веришь?

— Нет, это ты мне не веришь! Почему ты никогда ничего не рассказываешь о своем институте? Я знаю, что ты учишься, живешь в общежитии, получаешь стипендию. А может, ты не учишься, а работаешь? Тогда почему не говоришь, где? Почему не знакомишь меня со своими товарищами? Почему?

— Что с тобой? — испугался Павел.

— Я тебя ревную, — призналась Ася.

Голос ее задрожал и зазвенел, а кто-то внутри восторженно сказал ей на ухо: «Как интересно, Рыжик!»

— Аня, послушай, ревность — недоброе чувство, и я, право же, не даю никаких поводов.

— Я не Аня, меня зовут Асей. Запомни и, пожалуйста, не читай мне проповедей.

Павел побелел.

— Значит, ты... — начал он и сам себя оборвал: — Мы опоздаем в кино. Пойдем.

До начала сеанса оставалось восемь минут. Они прошли несколько шагов. Ася резко остановилась и даже ногой топнула.

— Мы никуда не пойдем, никуда, — сказала она, — пока ты не скажешь, кто ты такой, что ты делаешь, где учишься, где работаешь.

— Ты этого требуешь?

— Я ничего не требую. Я спрашиваю. Но если ты не ответишь, я уйду.

— Хорошо, я скажу. — Павел глотнул воздух, pokrutil головой, будто ему мешал воротник, и сказал, стараясь не глядеть в ее глаза: — Я учусь в духовной семинарии...

...Пропали билеты на «Главную улицу»! А говорят, хорошая картина. Но какое уж тут кино! Они ходят от угла к углу. Павел, с трудом выталкивая слова, объясняет, что он учится в семинарии, что помещается эта семинария за городом, в лавре, что общежитие у них там же, хорошее общежитие, что он ей прежде об этом не сказал, потому что не знал, как сказать, а видится с ней редко, потому что в Москву семинаристов почти не пускают. Вот только сейчас, перед экзаменами, стало полегче. Да, самое главное! В кино с ней вчера не мог пойти: в пятницу не полагается, и если инспектор узнает (а кино рядом с вокзалом, его легко могут увидеть и донести инспектору), следующий раз в город вовсе не пустят.

Когда был с ней в цирке, знал, что этого ему нельзя, но не смог пройти мимо: так она ему сразу понравилась...

Это не самое главное, но все-таки Ася спрашивает:

— А почему именно в пятницу в кино нельзя?

— Пятница и среда — пост, — объясняет Павел. — В эти дни надо избегать светских развлечений. Хочешь, я могу объяснить подробнее. Видишь ли, в постах заключен большой смысл...

Но ее сейчас не интересует смысл, который заключен в постах, ее интересует другое:

— Кем же ты будешь, когда выучишься?

— Если закончу курс семинарии успешно, на что я надеюсь, буду рукоположен в священники. Священный сан приму с назначением на приход.

Ася пропускает мимо ушей непонятное «рукоположен» и спрашивает с ужасом:

— Ты будешь попом?

— У вас говорят — попом, а у нас — священником. Еще можно сказать — иереем.

Он первый раз сказал: «у вас» и «у нас», — черту провел! Они остановились на углу. Ася смотрит на Павла, будто видит его в первый раз. Павел, с которым она познакомилась в цирке, ходила по Москве, целовалась в подъезде, Павел, с которым они недавно оба радостно вскрикнули — увидели в ночном небе катящийся шарик спутника, Павел, который сказал ей, что он ее любит, и с которым они вместе решили, что все у них очень серьезно, Павел, которого она сегодня собиралась пригласить домой и познакомить с родителями, будет попом!

...Вблизи Ася видела попа один раз в жизни, во время короткого путешествия летом по Оке на пароходе.

В каюте первого класса ехал нестарый поп с женой и двумя ребятами. Поначалу он не показывался: наверное, стеснялся. Было только слышно, как он бубнящим голосом все выговаривает и выговаривает что-то своему семейству. На второй день он вышел на палубу. На нем был светлый габардиновый плащ с рукавами реглан поверх такого длинного белого... Как это называется? Поверх рясы.

Поп сел в плетеное кресло на носу, в руках у него была толстая старая книга, заложенная пачкой свежих газет, а на боку висела узкоплечная кинокамера в кожаном футляре. Он немного поглядел в книгу, закрыл ее, внимательно прочитал газеты, потом поднес к глазам киноаппарат и начал снимать окские пейзажи. И почему-то достаточно было глянуть на эту рясу, неприлично выглядывающую из-под дорогого модного плаща, на этот новенький и тоже дорогой киноаппарат, на молодое, очень сытое лицо под велюровой шляпой, чтобы подумалось, что этот человек с бородой, длинными волосами и в юбке не верит ни в бога, ни в черта, и чтобы стало жаль его детей, которые с утра играли вместе с другими на палубе, а как только поп вышел, сразу забились в каюты.

Значит, и Павел будет таким? Будет ходить в рясе, отводить глаза в сторону... Быть этого не может!

Но она спрашивает про другое:

— Значит, в кино у вас нельзя? А меня провожать можно? Ну, и вообще за девушками ухаживать?

Ася тоже вслед за Павлом говорит: «У вас», — второй раз проводит черту, которая отделяет их друг от друга.

Теперь удивляется Павел:

— Какая у тебя в голове путаница! Простых вещей не знаешь! Разве я в монастырь собираюсь? Нет, я пострига принимать не намерен. Мне и за девушкой ухаживать можно, с серьезными намерениями, разумеется. А когда кончу курс, обязательно нужно жениться. А я уже скоро кончу.

Ася делает вид, что не слышит этого.

— Спасибо, хоть не в монахи пошел! — И тут же снова удивляется: — А разве сейчас есть монахи?

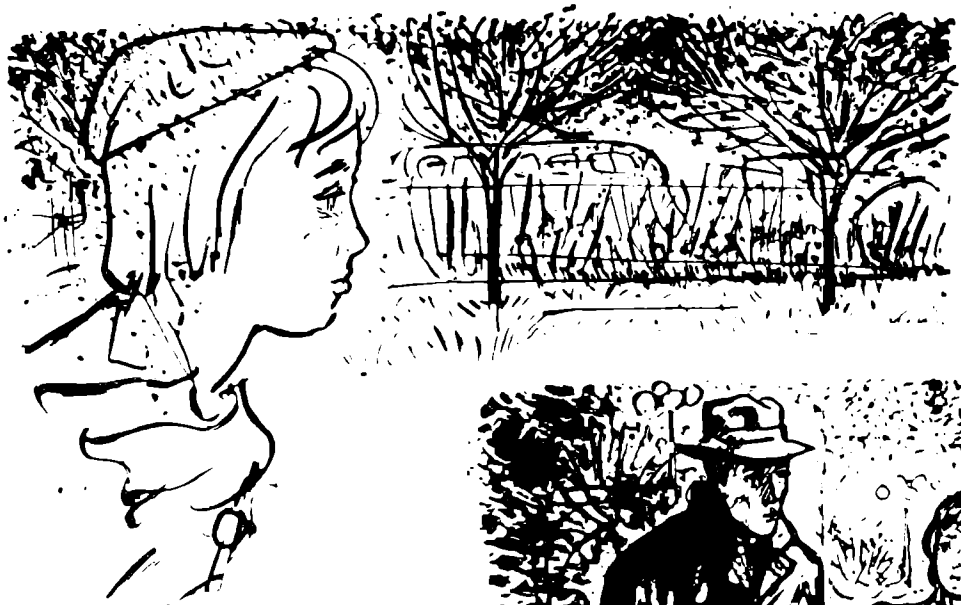
— Конечно, — отвечает Павел. — Вот и рядом с нами в лавре живут иноки.

— Кто, кто?

— Иноки. Люди, воспринявшие решение уйти от мирской жизни в монастырь.

— И молодые есть?

— Есть и молодые. Есть послушники. Это те, которые только готовятся к постригу, а есть и настоящие монахи. Вот и наш один воспитанник на третьей неделе великого поста пострижение принял — ангельский чин и житие. Звали Петром, теперь он Мартиан. Был когда-то такой настоятель в обители.



«И вот добилась: идет домой одна, и больше они никогда не встретятся. Никогда!» (стр. 5).



«...и сказал, стараясь не глядеть в ее глаза:— Я учусь в духовной семинарии...» (стр. 10).



«Он немного поглядел в книгу... внимательно прочитал газеты, потом поднес к глазам киноаппарат и начал снимать окские пейзажи» (стр. 10).

— А это зачем?

— Ищет иноческого подвига в отречении от благ мирских, — отвечает Павел.

Непонятные слова звучат гладко, заученно.

— А я совсем другое дело. Со временем, может, а Академию духовную пойду. Кандидатом богословия стану. Но это планы на будущее. А пока буду священником — попом, как ты говоришь. Получу приход.

— Постой, — снова перебивает Ася. — Вот ты говорил: когда кончишь, женишься. Ну, а твоя жена... Она... она, ну, словом, как она будет называться? Попадья?

— Попадья, — кивает Павел. — Только, видишь ли, это название невежливое, заглазное. А вежливое название будет... — он запинается и тихо говорит: — матушка.

Ася не выдерживает.

— Матушка? — вскрикивает она и заливается на весь переулочек так, что на них оборачиваются прохожие. — Матушка!.. Ну, знаешь!..

Она понимает, что Павел обидится, но никак не может с собой совладать. Она была готова к любой разгадке его скрытности, кроме такой. Да согласись она выйти за него замуж, и станет она, Ася Конькова, член ВЛКСМ с 1954 года (у нее уже пять лет стаж!), сборщица на конвейере будильников, культмассовый сектор в цеховом бюро ВЛКСМ, попадья, или, говоря вежливо, матушкой!

Она представляет себе, что сказали бы об этом дома, в цехе, во дворе, что сказали бы Генка и Вадим, и снова начинает хохотать. Потом она трогает Павла за рукав.

— Ну, не сердись. Уж очень это все странно и неожиданно. Ты ведь ничего не говорил раньше. Я думала, ты как все люди, только скрытный почему-то. Расскажи хоть, как вы там у себя (что-то мешает ей выговорить пыльное слово «в семинарии») живете.

— Опять будешь смеяться! — обиженно говорит Павел. — Я так и знал, что ты не поймешь, потому и откладывал каждый день этот разговор. Вначале думал: еще раз с тобой повидаться, и все... Потом стал думать: не могу я ее не видеть... Значит, надо сказать! Но я знал, ты не согласишься... Ну, не поймешь. Вот и молчал. Мне, думаешь, приятно от тебя таиться? У меня в Москве никого, кроме тебя, а ты меня все равно не поймешь.

— Объясни так, чтобы я поняла, — упрямо говорит Ася, — объясни. Я спросила: как вы там живете? Вопрос обыкновенный. На него каждый человек может ответить.

...Они проходят мимо кинотеатра — сеанс уже давно начался, — пережидают на перекрестке бесконечную вереницу машин, снова идут по улицам, шумным, весенним, вечерним. Говорят, молчат, снова говорят. Стоят на набережной, глядят, как причаливает к пристани чистенький, только после ремонта речной трамвай.

— Поедем, а? — предлагает Ася. — Там и поговорим. Уж очень трамвайчик славный.

Павел соглашается. Думает, наверное, что она больше не будет допытываться. Но нет, ни на улице, ни на пароходе она не даст ему оборвать этот разговор.

...На реке еще очень холодно. Пассажиров немного. Люди в годах, поеживаясь от ветра, тут же спускаются в закрытый салон. Влюбленные пары устраиваются на кормовой палубе, соблюдая молчаливое соглашение: на скамейку, на которую села одна пара, больше никто не садится. Как только пароходик

отваливает от пристани, головы девушек — черные, русые, рыжие, головы в беретиках, платочках, шляпках — ложатся на плечи спутников. Конечно, это все-го-навсего речной трамвай, и самое далекое путешествие на нем продолжается полтора часа. Но когда под ногами покачивается палуба — а она покачивается, — когда за бортом на черной воде мигают разноцветные огни, когда навстречу дует холодный ветер, хорошо, что рядом плечо, на которое можно положить голову, и щека, к которой можно прижаться своей щекой, и теплые губы, которые ищут твои губы, и кажется это путешествие далеким, полным неожиданностей, опасностей, загадочного...

Ася и Павел сидят на последней скамейке. Это самое лучшее место: их никто не видит. Павел взял Асину руку. Ну что же, она не будет отнимать у него руку, если ему так легче говорить. Ей приятно, когда он берет ее за руку. Но говорить ему все равно придется, отмолчаться она ему не позволит.

Речной трамвай проплывает по вечернему городу, мимо Красной площади и кремлевских стен, мимо Парка культуры, где огромное колесо обозрения уже освещено, но еще не крутится, мимо университета, мимо Лужников, под прозрачным стеклянным тоннелем нового моста метро... В небе пролетают дальние самолеты, которые идут на посадку на Внуковский аэродром, по набережной проносятся машины, спешащие куда-то из города... И пока на палубе, не замечая ничего вокруг, целуются влюбленные, Павел и Ася сидят на последней скамейке, и Павел, мучительно подбирая слова, отвечает ей на вопрос: как вы там у себя живете?

...Деревянные, выученные слова, тихий, неживой голос.

— Живем в семинарском общежитии на территории лавры. Утром присутствуем в храме на ранней литургии, потом вместе с наставниками совершаем общую молитву, завтракаем совместно в столовой, ну, а потом у нас шесть уроков.

— А предметы какие? — хватается Ася за привычное слово.

— Опять не поймешь. Предметы: священная история, догматика, катехизис, литургика, гомилетика, церковное пение. Ну и всякое такое. Есть и светские: английский язык и конституция.

— Значит, у вас каждый день шесть уроков? — спрашивает Ася, огуленная «догматикой» и «гомилетикой». — А после уроков?

— Обед. — Павел запинается и, помолчав, говорит: — Снова будешь смеяться, только я уже все рассказываю. За обедом дежурный читает вслух житие того святого, чей сегодня день. После обеда с разрешения инспектора можно иногда уйти в город. Вечером после чая все учат уроки на следующий день. Очередная группа участвует в вечерней службе в церкви: кто в хоре поет, кто пономарит. Бывают и полунощные моления. Очень устаем тогда. Но ты не думай, у нас и кружки есть: фотографический, иконописный, оркестровый. Концерты самодеятельности устраиваем. Так и живем. Библиотека у нас замечательная! Между прочим, лампы дневного света недавно в ней поставили.

— Понятно, — сказала Ася, хотя все было совершенно непонятно.

...Речной трамвай остановился у дебаркадера. Женщина-матрос крикнула хриплым голосом:

— Эй, молодые, интересные, приехали! Конечная. А кому у нас приглянулось, покупайте билеты обратно.

Ася зябко повела плечами.

— Замерзла? — испугался Павел.

— Ничего. Посидим тут немного.

Они сели на скамейку под брезентовым навесом пристани, который страшно хлопал на ветру. Все-таки здесь было не так холодно, как на воде.

— Почему ты молчишь? — спросил Павел.

Ася не ответила. Как все было хорошо, пока она не стала его расспрашивать!

Но теперь отступать нельзя.

Она посмотрела на Павла, про которого уже думала: «Мой Павел», — про которого уже говорила дома: «Мы с Павлом...» Сейчас она ему задаст еще один вопрос. Ответ ничего не изменит. Что бы он ни сказал — и «да» и «нет», — все равно это будет ужасно. В голову лезут книжные слова. Ей никогда не приходилось думать такими словами о живом человеке. Скажет: «Нет» — тогда он — как это писали в сочинениях? — двоедушный лицемер; скажет: «Да» — мракобес.

Но все равно спросить нужно.

— Слушай, Павлик, ты не сердись, но только я тебя очень прошу, ответь мне честно: ты в это веришь?

— Как ты можешь спрашивать! — вскрикнул он, взмахнул длинными руками и пошел прочь на длинных ногах, наталкиваясь на прохожих.

Ася посмотрела ему вслед. Вот и все! Она еще может его окликнуть. Но она молчит. Она еще может его догнать: четыреста метров она пробегает лучше всех в цехе. Но она не двигается с места. О чем они будут теперь говорить?

«Попадья!» «Матушка!» «Жития святого!» Какой ужас!..

...Она так задумалась, что не заметила, как дошла почти до самого дома. На углу между вестибюлем метро и «Гастрономом», в котором работает Марина, в нескольких шагах от тротуара, за белой каменной оградой — церковь.

Каждый день, когда Ася утром идет на работу, и каждый день вечером, когда она возвращается, она проходит мимо церкви. Она видит старух в длинных черных юбках и черных платочках, которые еще издавна начинают креститься на церковь, молодых женщин с ребятишками, мужчин, реже — парней и девушек своего возраста, которые входят в церковные ворота. Она видит их и не замечает. Это ее не касается. Это ей неинтересно. Мало ли кто как сходит с ума! Но сегодня она остановилась около ограды и внимательно посмотрела на церковь. Вот, значит, где собирается работать Павел. Только, конечно, это называется не работа. А как же? Как-нибудь иначе. Это ведь не цех, не фабрика, не завод...

— А ты, милая, не раздумывай, ступай, милая, в божий храм, — услышала она. — Еще открыто.

Ася оглянулась. Рядом с ней стояла продавщица из зеленого фургона, который торговал на пустыре. Она жила в том же дворе, что и Коньковы, и ее хорошо знали на всей улице. С утра и до вечера, широко разевая ярко накрашенный рот, она хриплым басом отругивалась от хозяек.

— Кто тебя обвешивает? — кричала она. — Стану я мараться — на картошке обвешивать! Пиши, пиши, куда хочешь. Много вас развелось, грамотных! Не больно испугались! Не трогай лимоны своими руками! Не нравится — не бери, а товар не перекапывай! Барыня нашлась!

Было странно услышать, как тот же голос вдруг почти запел, а губы, с которых стерта краска, сложились в умильный кружочек.

— Ведь вот такой я тебя помню! С мамочкой за яблочками все ко мне приходила. «Глядите, Степановна, какая у меня дочка! Свешайте дочке яблочко получше», — сказала она, хотя никак не могла помнить Асю «вот такой», как показала рукой от земли, и даже подумать было невозможно, что тихая Анна Алексеевна решится называть эту накрашенную ругательницу «Степановной».

А Степановна все разливалась:

— Вот какая была! А теперь красавица, родителям радость, невеста. Мать-то у тебя, я знаю, и на пасху лба не перекрестит — попущение божье! — а дочка пришла все-таки. Пришла, так чего же стоять, входи, раз пришла, — сорвалась она на обрадованный крик, а потом снова сказала проникновенно: — В божий храм путь никому не заказан.

Ася промолчала. Ну и дены! Павел оказался семинаристом, ее зазывает в церковь самая скандальная баба в квартале! Она даже не знает, что ответить. Стоит, не говорит ничего...

Степановна наклонилась к Асе и громким шепотом, дыша жарким любопытством, с подмигиванием в голос сказала:

— Беда, поди, в храм привела? Так оно всегда с нашим братом бывает. Ничего! Такую беду только в храме и замолишь. Свечку поставишь. Заступнице поклонись. А нужно будет — дело житейское — Степановна тебе и дальше посоветует, куда с твоей-то бедой.

— Ошибаетесь! — вспыхнула Ася и даже плечом дернула, как в детстве. — Это вам, наверно, есть, что замаливать.

Но Степановна, которая в ларьке давно сорвалась бы на лающие ноты, тут все так же зазывно сказала:

— А нет беды, еще лучше. Значит, сердце привело. Сегодня не хочешь, завтра приходи. Завтра воскресенье, большая служба будет. И в восемь часов и в десять.

— Это что же у вас, сеансы? — звонко спросила Ася. — Так я к вам не пойду ни на первый сеанс, ни на второй. Мне ваш храм не нужен.

— Что ты, что ты, разве храм мой? Он божий! — сердито сказала Степановна, а потом снова постаралась сделать свой голос миролюбивым. — Ты хоть попытаться зайдешь. Хор послушать. У нас хор замечательный. Артист один поет. Тенором. Б-а-альшие деньги ему платим! И батюшка у нас молодой, красивый батюшка.

Асе показалось, что она уснула и проснулась на сцене. Перед ней стоит сваха, какую она видела по телевизору, когда передавали какую-то пьесу Островского. Те же глазки заплывшие, тот же голос масляный. «Вот так через несколько лет каких-нибудь девушек будут уговаривать посмотреть на Павла: «Батюшка у нас молодой, смиренный батюшка...», — подумала она и засмеялась.

— Вы что же, вашего батюшку сватаете, если так на него поглядеть уговариваете? — спросила она. — С вами мы тоже, по-моему, не знакомы. Удивляюсь, почему вы собираетесь мне советы давать. Пропустите меня пройти.

— Ах ты!.. — начала Степановна самым своим базарным голосом, но ругательство проглотила. — Чуть в грех меня перед храмом не ввела. Нужна ты мне! И мать у тебя бессовестная и отец...

— Ну, ну, вы! — перебила ее Ася, поблдев от гнева.

Но Степановна вдруг увидела кого-то на паперти, замолчала, перекрестилась на икону, висящую на воротах, и торжественно вплыла в раскрытые двери церкви.

Воскресенье. Утро

Если человек всю неделю работал на заводе, вечером катался на речном трамвае, потом бесконечный проспект пешком прошагал, отказался от ужина, а теперь лежит, глядит в потолок, по которому скользят отсветы автомобильных фар, и не может уснуть,— это, наверное, и есть та самая бессонница, о которой Ася до сих пор только в книгах читала.

Обычно только уйдет к себе за ширму, разденется, голову положит на подушку — пусть на кухне громко шумит радио, пусть за стеной у соседей поет телевизор, пусть отец обсуждает с матерью последние известия, пусть Андрей громыхает чем хочет, — она сразу спит.

А сегодня ей никак не уснуть. Уже и машин на улице почти не слышно, уже и фонари погасили, уже и дворники зашаркали метлами, уже и светло стало, а она все не спит. Вчерашний день плывет и плывет у нее перед глазами... Ася не знает, то ли он ей снится, то ли она о нем думает. Но только, чуть задремав, просыпается снова. Сердце стучит где-то в самом горле: вчера случилась беда! Нужно что-то делать, куда-то бежать, нужно спасать! Кого? Павла спасать, себя спасать! Свою любовь спасать!

А может, он все про себя выдумал? Пошутил? За чем? Просто так.

Нет, не выдумал. Правду сказал. Это ужасно. Что же с ними будет теперь? Ничего теперь с ними не будет. Но разве так можно? Разве так бывает: вчера радовалась, что увидит Павла, сердилась на него, что в пятницу с ней в кино не захотел идти, ревновала, к кому, неизвестно, а с сегодняшнего дня будет жить, словно ничего этого не было!

Узнала правду и разлюбила. А может, это значит, не любила? У кого спросить? Кому рассказать? «Послушайте, я никогда больше не увижу одного человека. Он оказался совсем не тем, за кого я его принимала. Но когда я думаю, что больше его не увижу, у меня сжимается сердце. Я и не знала раньше, что оно может так сжиматься. Это пройдет или всегда будет так больно?» «А кто этот человек? Кем он оказался? Почему вы этого не говорите, девушка?» «Он мне очень нравится, и я ему тоже. Он смотрит на меня так, как на меня еще никто никогда не смотрел. Но, видите ли, вы только не удивляйтесь, он — поп. Только пока он еще не поп, но собирается стать попом. Говорит, что это — его заветное намерение». Нет, такого и сказать никому нельзя, и посоветоваться не с кем. И уснуть невозможно...

— Утро какое проспала! — недовольно сказал отец, когда Ася вышла на кухню, где все уже давно позавтракали.

А утро действительно было необыкновенное. Вчера еще казалось, что совсем холодно, а сегодня солнце, как летом. Асфальт во дворе сразу просох и уже расчерчен квадратами классов. На угол в первый раз в этом году выкатили бочку с квасом, и продавец воздушных шаров уже появился на своем посту. И Наташка, сестра Марины, которая учится вместе с Андреем, выскочила во двор без пальто и в белых носочках, мелькает голыми коленками, всем соседским девочкам на зависть. Ася, когда училась в школе, тоже вот так первой выскакивала во двор по-весеннему. И вот уже Андрей, глянув в окошко и заметив Наташу, которая прыгает через веревочку, покрикивая на девочку, сказал небрежно:

но: «Пойду порисую» — и кубарем скатился вниз по лестнице. Прошел мимо Наташи, не поглядел, не поздоровался, стал рисовать кота, который разлегся на солнце. Наташа еще быстрее запрыгала, еще громче стала что-то говорить девочкам. Асе захотелось вдруг стать такой же, как Наташка, чтобы не было вопросов, от которых бессонница и голова утром тяжелая.

К Марине, что ли, в магазин зайти? Сказать ей всего не скажешь, никому всего не скажешь, но чем так сидеть, уж лучше к ней. Все-таки подруга.

Когда Ася вышла на площадку, в коридоре зазвонил телефон. Мать крикнула вдогонку:

— Тебя!

— Слушаю, — сказала Ася и задохнулась. Потом голос ее стал ровным: — Это ты, Генка? Ну, здравствуй. Ты, кажется, грозился, что не будешь больше мне звонить?

— Как видишь, не сдержал слово. Делаю еще одну попытку. Учти, последнюю. Известно ли тебе, Рыжик, что в широкоэкранном днем вторая серия «Сестер»? Разведка донесла, что ты пропустила вторую серию и хочешь ее посмотреть?

— Откуда у тебя такие сведения?

— Главное, что они у меня есть. Сеансы — двенадцать ноль-ноль, четырнадцать ноль-ноль и так далее. Билеты гарантируются.

— Днем я занята, — сказала Ася, хотя ничем занята не была.

— Странно, — ответил Геннадий. — Товарищ историк, по имени Вадим, сегодня, по донесению той же разведки, дежурит в комсомольском штабе. Или он тебя тоже потащил с собой на искоренение хулиганов?

Ася не стала говорить, что Вадим совершенно тут ни при чем. Генка не поверит. Ведь он ничего не знает про Павла. И все-таки это не только смешно, но и приятно, что Геннадий грозится, что никогда и никуда не будет ее приглашать, а звонит снова и, как сейчас, покорно говорит:

— Днем занята, тогда вечером, может, куда-нибудь пойдем?

— А куда? — спросила Ася.

— Значит, замечано! — уже не слушая ее, крикнул Геннадий. — В восемь у книжного. Как всегда!

Ну и нахал! Один-единственный раз Ася ходила с ним в кино, и встретились они у книжного магазина. А смеет говорить: «Как всегда!»

Но от разговора с Геннадием стало повеселее. Ася быстро сбежала по лестнице. В доме пахло по-воскресному: на одних площадках — кофе, на других — пирогами. За дверями пело и говорило радио...

...К столу, за которым работала Марина, тянулась нетерпеливая очередь. В стороне сидел Маринин лейтенант Петя, изучал прейскурант, ждал. Марина записывала заказ по телефону, жестиками обнадеживала очередь, что сейчас освободится, успевала улыбнуться лейтенанту, чтобы он не соскучился, и все-таки заметила, когда вошла Ася.

— Посиди минутку, — сказала Марина Асе и тут же объяснила в трубку: — Нет, это я не вам... Шпроты я записала. Дальше что? Нет, крабов нету. Майонез... Один, два? Записано... Семга? Нет, не очень соленая... Триста граммов?.. Записала. Все? Фруктов не желаете? Вино? Из сухих? Болгарское есть очень хорошее...

Лейтенант увидел Асю, с которой был знаком, и встал, слегка прищелкивая каблуками и приложив руку к фуражке. Ася показала глазами, что сядет на другой стул. Лейтенант Петя хотел было пододвинуть свой стул к тому, на который села Ася, но Марина,

продолжая записывать заказ, нахмурилась. Лейтенант остался сидеть на своем месте.

Марина положила телефонную трубку и сказала полному мужчине в светло-песочном пальто и коричневом берете:

— Теперь займемся с вами. Я не очень вас задержала?

Она приветливо улыбнулась. Берет, который только что выражал нетерпение, сказал мягким басом:

— Ничуть. Напротив. Мне только приятно.

Тут нахмурился лейтенант.

Они все время ревновали друг друга. Ася была посвящена в эти переживания. Впрочем, сегодня они казались ей пустяковыми.

Наконец Марина отпустила всю очередь и повернулась к лейтенанту.

— Что будем заказывать, товарищ офицер? — спросила она.

Это была ее постоянная шутка, и лейтенант каждый раз заново смущался.

— Мне нужно поговорить с тобой, — сказала Ася.

— Петя, нам нужно поговорить с Асей конфиденциально, — сказала Марина.

— Пожалуйста, — ответил Петя и остался сидеть на месте.

— Пойди погуляй, — приказала Марина.

Петя послушно пошел к выходу.

— В газетном киоске продается словарь иностранных слов! — крикнула Марина ему вдогонку. — Культурки не хватает, — пожаловалась она. — Ну, что у тебя случилось?

Но тут зазвонил телефон.

— Подождите, — сказала Марина в трубку, — я принимаю заказ.

— Я вчера виделась с Павлом, — торопливо начала Ася.

— Вечером?

— Да, вечером. Понимаешь, он позвонил позавчера и сказал...

— В чем ты была? — с любопытством перебила Марина. — Сумочку не забыла? Хорошо тебе с сумочкой? Павел ее заметил?

— Очень хорошо с сумочкой, — ответила Ася, — спасибо. Ты прими заказ, а то я не могу говорить. Марина приняла заказ.

— Значит, сумочка тебе идет? Я рада. Ну и что, в кино ходили, наверно?

— Собирались, но не пошли. Я хотела идти еще в пятницу, а он сказал, что в пятницу не может.

— А ты?

— А я согласилась пойти в субботу.

— А он?

— А он... — начала Ася и почувствовала: ей ни за что не рассказать Марине, что было вчера. — А он опоздал... — выдумала она.

— Да ну! — с нарастающим интересом сказала Марина. — А ты?

Тут зазвонили два телефона сразу.

— Подождите, я принимаю заказ, — ответила Марина в обе трубки. — А ты? — повторила она.

— Дома поговорим, — сказала Ася и пошла к выходу.

Марина снова взяла сразу обе трубки, но на лице изображала удивление, что Ася прерывает разговор на таком волнующем месте.

...Ася остановилась на улице. Около киосков с папирозами и конфетами, около лотков с журналами, мороженым и пирожками, около театральной кассы, справочного бюро и чистильщиков обуви толпился народ.

Она увидела Вадима, но не стала подходить к не-

му. Вадим был занят: вывешивал около вестибюля метро свежий номер «Комсомольского крокодила».

В толпе мелькали первые мальчишки без пальто и нетерпеливые огородники с лопатами, завернутыми в мешковину.

Все было яркое, шумное, радостное. Все спешили. Только ей нечему было сегодня радоваться, некуда было спешить. Если бы вчера не случилось того, что случилось, она бы тоже воскресенье скорее всего провела одна. Но тогда можно было бы ждать, что Павел приедет к вечеру или хотя бы позвонит по телефону. Теперь ждать было нечего.

Ася пошла к дому. Откуда-то доносился металлический звон, жидкий и частый. Вот так на туристической базе, где она была летом, созывали в столовую. Теперь звон стал реже и чуть гуще. Ася поняла: в церкви звонят.

Раньше она тоже слышала по воскресеньям церковный звон, но не обращала на него внимания. Теперь это было связано с Павлом. И она вдруг решила войти в церковь и посмотреть: что там делается внутри? А то ведь она про это только в книжках читала. Конечно, у них во дворе есть девочки, которые ходят в церковь, например, на пасху куличи святить или просто так. Одни из любопытства, другие потому, что этого хотят родители. Она в церкви не была никогда. Ася представила себе, как отец, который до сих пор любит вспоминать комсомольские собрания своей юности, и «Синюю блузу», и мюдовские демонстрации, рассердился бы, если бы узнал, что она пошла в церковь. Но должна же она понять: чем это могло привлечь Павла? Конечно, они никогда, никогда больше не увидятся. Она не станет встречаться с попом. Но она должна понять! Для себя, иначе она все время будет думать только об этом.

...На ступенях церковной лестницы Ася помедлила. Вдруг она сразу за дверями встретит Степановну и та кинется на нее со своими тягучими словами? Ася брезгливо передернулась. Но сзади напирали люди, спешившие в церковь, и она вместе с ними вошла внутрь.

В первом маленьком зале, отделенном от остальной части церкви стеной с дверями («В вестибюле», — подумала Ася привычным словом, потому что не знала, как это называется), прямо на каменном полу сидели старухи и с ними мальчик лет двенадцати — тринадцати. Они просили милостыню.

Одна нога мальчика была тоньше другой и неподвижно вытянута. Лицо его показалось Асе знакомым. Когда она внимательнее на него поглядела, мальчик закрылся руками.

Ася прошла через вторые двери внутрь церкви. Здесь после улицы было сумрачно. На стенах под иконами горели маленькие огоньки, заключенные в синие, красные, зеленые лампадки. Женщины с поджатыми губами, в черных платьях и черных платочках ходили по залу, поправляли свечи, переставляли какие-то подставки вроде пюпитров. У самого входа висел телефон и стоял прилавок (с таких прилавков в метро продают книги и журналы) с пачками тоненьких свечей, пестро раскрашенными фотографиями икон, подносами и большими копилками с надписями: «На содержание хора», «На ремонт храма», «На общую свечу».

За прилавком в углу стоял белый холодильник «ЗИЛ» и на гвозде висели конторские счеты.

«А холодильник-то здесь к чему же?» — подумала Ася и решительно прошла в середину зала.

Здесь на большом пюпитре, покрытом кружевным полотенцем, наклонно лежала икона, а перед пюпит-

ром и позади него стояли две огромные, почти в человеческий рост свечи. Люди, которые входили в церковь, становились перед этой иконой на колени и кланялись. Некоторые при этом стучались лбом в пол, выложенный, как в плавательном бассейне, кафельными плитками. Потом они вставали и все подряд целовали стекло, которым была покрыта икона. И этот угол стекла — с ужасом увидела Ася, когда подошла поближе, — стал мутным от прикосновений многих губ.

Женщины с кошелками и «авоськами» в руках, а одна почему-то с тортом снимали пальто, клали их на пол около стен и усаживались на них, чего-то, видимо, ожидая. Очень хорошо одетый мужчина, в очках с модной оправой, стоял перед одной из икон, прижимая к груди мохнатую шляпу, что-то шептал и часто крестился.

Еще Асе запомнилась дама в каракулевой шубе, в шапке-папахе, огромная, толстая, важная. Она быстро прошла по церкви, целуя все иконы подряд и громко чмокая, но при этом, видно, нарушила какое-то правило, потому что одна из женщин в черных платочках сделала ей замечание, а дама огрызнулась.

Откуда-то сбоку появился старый поп (видно, не тот, о котором говорила Степановна) со строгим лицом. Он был в длинной черной рясе, и, когда проходил по церкви, верующие останавливали его, он что-то им сурово говорил, а они целовали ему руку, которую он совал им, не глядя.

Слева, на возвышении, похожем на маленькую, низкую сцену и огороженном блестящими медными перилами, собралось несколько женщин, также в темных платьях и платках, наклонивших головы. Среди них странно выглядели рослая, полногрудая девушка в красном свитере и мальчишка, вроде Андрея.

Вдруг ярко вспыхнула люстра под потолком. Из боковых дверей, прорезанных в перегородке, сплошь увешанной иконами, вышел молодой священник. Священник был очень румяный, с вьющейся бородой, длинными, хорошо уложенными волосами, в светлой шуршащей накидке, которая была завязана на боках.

Ни с кем не здороваясь, никому ничего не говоря, он повернулся спиной к людям, собравшимся в церкви, и стал что-то быстро шептать, поглядывая в маленькую книжечку, похожую на записную. У него на плечах лежала жесткая светло-серая, хорошо выглаженная полоса материи, вроде широкого шарфа, с вышитым на ней знаком, похожим на туза треф, только с еще одной, четвертой перекладинкой, — видно, изображение креста.

Священник («А может, это дьякон? — подумала Ася. — Кто его знает!») открыл перед собой красивые, резные двери, зашел внутрь за перегородку, прикрыл за собой двери и что-то наполовину сказал, наполовину спел приятным баритоном.

Потом он снова вышел из-за дверей и начал размахивать в разные стороны железной вазочкой на длинной цепочке. «Кадилом», — догадалась Ася. Собравшиеся в церкви кланялись и крестились, кадило позвякивало, а у прилавка с надписью «Соблюдайте благоговейную тишину» все время шуршали деньги: там стояла очередь за свечами.

Молодой священник снова ушел за перегородку, но оставил двери открытыми, и стало видно, что там внутри стоит еще один поп — постарше, с квадратным вышитым платком, припиленным к боку.

Поп, который был постарше, поднял над головой книгу в бархатном переплете и передал ее попу по-

моложе. Тот, стоя в открытых дверях, опустил и снова поднял книгу, а потом опять запел.

Женщины в платочках, и полногрудая девушка в красном свитере, и мальчик, похожий на Андрея, отвели ему. Оказалось, что это хор.

В это время в церковь торопливо вошел и стал протискиваться вперед мужчина в коротком пальто нараспашку, с неопределенно вежливой улыбкой на губах. Раскланиваясь, как в гостях, с людьми, которые пропускали его вперед, он прошел к хору и с ходу вступил в пение хорошо поставленным тенором. Потом он вернулся обратно на середину церкви к наклонному столику, на котором лежала толстая книга, и стал, заглядывая в нее, читать, сладко гнусая. Потом они спели что-то дуэтом вместе с молодым попом, вступая попеременно, а когда замолчали, снова запел хор. Его слова стали подхватывать те, кто был в зале. Это продолжалось очень долго.

Ася уловила обрывки непонятных фраз: «...яко мы оставляем...», «владыко человеколюбче...», «...сокро-вице блгах и жизнеподателю...», «святый боже, свя-тый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас...» И невидимый голос повторил много-много раз: «Господи, помилуй, господи, помилуй, гос-поди, помилуй...» И все, кто был в церкви, кроме Аси, опустились на колени, а многие женщины и вовсе встали вроде на четвереньки, склонив голо-вы к самому полу. Ася стояла во весь рост, смотре-ла, сжав зубы, на тех, кто упал на колени, чувство-вала, как у нее горит лицо и колотится сердце, и думала: «Вот, значит, что будет делать Павел. Он будет говорить непонятные слова не своим голосо-м, махать железной вазочкой на цепочке и заставлять людей вставать на колени. Как же ему не стыдно!»

Кто-то дернул ее за рукав. Она оглянулась. Сквозь толпу проходила женщина с начищенным подносом, к которому был приклеен плакатик: «На елей». На подносе лежали смятые рублевки, трех-рублевки, пятерки и горка мелочи.

Женщина потрясла подносом перед Асиными гла-зами. Ася отрицательно покачала головой.

— Креститься не креститься, на колени не вста-ешь, на храм не жертвуешь? — спросила та тихим шепотом. — Зачем пришла?

А потом вместе со всеми подхватила фразу, кото-рую в этот момент затянул хор: «Аллилуйя, алли-луйя, аллилуйя...»

Ася пошла к выходу, но остановилась: увидела, что в правой части церкви перед такими же резны-ми дверями, но поменьше появился тот поп в чер-ном, который первым проходил по залу. Вокруг него собралось человек десять, и он начал им что-то го-ворить. «Проповедь!» — догадалась Ася и подошла поближе. И пока перед иконостасом в центре зала махали кадилом, пели и говорили непонятные слова, а за прилавком сыпали в плетеную корзинку со-бранные деньги, старый поп в боковой части церкви говорил о внезапных болезнях и неожиданных не-счастиях, о крушении поездов и землетрясениях и, строго воздевая руку, требовал, чтобы те, кто его слушает, не загадывали далеко вперед, не строили планов, не обольщались надеждами, а смиренно просили по утрам у бога благополучия на один бли-жайший день.

Он привел пословицы: «Без бога ни до порога», «Человек предполагает, а бог располагает», — потом рассказал случай с инженером, который написал же-не, что приезжает с курорта в воскресенье, но не до-бавил, «если богу будет угодно».

— И пришлось супруге увидеть мужа не здоро-вым на вокзале, а мертвым во гробе... А все пото-

му, что человек этот вообразил в своей гордыне, что он сам себе хозяин.

«Ну что он такое говорит! — так и хотелось крикнуть Асе. — Зачем он пугает тех, кто его слушает? И кого можно этим напугать? И почему нужно верить в бога, такого дотошного, мелочного и мстительного, что он убивает человека, не согласовавшего с ним срок приезда домой? Ну как же вы можете все это слушать всерьез!..»

Но люди слушали попа. А его голос, то строгий, то вкрадчивый, все шелестел и шелестел пословицами, житейскими случаями, евангельскими притчами. И все слова о смертях и скорбях, о муках и болезнях вели к одному — к упрекам тем, кто посещает церковь от случая к случаю, а надо бы бывать в ней каждый день или хотя бы по воскресеньям...

И пока в одной части зала продолжали петь, крепиться, вставать и снова бухаться на колени, а в другой слушать проповедь, Ася стояла у стены с высоко поднятой головой, чувствуя, что у нее на глазах появляются слезы стыда и гнева.

Значит, Павел будет не только махать кадилом и петь непонятные слова, он будет пугать людей бедами, смертями и несчастьями, чтобы заставить их ходить в церковь!

Ну нет, этого она ему не позволит!

Она здесь какой-нибудь час, а сколько раз уже вокруг нее спели и сказали, что люди должны вести тихое и безмолвное житие, пребывать в страхе и трепете. Бояться, бояться, бояться...

Хватит с нее! Не желает она этого больше слушать!

Ася пошла к выходу. За прилавком, над которым висел телефон, пересчитывала деньги дама в черной шляпке с лицом старой жабы. Денег было много.

Зазвонил телефон. Дама за прилавком взяла трубку.

— Храм слушает, — ответила дама. — Нет, батюшка ждать не станет. Что значит нет машины? Хотите, чтобы приехал причащать, найдете машину, — властно сказала она. — У меня все. — Она положила трубку.

В первом, маленьком зале на полу по-прежнему сидели старухи и среди них мальчик с парализованной ногой.

И Ася вдруг его узнала. Когда она в последний раз была в школьном пионерском лагере — ездила уже вожатой, — этот мальчик тоже был в лагере в отряде малышей.

— Что ты здесь делаешь? — спросила Ася, наклонившись к нему. — Почему ты просишь милостыню? Что с тобой?

Мальчик ничего не ответил. Нищенки зашипели на Асю и, плотно сдвинувшись, закрыли от нее мальчика.

— Пойдем со мной на улицу, — сказала Ася. — Там ты мне все объяснишь. — Она потянулась было к мальчику, чтобы взять его за руку и увести с собой, но он весь сжался.

— Тебе-то что? — сказал он и забился в угол. — Хочу и сижу.

На беду, Ася никак не могла вспомнить, как его зовут.

— Что тут происходит? — спросил человек в длинной одежде вроде ночной рубахи, только из плотного материала. Из-под одежды внизу виднелись ботинки на толстой подошве, а сверху, у шеи, — грязноватая зефировая сорочка с вязаным галстуком.

Во время службы этот человек помогал попу, потом пел с хором, потом что-то говорил даме за прилавком, пересчитывая вместе с ней деньги...

— Что у вас делает этот мальчик? — спросила Ася. — Он школьник, нельзя ему тут сидеть, не может он быть нищим! — быстро и горячо сказала она. — Я хочу увести его отсюда к нему домой.

— Блаженны нищие, — ответил человек в одежде, похожей на ночную рубаху. — А вы, барышня, ступайте-ка, у нас свои порядки.

— Отстань от меня! — крикнул мальчик. — Что она ко мне привязалась? — Его худая спина затряслась от плача.

— А вот мы сейчас батюшку позовем, — сказали старухи, — он тебе покажет, как тут непорядок устраивать.

Ася растерянно вышла на улицу.

Она ведь хотела сделать как лучше... Но на паперти (Ася вдруг вспомнила, как называются ступеньки церкви) она остановилась. Как уйти, оставив тут мальчика, который вместе с ней был в пионерском лагере, вместе с ней выходил по утрам на линейку, вместе с ней в день открытия лагеря сидел у пионерского костра? Но как снова войти внутрь? Что сказать ему? Как увести его оттуда?

Ася постояла на паперти в нерешительности. Нет, так сразу она ничего для мальчика сделать не сможет. Нужно с кем-нибудь посоветоваться. Ну, например, с Вадимом.

...Ася быстро сбегала вниз по ступеням и, не оглядываясь, пошла к воротам своей стремительной походкой и вдруг прямо перед собой увидела лицо Геннадия с высоко поднятыми изумленными бровями и приоткрытым ртом. Он словно бы хотел ее окликнуть, но на полуслове остановился.

Геннадий сидел в будочке чистильщика сапог прямо против ворот церкви и, пока чистильщик наводил блеск на его парадные туфли, объяснял ему принцип, на котором основана солнечная батарея спутника. И в это время он увидел, как из церкви выходит Ася.

Может, ему померещилось? Нет, не померещилось. Он хотел было крикнуть Асе: «Привет! Как помылилась?», — но промолчал, сам удивляясь своей выдержке. Вот, значит, почему она сказала, что будет занята утром! В церкви была! Геннадий присвистнул. Это открытие было посерьезнее, чем историк Вадим, от которого — Генка в этом был уверен — он Асю все равно, рано или поздно, не увидет. А эту неожиданность надо было обдумать по-настоящему.

— Вот в общих чертах все, — сказал он чистильщику, прерывая на середине свои объяснения об устройстве солнечной батареи и расплачиваясь.

Он хотел было догнать Асю, но раздумал. Вечером они все равно увидятся, а сейчас он еще не готов к серьезному разговору. Подумать только, такой замечательной девчонке задурили голову, в церковь ее затянули!

Чего доброго, вечером вместо того, чтобы повести ее на улицу Горького есть мороженое и пить воду с сиропом или просто погулять с ней по городу и постараться при этом спросить: «Как ты ко мне в данный момент, Рыжик, относишься?», — придется ей объяснять, что бога нет.

Уж он-то, Геннадий, работающий в области телевидения и электронной техники, может ей чем угодно поручиться, что все божественное — полнейшая ерунда и что с точки зрения физики для бога просто не остается в природе места. Во всяком случае, это такая чепуха, на которую и десяти минут жаль, а не то что целого воскресного утра, которое так хорошо можно было провести вместе и которое теперь безвозвратно потеряно у него на шатание по улицам, а у нее — на какие-то дурацкие процедуры в церкви.

«В музей сходить, и то лучше было бы»,— думал Геннадий, который терпеть не мог музеев. Но он подозревал, что Вадим, наверное, таскает Асю по музеям: с него станется. Правда, у Вадима еще первая категория по шахматам, но ведь не шахматами же он в конце концов Асю заинтересовал. «А впрочем, чего гадать... Вечером увидимся, там и поговорим»,— решил Геннадий.

Он не любил ломать себе голову над непонятным, особенно если непонятное не могло быть выражено в виде радиосхемы. Занимаясь сложными схемами, он забывал про все. Только про Асю не забывал. Чем решительней она отвечала ему по телефону, что занята, чем небрежнее говорила с ним, тем больше он о ней думал.

Вот и сейчас удивился, что она вышла из церкви, решил отложить серьезный разговор на вечер, а мысли сами вернулись к тому дню, когда он увидел Асю в первый раз.

...Геннадий устанавливал на лестничной площадке третьего этажа распределительный щиток для телевизионной антенны. Работа была легкая, бездумная. Руки сами присоединяли клеммы, а губы насистывали песенку, которую он накануне удачно записал на магнитофон, когда передавали концерт эстрадного оркестра из Будапешта.

Вдруг Геннадий услышал быстрый перестук каблучков. Он обернулся. С четвертого этажа сбегала по ступеням легконогая девочка. Геннадий стоял на стремянке, и, когда он повернулся, на короткий миг их лица оказались на одном уровне, одно против другого. Мелькнули веселые глаза, вспыхнули в солнечном свете рыжие волосы. Девушка пробежала мимо, не задержавшись, не оглянувшись, но ее каблучки застучали по ступеням нижних этажей в ритме песни, которую он насистывал...

С тех пор прошел год. Они уже давно познакомились, а Геннадий все еще, когда думает об Асе, вспоминает, как сбегала она тогда по лестнице...

Вот и сегодня Ася бежала так же, как тогда, когда он ее увидел в первый раз. Только бежала она из церковных ворот. «Нет, все-таки жизнь — это очень сложная штука»,— с огорчением подумал Геннадий.

— Не может патруль туда войти,— снова повторил Вадим,— не может. Не полагается.

Ася разыскала его в красном уголке жилищной конторы, где был штаб комсомольских патрулей.

— Значит, пусть мальчик так там и останется, да? А вы нацепите красные повязки и пойдете на улицу делать замечания тем, кто бросает окурки мимо урны и переходит мостовую не там, где нужно?— вспыхнула Ася.— И будете думать, что учитесь жить по-коммунистически? А мальчик будет куда сидеть на каменном полу и просить милостыню? Это, по-вашему, полагается?

— С мальчиком действительно нужно что-то сделать,— сказал Вадим.— Только в церковь мы за ним не пойдем. Давай походим около метро — все равно мне там дежурить — и подождем. Может, он тем временем сам появится.

Они вышли на улицу. Вадим взял Асю под руку, посмотрел на нее и добродушно рассмеялся:

— Ну что, Кипяток, остыла немного?

Ася кивнула головой. Ася-Кипяток — было ее школьное прозвище. Ей было приятно, когда Вадим называл ее так.

— А тебя чего в церковь понесло? — спросил Вадим и, не дожидаясь ответа, сказал сам: — Из любознательности. Понимаю. Мало мы об этом знаем. Ну, совсем не интересуемся, а потом ушами хлопа-

ем: как так, где? В Москве. Когда? На пороге шестидесятих годов двадцатого века очередь выстаивается за святой водой. Очередь длинной в три квартала. Такая, знаешь, обыкновенная очередь: «Кто последний? Я буду за вами...» И бидончики в руках тоже самые обыкновенные — молоко в них обычно носят. И люди с этими бидончиками тоже обыкновенные. Старые и молодые, взрослые и дети. Стоят и ждут обыкновенной воды из московского водопровода, над которой что-то попили и пошептали. Скажешь: старые, темные. А у нас в университете парень с юридического факультета вдруг оказывается стихарником, попросту сказать, служкой в церкви у старообрядцев... Это как? Уж он-то не темный! Двадцать лет парню.

— Двадцать лет? — переспросила Ася и подумала: «Вот и Павлу столько же».

— Но все-таки ты сама чего поутру отправилась в церковь? — сказал Вадим и внимательно посмотрел на Асю.

Ася молчала, подбирая слова. Второй день подряд приходится говорить о трудном.

— Слушай, Вадим!.. Как ты... Ну, вообще как ты относишься к религии?

Вадим остановился.

— Ого! — сказал он. — Откуда такой вопрос? Что с тобой случилось, Ася?

— Почему, если я об этом спрашиваю, значит, со мной что-то должно было случиться? Тебя могут интересовать разные вопросы. Меня они тоже интересуют. Особенно с некоторых пор...

...Да, сегодняшний день — день больших неожиданностей для Геннадия. Чистил ботинки на углу — увидел, как Ася из церкви выходит. Пошатался немного по улицам, повернул к дому и снова встретил Асю — на этот раз, ну, конечно, с Вадимом. Они прохаживались по тротуару напротив церковной ограды. Вадим что-то горячо говорил, Ася внимательно слушала. Для всего у нее было время с утра, только не для него, не для Геннадия. Но на этот раз он не станет делать вид, что не заметил ее.

Геннадий решительно пошел им навстречу.

— Привет! — сказал он и слегка дотронулся до поля шляпы жестом, который подсмотрел в картине «Разбитые мечты».

— Здравствуй,— сказала Ася.

— Здравствуйте, Геннадий,— сказал вслед за ней Вадим.

— Гуляете? — спросил Геннадий и побагровел: вопрос был идиотским.

— Разговариваем,— ответила Ася.

Все трое постояли молча, не зная, что говорить дальше.

— Ты извини. Мы пойдем,— сказала Ася.— Нам посоветоваться нужно.

— Не смею задерживать,— сказал Геннадий и приосанился: обрадовался, что такие язвительные слова нашел.

Он снова небрежно приложил руку к шляпе (законченность жеста требовала, чтобы пальцы как бы оттолкнулись от поля, едва прикоснувшись к ним) и не просто ушел, а удалился. Но Геннадий удалился не очень далеко. Он опять догнал Асю и Вадима.

— Виноват,— сказал он,— еще раз помешаю. Ненадолго. Я только хотел узнать: ты не забыла? Мы условились на вечер.

Геннадий значительно посмотрел на Вадима.

— Нет, что ты, я не забыла! — весело ответила Ася.— В восемь у книжного,— сказала она. А потом, блеснув на него глазами, добавила: — Как всегда.



«Верующие останавливали его, он что-то им сурово говорил, а они целовали ему руку, которую он совал им, не глядя» (стр. 16).



«Но Степановна уже ничего не слышала. Она была в своей стихии — стихии уличного скандала...» (стр. 21).

— Порядок! — сказал Геннадий. — Буду без опозданий.

И ушел, очень довольный собою, не оглядываясь на Вадима, чтобы не подчеркивать своей победы.

«Как всегда», — сказала Ася. Все сразу стало на свое место. Понятно, что им теперь нужно поговорить. Объяснение перед решительным разрывом! И он, Геннадий, тому причиной. Ему даже стало жаль Вадима, но он решил не поддаваться чувству великодушия.

...Как удивился бы он, если бы знал, о чем разговаривают Ася и Вадим и почему они все время ходят от одного угла церковной ограды до другого!..

— Ты меня спросила, как я отношусь к религии, — сказал Вадим. — Я удивился, что ты спросила об этом. Но ты не удивляйся, что я удивился. Ух, какая нескладная фраза! Видишь ли, я об этом много думал. Сейчас объясню, почему. Прошлым летом мы ходили в туристский поход.

В одном селе зашли в чайную пообедать. Между прочим, замечательно пообедали... И тут подсел к нашему столику какой-то старик. Вначале приглядевался, прислушивался. Потом спросил: кто мы, откуда? Когда сказали, что студенты-историки из Москвы, он говорит: «Тут у нас озеро неподалеку имеется. Светлояр по названию. Непременно туда сходите».

«А чем оно интересно?» — спрашиваем. Времени у нас оставалось в обрез.

«Сами увидите, — говорит. — Мне бы ваши годы и ваше образование, я бы на все лето у этого озера поселился, стал бы при дороге и каждому идущему говорил: «Люди, что вы делаете?!» А больше я вам ничего не скажу. Ежели вы историки и по своей земле решили походить, должно у вас быть любопытство. А если нету любопытства, тогда нам и говорить не о чем...»

Заинтересовал нас. Все-таки спрашиваем: «А что мы там увидим: хорошее или плохое?»

Рассердился: «А вам, молодые люди, только на хорошее смотреть желательно? Природу, — говорит, — увидите замечательную, а вот что из нее там сделали... Я когда сам первый раз это увидел, меня затрясло всего... Вам сейчас лет по двадцать? А мне двадцать было в одна тысяча девятьсот семнадцатом. В двадцатом я в этом селе первым избачом стал, газету народу читал. «Беднота» называлась газета. Спектакли устраивал. Общество безбожников организовал. Для меня на Светлояр-озере хорошего нету и быть не может».

Словом, с комсомольским прошлым папаша.

Послушали мы его и пошли на это озеро.

Вадим помолчал.

— Знаешь, то, что я там увидел, никогда не забуду, — сказал он. — Никогда!

День был замечательный. Солнечно, ясно. Вода в озере синяя-синяя. Покосяк идет. Сеном пахнет. И медом. Лес шумит. Хорошо! А под этим ясным небом по берегу ползут мужчины, женщины, дети. Особенно много детей. Ползут, где по скошенной траве, где по песку, где по гальке. Кожу стирают до мяса. Поют какие-то молитвы, головами бьются о землю...

— И их там много? — спросила Ася.

Она представила себе стертые в кровь колени и передернулась.

— То-то и оно, что много, — ответил Вадим. — А мы, студенты-историки, комсомольцы, москвичи, стоим, смотрим. Не знаем, что делать. И мимо нас на колених ползут люди. Будто время остановилось. Нет!

Не остановилось — повернулось назад! А кругом все, как везде. За лесочком стучит трактор. И самолет над нами пролетает. Тянет в небе серебряный след. А они ползут... Вот это и есть религия. Это она их поставила на колени. Она приказала: хочешь счастья — ползи червем по земле, унижайся, кланяйся, молись.

— Понимаю, — сказала Ася. — Только это ведь ужасно. Как же можно, чтобы это было?!

— Вот и я об этом стал думать, — сказал Вадим.

Улица вокруг них жила обычной жизнью, но Вадим, и не закрывая глаз, сквозь воскресную суету города видел поразившее его Светлояр-озеро... А Асе представлялось и это озеро, о котором рассказывал Вадим, и мальчик, которого она только что встретила. Светлояр-озеро и эта вот церковь были как-то связаны одно с другим. Это она понимала. И ей было нестерпимо думать, что Павел собирается быть не с тем стариком, который хотел бы стать при дороге к Светлояр-озеру и говорить: «Что вы делаете, люди?», — а попом, которого она только что слышала и который требовал от людей постоянного страха.

— Вернулись мы в Москву, начались занятия, кружки, семинары, собрания, — продолжал Вадим. — А у меня все не идет из головы это озеро и женщины, которые ползут вокруг него на коленях и детей за собой тащат. Даже по ночам снится... А тут еще на семинаре взялся я доклад про Джордано Бруно сделать. Он с детства мой самый любимый герой. Ты в школе про него учила, знаешь, как попы его мучили. От него хотели, чтобы он стал на колени и сказал: «Винюват, что осмелился думать и рассуждать сам. Отрекаюсь, повинуюсь, буду повторять то, что велено». Он не захотел. Тогда его сожгли. Это ты все, конечно, знаешь. Но вот чего ты не знаешь — я тоже не знал, пока не стал специально для доклада его биографию изучать, — сохранился такой документ: расписка на деньги. Подписал этот документ один итальянский епископ. А деньги он получил за то, что за несколько дней перед сожжением Бруно специальными ножницами срезал кожу с его пальцев.

— Это зачем? — спросила Ася, чувствуя, как у нее по спине побежали ледяные мурашки озноба.

— Обычай был такой. Бруно когда-то был монахом, и, отлучая его от церкви, попы срезали с пальцев кожу, которой он касался елеем, в знак того, что лишают его церковной благодати. А еще я прочитал, что, когда повели Бруно на костер, ему зажали губы в тиски, чтобы он не смог крикнуть толпе, что от своих взглядов не отрекся. И когда он стоял около столба, палач ударил его сзади по голове, чтобы он ткнулся губами в распятие: пусть толпа думает, что Бруно смирился и поцеловал крест. Это ведь неважно, что с тех пор прошло триста пятьдесят девять лет. Этого нельзя будет забыть и простить даже через тысячу. Такого нельзя ни забывать, ни прощать! Ни епископа, который сдирал кожу с пальцев живого Бруно, ни попов, которые звонили в колокола, когда вешали декабристов, ни того современного проповедника (а ведь он где-то есть), который заставляет людей ползать на коленях вокруг Светлояр-озера.

Вадим говорил, как всегда. Спокойно, умно, рассудительно. Но Асе казалось, что у него в горле стоит ком. Она даже испугалась. Павел никого не будет отправлять на костер: попы теперь вроде какие-то другие, незаметные, тихие. Но слова Вадима связывали одно с другим. И она чувствовала, что ей теперь будет нелегко рассказать Вадиму про человека, которого она любит и который готовится стать по-

пом. И не рассказать нельзя. Трудно одной все обдумать. Вадим говорит про далекие времена, о которых пишут в учебниках. Может, это к Павлу никакого отношения не имеет? Но ведь видела же она сама в церкви, только что видела, как людей пугают несчастьями и ставят на колени. И во всем том, что она там увидела, это было для нее самым невыносимым. А Павел будет делать именно это!

— Ну, а теперь все-таки расскажи, Кипяток, чего тебя в церковь занесло? — спросил Вадим. — А то я вон в какие материи забрался.

— Я сейчас все расскажу, — сказала Ася. — Вот дойдем до угла, повернем обратно, и я тебе все расскажу.

Но рассказать она не успела. Люди стали выходить из церкви. Служба, видно, кончилась. Появился человек в модном пальто, который пел тенором в хоре. Его провожали женщины. Они говорили ему что-то приятное. Он кутал горло шарфом, наклонял голову то в одну, то в другую сторону, кланялся, улыбался. Потом сел в такси, которое ждало его, и уехал: верно, торопился выступать в другом месте.

Ася фыркнула. Ей представилось, как этот тенор выйдет через полчасика в дневном концерте на сцене какого-нибудь клуба и вместо арии «Сердце красавицы» (ей почему-то подумалось, что он непременно должен петь это или что-нибудь такое же расхожее) затыкнет то, что пел в церкви.

Потом вышел поп, который вел службу в центральной части церкви. Он был в пальто, из-под которого виднелась ряса, и в шляпе и что-то начальственно объяснял человеку в одежде вроде ночной рубахи; тот слушал, согласно кивая головой, а потом открыл дверцу машины. Поп сел в машину рядом с шофером и уехал.

Наконец вышли старухи, с ними мальчик, которого ждали Вадим и Ася. Мальчик шел, сильно хромя и опустив голову. «В лагере он тоже хромял, — вспоминала Ася, — а в остальном был, как все ребята».

— Вот он, — тихо сказала Ася.

— Вижу. Ты не знаешь, как его зовут?

Ася покачала головой.

Старухи плотной черной группой повернули к кладбищу, а мальчик задержался на углу.

Вадим подошел к нему.

— Слушай, — сказал он, — мы хотим с тобой поговорить. Пойдем-ка, брат, с нами. Сядем в саду на скамейку и поговорим.

Мальчик втянул голову в плечи и посмотрел на Вадима снизу коротким, недоверчивым взглядом.

— Не, — сказал он, — не пойду. — И он сделал всем телом такое движение, будто Вадим хочет его схватить, а он ускользает.

— Да ты не бойся, чудак! — сказала Ася. — Разве ты меня не помнишь? Мы вместе в лагере были в Апрелевке. Я только забыла, как тебя зовут. Пойдем с нами.

Мальчик снова посмотрел на нее и вдруг истошно закричал:

— Чего они ко мне вяжутся?! Никуда я не пойду!

Люди, которые продолжали выходить из церкви, оглянулись на этот крик. Стала собираться толпа. И Ася вдруг услышала отвратительно знакомый голос:

— Вы чего это, молодежь, перед храмом безобразничаєте!.. Мало вам другого места на улице?

Это была Степановна. Она вышла из церкви вместе с дамой, которая пересчитывала деньги за прилавком.

— И не стыдно тебе, — продолжала Степановна, — здоровой девке! Под ручку с ухажерами ходишь, а привязалась к убогому! А если я сейчас милицию

позову? Будешь, как миленькая, пятнадцать суток улицы подметать! Там вас таких, которые по тротуарам юбки треплют, много!

Ася почувствовала, как у нее кровь бросилась в лицо.

Дама из-за церковного прилавка стояла в стороне, но одобрительно кивала головой.

— Ужасная молодежь пошла, — сказала она нравоучительно. — Ужасная!

— Мы не делаем ничего плохого, — еще раз попробовал объяснить Вадим. — Мы хотим узнать, как зовут этого мальчика и почему он, школьник, побивается в церкви.

— Ах, тебе церковь помешала! — прошипела Степановна. — Это ты, — и она налегла на слово «ты», — будешь в церкви свои порядки устанавливать! Да ты знаешь, что по закону полагается за оскорбление верующих чувств?

— Гражданка, — рассудительно сказал Вадим, — ну, какие ваши чувства я оскорбляю? Мы мальчику этому помочь хотим.

Но Степановна уже ничего не слышала. Она была в своей стихии — стихии уличного скандала, где на нее работало все: и натренированный голос, и размашистые ухватки, и умение переиначивать каждое слово того, кто решается ей возразить.

— Почему вы кричите? — беспомощно сказал Вадим.

— Ты только не объясняйся с ней, — сказала Ася. — С ней невозможно объясняться.

— Слушайте! — крикнула Степановна. — Сама безобразничает, а меня за человека не считает!

От «Гастронома» подошел милиционер.

— По какому случаю шум? — спросил он.

— Ну вот, хоть вы скажите, товарищ сержант, это можно, чтобы школьник просил милостыню? — спросила Ася.

— Не положено, — ответил милиционер, — ни школьнику, ни кому другому. На этот счет есть обязательное постановление. А кто его у меня тут нарушает?

— А на ребенка-калеку набрасываться, ручищами его хватать: это как, положено? — крикнула Степановна.

— Набрасываться тоже ни на кого никому не положено, — сказал милиционер. — А кто у меня тут набрасывается? И прежде всего, граждане, где ребенок, о котором шум?

И только тут Вадим и Ася заметили, что пока Степановна собирала вокруг них толпу, мальчик, из-за которого все началось, исчез. Может быть, его увела дама, которая вышла вместе со Степановной? Ее в толпе тоже не было видно.

— Делаю вам, гражданка, замечание, — сказал милиционер Степановне. — За беспричинные крики в воскресный день. И вам тоже, тем более, вы оба молодые, сознательные, должны поддерживать порядок и культуру. А теперь давайте, граждане, разойдемся. Тихо и по-хорошему.

— Глупо как все получилось, — сказал Вадим. — Мы даже не знаем, где его искать. Что-нибудь придумаем... Ну и баба на нас накинулась! — сказал он. — А голос у нее какой, это ужас! — И они весело расхохотались.

— Смеетесь? — услышали они за собой голос Степановны. — Смейтесь! Смейтесь! Рады, что сошло вам ваше безобразие.

— Оставьте нас, пожалуйста, в покое, — сказал Вадим негромко.

Степановна оглянулась. Рядом с ними никого не было. Тогда она подошла вплотную к Асе, плюнула ей под ноги и сказала:

— Плакать бы не пришлось!

Вадим усмехнулся.

— Не спешите, гражданка. Выложите все, что у вас есть на душе. Это весьма поучительно.

— Чтобы я с тобой разговаривать стала! — крикнула Степановна и пошла от них прочь.

— Нет, она какая-то психическая, — сказала Ася растерянно.

— Если бы психическая! — вздохнул Вадим. И, помолчав, сказал: — Ты меня спрашиваешь: как я отношусь к религии? Я могу сказать тебе об этом спокойными словами. Буду преподавать в школе историю, а сам стану заниматься происхождением всяких предрассудков и суеверий. Но для чего? Просто так? Нет! Чтобы не стоять больше, как мы стояли на берегу этого озера, а знать, что нужно делать, когда не в книжках, а наяву встречаешь такое. Но смотри, я все время говорю и говорю, а ведь ты мне хотела что-то рассказать.

— Я тебе обязательно расскажу, — пообещала Ася. — Только не сейчас. Я что-то вдруг очень устала.

...Еще утром Асе казалось, что ей нужно обдумать только то, что она вчера услышала от Павла. А сколько всего сразу обрушилось на нее! Она вошла в церковь. Она увидела верующих на коленях и мальчика с парализованной ногой, который не захотел даже говорить с ней. А потом лицо Вадима, когда он рассказывал про Бруно так, будто все это случилось вчера. А потом плотную черную стенку побирушек, которые окружили мальчика. А потом хриплый от ненависти голос Степановны. Достаточно на сегодня! Это все нужно обдумать. Со всем этим нужно как-то справиться...

Но почему, почему так случилось, что она, Ася Конькова, должна ломать себе голову над тем, что ее до сих пор совершенно, ну, ни на одну минуту не интересовало, что для нее и не существовало вовсе! Как это несправедливо!

Все-таки хорошо, что вечером около книжного магазина ее будет ждать Геннадий. С ним можно помяться, поболтать, подразнить его немножко, просто и не решая никаких вопросов.

Воскресенье. Вечер

Ну нет, ровно в восемь она к книжному магазину не пришла. Разговор с Вадимом ее расстроил, но серьезные разговоры серьезными разговорами, а все-таки как не заметить, что Геннадий уходил победителем! Появившись у книжного вовремя или окажешься на углу первой — совсем задерет нос. «Привет, Рыжик! — крикнет. — Ждешь недолго, надеюсь? Порядок!» Словом, опоздать нужно было не меньше чем минут на десять.

У Геннадия тоже были свои соображения, когда прийти к книжному магазину, с каким видом стоять, какими словами встретить Асю. Но чем ближе подходило время к восьми вечера, тем меньше ему хотелось думать о том, что он мысленно называл «тактикой» и в чем считал себя специалистом. Без четверти семь, поглядев в зеркало, он вдруг увидел, что его по-дурачки подстригли, что рубашка — зеленая, в черную клетку, за которой он специально на днях ездил в Серпуховский универмаг, — не имеет никакого вида, и понял: напрасно радуется! Ася может и не прийти; наверняка не придет: такой характер!

Но все-таки Геннадий кинулся на кухню — гладить сорочку под галстук, хотя галстуков не любил, потом

с маленьким зеркалом стал крутиться перед зеркальным шкафом, старался разглядеть, действительно ли его так скверно подстригли, как ему показалось.

Он поглядел на часы. Двадцать минут восьмого. И вдруг ему в голову пришла великая мысль — как это он раньше не додумался! Он перебежал через двор к приятелю, с которым они вскладчину купили зимой мотороллер. Было твердо условлено не трогать машину до настоящей весны и сухих улиц, а уж тогда освоить ее как следует. На этом решении настоял Геннадий. Сегодня он начал от самых дверей с обезоруживающего самокритического заявления:

— Слушай, я болван. Почему мы должны ждать? Сегодня воскресенье, сегодня надо обновить машину. Заметано?

— Да ведь ты сам говорил... — начал приятель, который был тугодумом.

— Мало ли чего я буду говорить, а ты все будешь слушать? Где ключ от сарая?

— Я с ребятами к девяти в бассейн собирался, там сегодня вечером водное поло.

— А тебе зачем ехать? Я был неправ, — значит, я один и исправлю ошибку, так и быть, потрачу сегодняшний вечер, посмотрю, что и как с машиной...

Приятель еще и опомниться не успел — Геннадий уже выводил мотороллер из сарая.

...Конечно, следовало бы подкатить к углу, когда Ася будет там стоять, крикнуть ей на ходу, не глуша мотор: «Прошу!», — на секунду остановиться, чтобы она могла сесть, и умчаться ее по шоссе, по которому, как сказано в техническом паспорте, при хорошем состоянии покрытия мотороллер может развивать скорость до семидесяти километров в час. Пусть почувствует, что нет в наше время других богов, кроме техники, а этого бога он, Геннадий, держит за рога!

И все-таки он подъехал к книжному магазину заранее. Носовым платком стер брызги грязи, приставшие к кремовому боку мотороллера, цветок, купленный на углу, воткнул под ручку тормоза и стал ждать, ждать, как еще никогда и никого не ждал в жизни.

— Я не опоздала? — спросила Ася, хотя ей было твердо известно, что она пришла, как и собиралась, на десять минут позже назначенного. На ней был все тот же шарфик и все тот же ярко-синий беретик, но вместо пальто спортивная курточка, про которую Марина, пожав плечами, сказала, что она делает Асю совершеннейшей мальчишкой, но что, может быть, так и надо и что в этом тоже есть свой стиль.

— Ничуть ты не опоздала, — ответил Геннадий, хотя только что с отчаянием смотрел на часы. — Прошу! — сказал он и показал на мотороллер небрежным жестом.

— Что это? — удивленно спросила Ася.

— «Вятка», — ответил Геннадий. — Мотороллер, отличная машина для езды в городских условиях. Работает на бензине с добавлением небольшого количества автола. Развивает скорость до восьмидесяти километров в час. — Десяток километров он прибавил. — Расходует три литра на сто километров пути, берет с собой запас на четыреста... Так что я могу тебя хоть в другой город отвезти.

— Это твой? — спросила Ася.

— Наш, — загадочно ответил Геннадий и повторил: — Прошу! Садись. То есть сперва сяду я, а потом сзади сядешь ты. И можешь за меня держаться, — разрешил он, усаживаясь на переднюю часть седла, а потом добавил, почувствовав, что Ася медлит: — Или за петлю держись, там есть такая под ручками.

...И вот они едут по широкому проспекту.

Сначала Ася держалась за петлю, но когда Геннадий прибавил ход и встречный ветер ударил им в лица, она обхватила Геннадия за плечи, и он тут же навсегда забыл про инструкцию, которая предписывала первую тысячу километров ездить потихоньку — обкатывать машину.

Пока Ася с ним, он будет выжимать из мотороллера все, что можно, только бы чувствовать ее руки у себя на плечах, ее дыхание на своем затылке.

Впереди вспыхнул красный свет. Пришлось остановиться. Геннадий оглянулся на Асю. Рыжие волосы растрепались, щеки горели, а в глазах сверкало отражение красных огоньков светофора, словно бы предупреждая Геннадия: стоп, дальше нельзя!

— Хорошо? — спросил он. — Тебе нравится так ехать?

— Замечательно! — сказала Ася. — Лучше всякой машины.

«Сейчас я ее поцелую», — подумал Геннадий. Светофор переключили. В Асиных глазах вспыхнули зеленые огоньки, но тут же с обоих боков нетерпеливые машины стали обходить мотороллер Геннадия. Этого он вынести не мог, с места взял третью скорость, пытаясь не дать «Волге» обогнать себя. Соствзаться с «Волгой» он долго не мог, но Асины руки у себя на плечах почувствовал снова.

И покуда в зеркальце убежал и убежал назад сырой асфальт с размытыми бликами от фонарей, покуда справа и слева маленькую кремовую «Вятку» обхватали большие сверкающие машины, а позади него, обхватив его руками за плечи и стуча ему в спину сердцем, сидела рыжая девчонка, которую утром неизвестно за каким чертом понесло в церковь, Геннадий почувствовал: то, что с ним происходит, — это и есть счастье.

В центре был такой плотный поток троллейбусов, автобусов, машин, таким пронзительным, разбойничьим посвистом предупреждали о себе голоногие велосипедисты, возвращающиеся с первых загородных тренировок, такая густая толпа ожидала на тротуарах перехода, милиционеры так энергично подгоняли водителей взмахами черно-белых жезлов, что у Геннадия даже ладони вспотели от напряжения. Все-таки проехать на мотороллере в девятом часу воскресного вечера по Москве было труднее, чем сдать устный зачет на знание правил уличного движения.

Но сегодня с ним ничего не могло случиться. С этим чувством Геннадий, чудом разобравшись в великой путанице разрешительных и запретительных огней и стрелок, лихо развернулся по площади, чтобы ехать вверх по улице Горького. С этим же чувством — сегодня не может случиться ничего плохого! — он спокойно оставил мотороллер перед кафе, хотя вспомнил, что не взял с собой хитроумного замка, которым они с приятелем договорились запирать руль кремовой «Вятки».

— Прощу! — сказал Геннадий и распахнул перед Асей дверь, пропуская ее вперед и слегка склонив голову. Ему самому понравилось, как это у него получилось. — Пойдем наверх, Рыжик, — предложил он и первым зашагал на балкон кафе по широкой деревянной лестнице, покрытой мягким ковром. На середине лестницы он остановился и объяснил: — Ты не обижайся, что я впереди иду. В зал ресторана и кафе мужчина всегда входит первым. А когда по лестнице идут вверх, тоже опережают свою даму...

— Это еще почему? — с интересом спросила Ася.

— Такое уж правило, — объяснил Геннадий.

— А ты откуда все это знаешь?

— Я еще много чего знаю, — сказал Геннадий, — но если хочешь, иди ты вперед. Поскольку нет правил без исключения.

Но Ася не захотела быть исключением, и он сам выбрал место и прошел к нему, ведя ее за собой и уверенно, как углы на улице, огибая чужие стулья. Он посадил Асю к облюбованному им столику за колонной, поставил себе стул напротив, а потом, посидев так минуту, переставил его, чтобы сидеть с ней рядом.

Как ему все удавалось сегодня! Ася даже согласилась выпить вина. Генка потребовал было целую бутылку, но потом вспомнил, на чем приехал, и сказал виновато:

— А мне, знаешь, вина совсем нельзя сегодня. Я за рулем.

— Вот и хорошо, — ответила Ася. — Зачем вино? Нам и так весело. Или нет?

Ее голос прозвучал, будто она не утверждала, а спрашивала, и спрашивала не его, а себя. Но Геннадий этого не заметил. «Нам весело», — сказала она. «Нам», — сказала она.

— Почему ты сегодня такая? — спросил Геннадий.

— Какая?

— Ну, не такая, как всегда.

Ася покачала головой.

— Не знаю. По-моему, я обыкновенная.

— Нет, ты необыкновенная, — упрямо сказал Геннадий. — И это я не только про сегодня, а про всегда. Ты должна знать, какая ты необыкновенная.

Ася ничего не ответила и, отвернувшись от него, стала смотреть через перила балкона в нижнюю часть зала. Ее волосы, рыжие, нет, не рыжие, как ему всегда казалось, а какие-то темно-золотые или, скорее, светло-бронзовые (точно такой цвет был у самых тоненьких жилок сопротивления, с которыми всегда было много возни при монтаже) — неважно, как называется этот цвет, важно, что такой цвет мог быть только у Асиных волос, — эти ее волосы и щека с нежным румянцем были совсем рядом с ним. Гораздо ближе, чем только что на мотороллере, когда она сидела сзади.

— Не смотри на меня так, — попросила Ася, не оборачиваясь.

— Как?

— Вот так, как смотришь. Давай лучше есть мороженое.

Ну что ж, будем есть мороженое. Все равно нужно набраться сил после слов, которые он только что сказал Асе. Они и для него самого были неожиданными. Геннадий не знал, что может говорить такими словами.

Он задумался и не заметил, как опередил Асю: она еще только доедала шоколадные шарики, осторожно проверяя ложечкой, не тают ли остальные, а он уже съел и два шоколадных, и два сливочных, и два крем-брюле.

Геннадий тревожно покосился на Асю. Все-таки это было нелепо — заговорил о том, какая она необыкновенная, и вдруг набросился на мороженое, как голодающий. А все потому, что он задумался. И не заметил бы, что ест и сколько съел, если бы не вкус двух последних шариков земляничного мороженого, от которого во рту сразу запахло детским зубным порошком. Но Ася все так же глядела вниз и в сторону.

«Волнуется», — с облегчением догадался Геннадий. — Все-таки то, что я сказал, — это было настоящее признание. Понятно, переживает».

Теперь нужно было сделать два следующих решительных шага — спросить: «Как ты ко мне относишься, Рыжик?» Нет, даже без «Рыжика». Просто, серь-

езно, мужественно: «Ася, как ты ко мне относишься?» И еще нужно было сказать: «Я случайно видел, как ты сегодня выходила из церкви. Это все муть и пережитки. Хочешь, я объясню, почему бога нет и быть не может?»

Геннадий решил начать с того, что легче: с существования бога. Но и к этому несложному делу требовался подход: может, ей уже серьезно забили голову религиозным дурманом и предрассудками прошлого?

— Я хочу задать тебе один вопрос,— сказал он значительным голосом.

Ася повернулась к Геннадию и внимательно на него посмотрела.

— Не надо задавать мне этого вопроса,— сказала она и снова стала глядеть вниз.

— Почему?— растерянно спросил Геннадий. Как она могла угадать, о чем он с ней собирается говорить?— Я, конечно, не вмешиваюсь,— сказал он,— твоё личное дело. Ты не думай, что я тебе речи говорить буду, я только хотел спросить... Ну, и объяснить. Понимаешь...

Геннадий остановился. Все было очень просто: необъяснимых явлений в природе нет, все можно понять и объяснить; мир материален, материя состоит из атомов, атомы из электронов, физика изучает законы их движения, и даже самые загадочные постепенно становятся понятными. Полный порядок! Если раньше люди еще могли верить в бога, то теперь, когда машины сами решают задачи, а по небу летают спутники и ракеты, где может быть бог? Какой? Зачем? Для него и места не осталось. Все было очень просто.

И все-таки здесь, в кафе, в ярком свете люстры, которая висит почти рядом с их головами, у столика, на котором стоят вазочки с горками разноцветных шариков мороженого и стаканы с весело лопающимися пузырьками газа в ярко-красной воде, почему-то было странно говорить с девушкой о таких серьезных и скучных вещах.

Слово «мировоззрение» Генка в последний раз употребил в девятом классе, когда писал сочинение «Миравоззрение новых людей по роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», за которое получил тройку. Это было не самым лучшим воспоминанием в его жизни. С тех пор как окончил школу, он вполне обходился без этого слова. В мире и без него все было ясно и просто.

И вдруг такая история! Сидишь в кафе с девушкой. Она тебе очень нравится. И чувствуешь, что обязан начать с ней разговор, где никак не обойтись без слов, которые казались созданными, чтобы скользить по ним глазами в скучных учебниках. А может, махнуть на это рукой? Ну, была в церкви, ну, не была — важность какая!

«Струсил,— подумал вдруг Геннадий.— Я трусил!»

Ну нет! Этого он себе позволить не мог. Нигде! Ни в чем! Никогда! Придется начать еще раз снова. Он собрался с духом.

— Хочешь еще мороженого, Рыжик?

— Я еще это не съела.

— Доедай. А потом я кофе закажу и пирожное, ладно?.. А теперь я тебя все-таки спрошу: ты что, веришь в бога?

— Это и есть тот вопрос, который ты хотел задать?— спросила Ася.

У нее в глазах запрыгали веселые огоньки.

— Именно!— решительно сказал Генка.— Только я не понимаю, почему ты смеешься?

Но он уже понял. Ну и дурака он сваял! Как это все было? Он сказал: «Мне нужно задать тебе один

вопрос». А она сказала: «Не надо задавать мне этого вопроса». Все ясно! Ася ждала от него совсем другого, боялась этого, потому и сказала так. Ему бы спросить: «Как ты ко мне относишься?» Ему бы сказать: «Я люблю тебя, Ася!» А он ляпнул: «Ты в бога веришь?»

Очень ему нужно знать, верит она или не верит! Если верит, что же, он перевоспитать ее не сумеет? Уж это-то, во всяком случае, не проблема. Вот теперь хохочет, и права. Привел в кафе и начал лекцию, как действительный член Общества по распространению...

— Нет,— говорит Ася очень весело,— я ни во что такое не верю. А ты думаешь, я не знаю, откуда ты это взял? Видел, как я сегодня из церкви выходила, вот и вообразил невесту что. А у меня там дела.

— Какие?— изумился Геннадий.

— А вот этого я тебе не скажу. Общественные.

— Ну и не нужно,— согласился Геннадий с облегчением. Значит, можно переходить к самому главному.

— Я хочу еще тебя спросить,— начал он, но почувствовал, что теперь, когда он упустил подходящий момент, не сможет выговорить того, что готовился сказать весь вечер.

— Может, махнем отсюда?— предложил он.

В кафе, где он сваял такого дурака, ему решительно разонравилось. Ася согласилась уйти.

— Куда поедем?— спросил Геннадий, наступая на педаль стартера.

— К реке,— сказала Ася,— на набережную.

Все-таки удивительная она девочка! Если бы Геннадия спросили, где он больше всего хочет сейчас оказаться, где ему легче всего будет сказать Асе то, что он хочет, он, конечно, выбрал бы набережную.

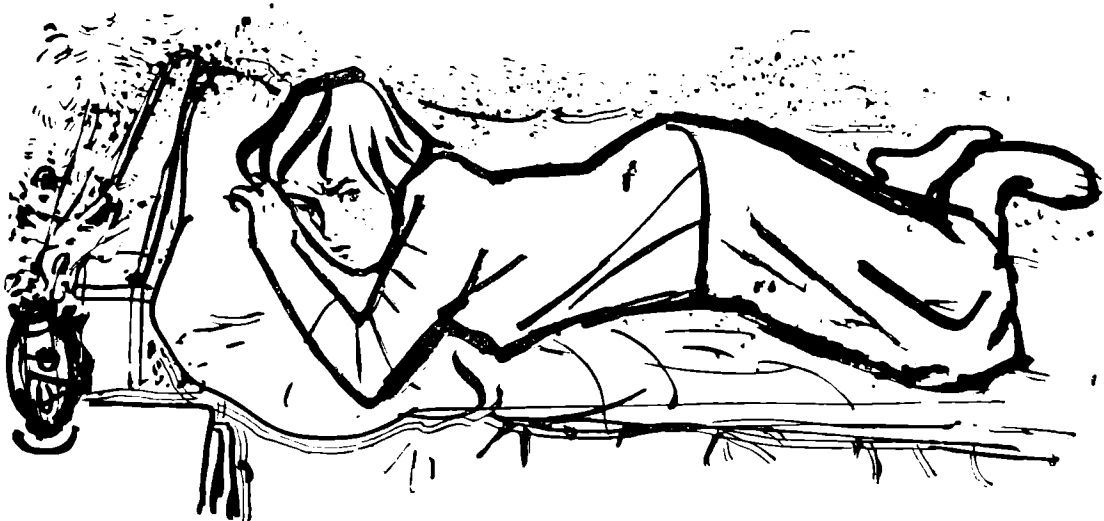
И вот она, набережная, самый тихий ее участок. На тротуаре, который тянется вдоль последнего квартала старых домов, доживающих свой век, редкие прохожие. Зато на дорожке, идущей вдоль каменного парапета, людей много. Но это не обычные пешеходы. Это влюбленные.

Они медленно идут вдоль реки, они останавливаются и смотрят вниз, облокотившись на холодный камень ограды, они спускаются по широким ступеням к самой воде. И вечерняя река старается для них изо всех сил. Она расстилает перед ними струящиеся лунные дорожки от фонарей — для каждой пары свою отдельную дорожку; она заставляет на другом берегу МОГЭС с высокими трубами и огнями казаться океанским пароходом; она подбегает крошечными волнами к проходящим буксиров к самым ногам влюбленных, когда они спускаются на пустующие каменные площадки причалов, покрытые зеленым мхом.

Особенно старательно делает река самое доброе свое дело. Порывом холодного ветра она велит девушкам забюкаться, от спутников требует, чтобы они накинули на плечи девушкам свои плащи и куртки и обняли эти плечи. Так на берегах всех весенних рек мира каждый влюбленный обнимает свою девушку, чувствуя, как в сердце возникает желание спрятать ее у себя под сильной рукой, согреть, защитить, не дать никому в обиду.

Вот так бы и Геннадию стоять сейчас с Асей! Но он может только смотреть на тех, кто обнимает своих девушек, и завидовать.

Здесь, на набережной, его гордость — кремовая «Вятка» — превратилась в ужасную обузу, в докучливую «третьего лишнего», вроде подруги, которая увязалась в такой вечер за вами и все время требует своей доли внимания.



«Ну нет, она так не оставит Павла. Она его разыщет. Ему нужно помочь» (стр. 26).



«...Мимо неё, как в странном сне, все время мелькают черные тени — поны, молодые и старые. Она никогда не видела столько попов сразу!» (стр. 29).

Ася идет вдоль парапета набережной, смотрит на воду, останавливается. А Геннадий уныло бредет по мостовой и катит мотороллер, вдруг ставший неудобным и тяжелым.

— Ты не можешь идти рядом со мной? — спросил он Асю.

Она сошла на мостовую.

Теперь они идут рядом, но между ними на толстых колесах катится кремовая «Вятка», очень довольная этой прогулкой втроем. Когда Геннадий засматривается на Асю, у «Вятки» рыскает руль, и она ревниво всем своим телом теснит Асю на тротуар. Геннадий пробует перейти на правую сторону и вести «Вятку» за руль одной левой рукой. Тогда можно будет Асю хоть под руку взять. Но проклятый мотороллер тут же начинает накатываться Асе на ноги или отворачивать на середину мостовой.

— Давай постоим немного, — предложил Геннадий.

— Ты устал? — лукаво спросила Ася.

— Что ты! Просто мне надоело толкать машину, а уезжать от реки не хочется.

— Мне тоже не хочется, — сказала Ася. — Здесь хорошо.

Геннадий обрадовался.

«Здесь действительно хорошо», — подумала Ася. Но насколько было бы лучше, если бы с ней шел не милый Генка, который так готовился к серьезному разговору, так радовался своему мотороллеру, а теперь так злится на него, если бы с ней шел не он, а Павел!

Ася видела, что Геннадий с его широкими плечами и сильными руками тренированного спортсмена, с его обычно смеющимися, а сегодня удивленными и даже испуганными серыми глазами куда красивее («Куда интереснее!» — сказала бы Марина), чем Павел. Но как можно сравнивать!..

И она с ужасом почувствовала, что хотя со вчерашнего вечера прошли уже целые сутки, целые сутки с тех пор, как она узнала правду о Павле и решила, что между ними все и навсегда кончено, она не перестает о нем думать. И с этим ничего не поделаешь. Почему? Этого не объяснишь! Может, потому, что с того дня, когда они встретились, и особенно с того, когда он в первый раз ее поцеловал, она почувствовала: вот она, ее взрослая, самостоятельная жизнь!

...Теперь, когда мотороллер поставлен около тротуара и не может больше ни дергать Геннадия за руку, ни наезжать Асе на ноги, теперь, когда они наконец, как все на набережной, стоят у парапета, Генка снова чувствует, что он счастлив. Сейчас он накинёт Асе на плечи свою куртку: ей холодно, а если и не холодно, все равно так полагается. Но он вдруг, неожиданно для самого себя, спрашивает несмелым голосом:

— Ты не очень рассердишься, Рыжик, если я тебя поцелую?

— Не нужно, — спокойно отвечает Ася. — Пожалуйста, не нужно.

— Почему? — спрашивает Геннадий с отчаянием.

И он слышит в ответ то, чего боялся:

— Ты очень хороший, мы с тобой друзья. А этого не нужно.

— Но я люблю тебя, — говорит Геннадий, понимая, что с той минуты, когда он сказал эти слова, все: и река, и небо, и Ася, и он сам — вся жизнь должна перемениться. — Почему ты молчишь?

Ася ничего не успевает ответить. Откуда-то на набережной в одиннадцать вечера появляется шумная компания мальчишек. Они останавливаются около мотороллера, чтобы подробно обсудить его досто-

инства и недостатки по сравнению с мотоциклами вообще и с чешской «Явой» в особенности.

— Ступайте отсюда! — кричит Геннадий. — Место нашли для технических дискуссий!

— А мы вам нисколько не мешаем. Машину вашу не трогаем. Целуйтесь, если вам это нравится! — дерзко говорит один из мальчишек, явно презирая человека, который имеет возможность носиться по городу на мотороллере, а вместо этого стоит как столб, держит за руку взъерошенную рыжую девчонку и смотрит ей в глаза, будто во всем мире нет ничего увлекательнее этого дурацкого занятия.

И именно потому, что мальчишка предложил Геннадия делать то, что ему больше всего хочется, Геннадий страшно рассердился.

— Вот я тебя сейчас! — грозно начал он. Но Асе шумная толпа мальчишек напомнила о том, что она увидела утром и чего не имела права забывать.

— Слушай, Генка, — сказала она, — ты должен мне помочь. Я очень на тебя надеюсь.

— Говори, — сказал Геннадий с надеждой, — я сделаю все, что ты скажешь.

— Мне нужно узнать, где живет один мальчик.

— Какой еще мальчик?! — крикнул Геннадий.

Вот, значит, как она понимает дружбу!..

— Совсем маленький, ему лет тринадцать.

— А-а, — сказал Геннадий, — это — другое дело. Ну, и зачем он тебе?

Ася рассказала про утреннюю встречу с мальчиком, который просил милостыню, умолчав только о причине, приведшей ее в церковь.

— Сделаю все, — пообещал Геннадий. — Через два дня, самое позднее — через три тебе будет все о нем известно.

— Ты очень хороший, — еще раз сказала Ася. — Спасибо тебе.

Теперь пути к объяснению были отрезаны. Геннадий почувствовал это с горечью и каким-то облегчением. И все-таки жить было очень интересно!

На Крымском мосту он купил Асе на все оставшиеся деньги нарциссов. Потом на полной скорости отвез ее домой, проводил до дверей, не спрашивая больше разрешения, поцеловал в холодную щеку, едва прикоснувшись губами, и сбежал по лестнице, чувствуя, что у него даже сердце щемит — так оно переполнено...

А Ася зашла на минутку к Марине. Марина и ее родители пили чай и досматривали по телевизору старый фильм «Неоконченная повесть». Асю тоже усадили пить чай и смотреть телевизор. Она видела на экране красивую женщину-врача, которая вылечивала тяжелобольных одним своим видом и необыкновенной чуткостью, а потом сама влюбилась в хорошего человека, мучилась от этого, но лечить стала только еще лучше.

Ася смотрела на экран, а сама думала о том, что теперь с ней будет, и когда передача закончилась и за столом стали обсуждать увиденное, у нее на глазах заметили слезы. Марина сказала:

— Мне тоже очень понравилось. Замечательная вещь! А какая внешность у этой актрисы! И к тому же еще талант. Надо же!.. Я бы, знаешь, на такую внешность даже без таланта согласилась.

Ася подтвердила, что и картина замечательная и внешность замечательная. А потом ушла домой, уткнулась в подушку, и все опять началось с того места, на котором она вчера не могла уснуть. Что же будет? Что будет, то будет! Ну нет, она так не оставит Павла. Она его разыщет. Ему нужно помочь. А если нельзя помочь, с ним нужно хотя бы еще один раз поговорить.

Ася приняла это решение и сразу уснула.

Спустя неделю

Неделю пролетела так, что Ася ее почти не заметила, только устала больше, чем всегда. Наверное, потому, что в эти дни к конвейеру на производственную операцию поставили новенькую. Новенькая должна была завести еще не до конца собранный механизм будущего будильника и положить его на ленту. Асе нравилось, что к ней в руки механизм приплывает уже ожившим, тикающим. Она брала его движением, которое стало привычным, выполняла свою операцию, почти не глядя и никогда не ошибаясь, и механизм уплывал дальше.

Но новенькая не могла попасть в ритм. Мимо Аси в нужный момент то тянулась пустая лента, то, когда к новенькой подходила инструкторша, чтобы помочь ей, под рукой сразу появлялись, насаждая друг на друга, несколько заведенных механизмов, и привычную операцию приходилось делать вдвое быстрее. Эти перебои неожиданно утомили Асю, и она всю неделю с нетерпением дожидалась перерывов — пятиминутных и обеденного. Один раз она даже накричала на свою соседку. Потом стало стыдно: в прошлом году сама была такой же растерянной и медлительной.

Подумать только! Меньше года прошло, а эта девочка из десятилетки глядит на Асю, как на опытную сборщицу, и даже пыгается называть ее на «вы»!

А может, Ася потому так устала, что каждый день было много неотложных дел? Цеховая самостоятельность выступала в обеденный перерыв в столовой. У культсектора Аси в блокноте с прошлой недели велся аккуратный перечень всего, что нужно было сделать, чтобы «обеспечить мероприятие». Перечень выглядел так:

1. Кубышкин Василий — мех. цех. Уговор.
2. Очки с кр. носом! Оч. важно.
3. Телефон (звонок — попр. Генку).
4. Объявление (Нина из чертежного).

Означала эта запись следующее. Баянист, выступавший с самостоятельностью сборочного, заболел, а в механическом цехе появился ученик Кубышкин Василий, о котором стало известно, что он играет на баяне по нотам, может и аккомпанировать и даже исполнять такие вещи, как вальс Хачатуряна к пьесе «Маскарад» или «Полонез» Огинского. Культсектор механического ревниво скрывал свою находку для собственного концерта, а товарищ Кубышкин, паренек с пухлыми, детскими губами, когда Ася стала его уговаривать, отчаянно смутился, начал говорить, что вообще ничего совсем не умеет. Два обеденных перерыва ушли на уговоры.

Исполнитель, игравший в скетче роль заведующего ателье, требовал, чтобы культсектор помог ему войти в образ, а для этого были необходимы очки и красный нос, вроде таких, какие в одной из сценок надевает Аркадий Райкин. Пришлось обеспечивать очки с носом. Телефон нужен был для того же скетча. А чтобы он звонил, когда это требуется по ходу действия, Генке было велено приехать в клуб и сделать к телефону приспособление. Афишу о концерте написала Нина, чертежница.

Словом, все образовалось, против всех пунктов перечня появились крестики, но для этого пришлось побегать.

А на следующий день после концерта в комитете комсомола сказали, что нужно немедленно составить список желающих посещать университет культуры. В четверг состоялась занятая кружка по

текущей политике. Мудрено было не устать в эту неделю!

А вернее всего, Ася устала потому, что все время — работала ли она в цехе, занималась ли общественными делами или домашними — думала о том, как разыщет Павла и что скажет ему при встрече. Она хорошо запомнила, чем кончился их разговор. Она спросила: «И ты в это веришь?» Павел оскорбился. Получается, что верит. Ох, нелегко ей будет с ним разговаривать!

Для Аси то, что ни она, ни ее родители не верят в бога, так же естественно, как то, что она дышит воздухом. Учила в школе про то, из чего состоит воздух и как устроены легкие, но дышит — и все тут, а объяснить, как, зачем и почему, не может. Вот так и в бога не верит, а словами объяснить ей это трудно.

Ася стала вспоминать, что узнала про церковь и про религию в школе. На ум пришли крестовые походы, которые расширили представления европейцев об Азии, и крещение Руси, которое сыграло положительную роль в распространении грамотности. Потом вспомнился король Генрих, ходивший в Каноссу извиняться перед римским папой, и еще один Генрих, который сказал, что Париж стоит бедни.

Нет, она помнила немало, но почему-то ей показалось, что в разговоре с Павлом ни крестовые походы, ни оба Генриха ей не пригодятся. Хорошо Вадиму: знает много и умеет как-то все связывать, одно с другим. Но ведь не поведет она Вадима с собой к Павлу. Шпаргалки тоже не возьмешь! Не экзамен. Надеяться нужно только на себя.

Ася сделала то, к чему ее приучил отец. Владимиру Михайловичу сорок пять. Жизнь сложилась так, что учиться после семилетки ему не пришлось, а знать хотелось многое. И какое бы новое дело он ни начинал: переводил ли цех на новую марку графита, решал ли, что сажать на садовом участке или как самим оклеить квартиру обоями, — шел в библиотеку, приносил с собой книжки, читал их, что-то выписывал себе в тетрадку. Он и от ребят требовал, чтобы они поступали так же.

— Никакой жизни не хватит до всего своим умом доходить, — говорил он. — Собственный этюдник хочешь придумать — придумывай. Только погляди раньше, какие в книге нарисованы.

И он обязательно рассказывал вычитанную когда-то, но на всю жизнь поразившую его воображение историю про человека, который, живя в глухой деревне, десятилетия подряд изобретал машину, чтобы ездить на ней, а когда добрался до города, оказалось, что изобрел давно уже изобретенный велосипед.

Ася не стала сама изобретать велосипед. Она пришла в библиотеку.

— Мне бы антирелигиозного чего-нибудь, — сказала она молоденькой библиотекарше и почему-то смутилась.

Библиотекарша просияла:

— Очень хорошо! А то слабо у нас очень читают эту литературу.

Она притащила Асе толстую книгу и радостно поставила в ведомости большую галочку.

Ася унесла с собой книгу и дома, таясь от домашних, начала ее читать. Книга начинала издавать: от раскаленных туманностей, из которых возникла солнечная система, и от стад питекантропов, от которых постепенно произошли люди. В некоторых фразах было всего два — три понятных слова, и то больше предлоги. К концу недели Ася добралась до превращения культа Озириса в культ Христа и до

отражения в христианской религии представлений древних египтян о загробной жизни.

— Может, отложить поездку к Павлу? Нет, она и так упустила целую неделю!

И еще одного важного дела она не сделала. Насколько раз по вечерам звонил Геннадий, осведомляясь, не выйдет ли она погулять, но не очень настаивал: видно, чувствовал себя виноватым. До сих пор он не выполнил своего обещания: не разыскал мальчишку, который побирался в церкви. И Ася тоже ничего не успела сделать для мальчика, хотя все время помнила, что обязательно должна ему помочь. Она один раз даже к церкви подходила, дожидалась его, но не дождалась, а заходить внутрь ей больше не хотелось.

...Павел давно дал ей адрес «до востребования», указав почтовое отделение на одной из станций пригородной железной дороги. Ася знала эту станцию. Там жила знакомая девочка, у которой она летом бывала в гостях. Никакой семинарии на этой станции не было, иначе бы она про нее слышала. Знала же она, что на этой станции есть физкультурный техникум.

После работы Ася, поколебавшись, подошла к справочному бюро.

— В Москве духовной семинарии нет, — ответила девушка в окошечке, изумленно поглядев на Асю.

— Я знаю, что она не в Москве, а где-то за городом, — сказала Ася.

— По области справок не даем.

— Но мне нужно. Мне очень нужно, — решилась выговорить Ася, чувствуя, как она неудержимо краснеет под любопытствующим и сожающим взглядом девушки из справочного бюро.

— Ну, уж если очень нужно... — смягчилась та и написала Асе адрес. — А вам все-таки зачем?

— Просто так, — сказала Ася. — Поступать туда собираюсь.

Обе девушки засмеялись. А потом та, за окошечком, похвалилась:

— Чего у нас только не спрашивают!..

...И вот она в городе, который ей называли в справочном бюро. Спрашивать у прохожих, где духовная семинария, не хочется. Она идет наугад — мимо деревянных домиков, мимо больших, почти как в Москве, каменных зданий, мимо книжного магазина и «Гастронома», мимо дома со сплошными фабричными окнами и вывеской «Институт». И вот площадь с городским сквером. Горком партии. Памятник Ленину. Вдоль площади тянется бульвар. За ним высокая, как бы крепостная стена. За стеной башни церковью с синими маковками в желтых звездах. Тяжелые позолоченные купола.

Видно, ей сюда.

Ася нерешительно входит через глубокие ворота и останавливается на внутреннем дворе. Ничего не скажешь: здесь красиво! Почти как в Кремле, где она недавно была. Много церквей, видно, очень старых, таких, что на них ищешь глазами табличку «Памятник архитектуры». От церкви к церкви ходят туристы: наши — в тренировочных брюках и непромокаемых куртках — и иностранцы — в немыслимо пестрых костюмах и коротких плащах с погончиками.

Мимо туристов и экскурсантов, не обращая на них внимания, шествуют попы в развевающихся рясах. А может, это не попы, а те самые монахи, о которых говорил Павел?

Какие-то женщины подходят к этим людям в черных рясах, и те небрежно их благословляют.

Недалеко от входных ворот — затейливо раскрашенный дом с вывеской на английском языке:

«Office» («Канцелярия», — вспоминает Ася, у которой по английскому была четверка). Перед этим домом стоит иностранная машина. Группа курчавых и темнотических людей, вышедших из нее, фотографируется на фоне расписной деревянной беседки с крестом на крыше и фонтаном посредине.

А на ступенях, которые ведут к боковому входу одной из церквей, длинная очередь. «Иконная лавка», — читает Ася надпись над дверями. Люди, которые выходят из этой лавки, разглядывают иконы — маленькие, пестрые, как игральные карты, — а потом прячут их в карманы и сумки, вздыхая: «Дорого!»

На дорожках дети играют в песок, катаются на трехколесных велосипедах. На скамейках сидят старики с узелками, чего-то дожидаясь, завтракают. Одна из них, в шляпке с черной вуалью и в облегающей лисьей горжетке, наливает себе кофе из термоса. У всех в руках бидончики, кувшины, бутылки.

— Чего сидите, женщины? Надкладную открыли! — говорит, подходя к ним, дворничиха.

И женщины, взяв свои кувшины и бидончики, торпливо выстраиваются в очередь к синей часовне. При этом они негромко препираются.

— Там что? — спрашивает Ася у дворничихи.

— А ты не знаешь? Святая вода, — объясняет дворничиха. — Посуда есть с собой? Постой в очереди и набери. Домой сvezешь, мать спасибо скажет.

И не поймешь, серьезно она говорит или шутит. Экскурсанты спешат куда-то в глубину внутреннего двора. Может, ей тоже туда?

Нет, ей не туда. Там висит вывеска «Музей». В музей она не собирается. А рядом с музеем белая церковь. Сквозь приоткрытую дверь доносится заунывное пение хора.

Некто, очень молодой, в длинной, до пят черной одежде, с льняными волосами, падающими на плечи, и смиренно опущенными глазами, похожий на отроков, которых Ася видела в Большом театре, когда была на «Борисе Годунове», медленно идет к церкви.

— Гляди-ка, — говорит турист. — Кто это? Девочка?

— Да нет, вроде парень.

— Может, из семинаристов он? — догадывается дошлый турист. — Нет, те вроде пообыкновеннее будут. И спросить не у кого!

То, что интересует Асю, ей уж во всяком случае не у кого спрашивать. Ася идет дальше. В углу двора работает ленточный транспортер. Он подает кирпич на восстанавливаемую угловую башню. У транспортера — подсобницы в надетых для работы стареньких кофтах и лыжных брюках, которые видны из-под юбок. На лесах — парни в спецках. У них, что ли, спросить, где тут семинария? Совестно, люди рабочие. А может, тоже какие-нибудь монахи-каменщики?

Ася свернула направо. И вот перед ней, за железной решеткой ограды и аккуратным газоном, длинное здание. Большая часть его облицована пестрыми плитками, и от этого оно все какое-то пряничное. Другая, меньшая, сложена из красного кирпича. Напрягая глаза, Ася читает вывеску у дверей. Золотыми буквами написано: «Духовная семинария». Тут, значит, учится Павел.

Как все было бы просто, если бы это был обычный институт! Она вошла бы сейчас в эти двери, спросила: «Где у вас тут канцелярия?», — сказала бы в канцелярии: «Мне нужно найти студента Павла Миланова», — и все в порядке.

А тут хотя какие-то люди, и не только в рясах, а обыкновенные, входят и выходят сквозь эти двери,

она понимает, что ни за что не перешагнет невидимую линию, которую Павел прочертил сам, когда сказал первый раз: «у нас» и «у вас». «Граница», — думает она.

А вот и собака и часовой! В палисаднике стоит аккуратная собачья будка, и перед ней на длинной цепи взад и вперед бегают выхоленная черная овчарка. А чуть поближе к дому тоже взад и вперед ходит, бесшумно ступая, не то поп, не то монах в очках на деловитом лице, с длинными черными волосами, в длинной черной рясе. У него в руках раскрытая книга, и, похаживая, он поглядывает то в нее, то по сторонам.

«Дежурный!» — догадывается Ася. Она садится на скамейку напротив ворот семинарии. Ждет. За оградой все прохаживается и прохаживается бесшумная черная тень на красном фоне стены да по-визгивает овчарка, жалуясь на свою цепь.

Ася долго сидит на скамейке. И мимо нее, как в страшном сне, все время мелькают черные тени — попы, молодые и старые. Она никогда не видела столько попов сразу! Молодых больше. Некоторые, видно, возвращаются из города, несут чехомоданчики, свертки, портфели. И другие люди прохаживаются тут — не в рясах, но с аккуратными бородами, в очках, профессорского вида. Рассуждают о вчерашнем заседании кафедры, о расписании занятий... И семинаристы тоже проходят. Они в черных кителях и черных брюках. Так бывал обычно одет и Павел. Но она не знала, что это форма. Когда идут мимо дежурного попа, семинаристы замедляют шаги и приглушают голоса; когда заворачивают за угол и видят Асю на скамейке, все, как по команде, поворачивают к ней головы, разглядывают...

Как все было бы просто, будь это какое-нибудь обычное место — фабрика, клуб, институт! Подошла бы к ним и сказала: «Здравствуйте, мальчики! Где тут Милованова найти Павла?»

Нет, не подойдешь, не скажешь, хотя с виду они совсем обыкновенные и говорят об обыкновенном. Она поймала обрывок фразы о шахматном турнире.

Сколько ей тут сидеть? Может, Павел возсе и не выйдет. Ася еще раз обошла весь внутренний двор. Народу около иконной лавки и около часовни со святой водой стало больше. И еще больше стало во дворе старух в черных платках и стариков с палками и в каких-то картузах древнего образца.

Но если бы здесь были только старые люди! Нет, Ася увидела, как девочка в коричневом школьном платье, в белом фартуке, с капроновыми бантами в волосах встала на колени перед церковной дверью и на коленях поползла в церковь. И парня она увидела, вроде бы такого, как их заводские ребята. Она даже думала, что он турист, а не богомолец. Но он вышел из часовни с бутылочкой воды, стал лить ее себе на руки, прикасаться мокрой рукой к лицу, что-то бормотать, и на лице у него появилась блаженная улыбка слабоумия...

И группу приезжих увидела, чем-то похожую и чем-то непохожую на обычных экскурсантов. Ее вел по двору молодой поп с реденькой, просвечивающей бородой, в золотых очках. Он говорил, что сейчас отведет приехавших издалека братьев и сестер во Христе к чудотворным мощам основателя лавры.

...Ася еще раз прошла по всему двору — мимо иконной лавки, мимо пестрой беседки, мимо синей часовни, мимо штабеля кирпичей и ленточного транспортера и опять повернула к пряничному дому семинарии, который притягивал ее.

И тут она увидела Павла.

Павел шел в группе семинаристов и так же, как

они, замедлил шаги, проходя мимо дежурного попа, а потом снова пошел побыстрее.

— Павел! — крикнула Ася.

Он резко повернул голову и переменился в лице. Обрадовался? Испугался? Этого она не знала. И все, что шел вместе с ним, оглянулись на Асю.

— Подождите меня, — сказал Павел, не останавливаясь около нее, не называя ее по имени и обращаясь на «вы». — Около музея подождите.

Он, видно, заметил, как обидело Асю, что он говорит вот так, на ходу, и, словно бы решившись, остановился на миг и сказал:

— Обязательно подожди меня, Ася.

...Ася ждала. Ждала долго. Так долго, что даже подумала: «Не нужно было мне сюда приезжать». Она собралась уходить, но ее вдруг окликнули. Ася оглянулась. Только это был не Павел. Это был его бледный, толстощекий знакомый, с которым она встретила однажды Павла на Арбате. Добровольский, кажется.

Добровольский подошел к Асе. Он двигался совсем не так, как в Москве, а, заложив руки за спину, медленно, плавно, размеренно, не глядя ни по сторонам, ни на Асю. И одет он был иначе, чем в Москве: такая же, как у Павла, черная куртка, застегнутая до самого горла, и черные брюки. Куда только девались желтые перчатки, желтые туфли, желтый портфель! Желтыми остались только волосы, но и они были причесаны по-другому — на две стороны, с пробором посредине.

Добровольский остановился, не доходя двух шагов до Аси, и сказал негромко:

— Неосторожно поступаю. Не спросясь, на свидание приехать... И смешно и грешно.

— Это Павел вас просил передать или вы от себя говорите? — спросила Ася.

— Не могу одобрить, — продолжал Добровольский, не давая себя перебить.

— А вы здесь кто? — спросила Ася. — И почему вмешиваетесь?

— Благодарить меня следовало бы, не гневаться, — сказал Добровольский, то сильно налегая на «о», то забываясь и выговаривая слова по-обычному. — Вмешиваюсь по праву дружбы, единственно. Павлу Милованову я друг. — Он помолчал и добавил: — Так-то, искренняя моя.

— Почему это я вдруг ваша и какая у меня к вам может быть искренность?

— Обращение есть такое: старинное, почтенное, молитвенное, — смиренно сказал Добровольский.

— Молитвенное! Еще чего не хватало! — снова вспыхнула Ася и дернула плечом.

— А вы привыкайте, деточка, — снисходительно сказал Добровольский, — раз уж к Павлу интерес имеете. Как я понимаю, вы сюда не в музей приехали, а, как говорится, с серьезными намерениями.

— Почему вы меня допрашиваете?

— Кто я такой, чтобы допрашивать! Советую, искренняя моя, советую. И без вашего приезда у Павла неприятности. По причине безмерного мудрствования и ненужных вопросов. Словом, вот что... Ссориться не будем. Сейчас вы отсюда ступайте и ждите его часика через два в здешнем славном граде. Знаете где? У входа на курсы киномехаников. Есть тут такое заведение. Придет. Помолится и придет. Только особенно на виду с ним не рассказывайте и не задерживайте его долго, — строго, словно бы имея на это право, сказал Добровольский. Потом он пошел от нее, медленно переступая с одной плиты панели на другую и все так же глядя себе под ноги, но вдруг остановился. — Пожелаю счастья, искренняя моя, — сказал он, и его светлые

глазки скользнули по Асе.— Простить воспитанника Милованова нельзя, но понять можно. Как друг говорю. Как будущий друг дома.

И Ася вдруг поняла, как он на нее смотрит: так же, как смотрел на часы и на телевизоры на Арбате.

— Я не хочу с вами разговаривать! — резко сказала она.— Идите.

— Следовало бы добавить «с миром», — усмехнулся Добровольский. Но все-таки ушел.

Ну и друг у Павла! Куда она только попала! Как хорошо было выйти из этих стен и очутиться на обыкновенной улице обыкновенного маленького города! Передвижной театр музыкальной комедии оповещал о предстоящих гастролях. Громыхали телеги по мостовой. Визжали поросята, которых несли с рынка. Радио передавало репортаж о первом футбольном матче в Тбилиси. Горком комсомола объявлением, написанным от руки, извещал, что производится запись молодежи, желающей ехать на новостройки Сибири. Районный Дом культуры большим фанерным щитом напоминал, что вечером состоится лекция «Сон и сновидения», после которой будут танцы под духовой оркестр.

Ася прочитала все объявления и афиши подряд, купила в булочной, из которой вкусно пахло свежим хлебом, два пирожка и запила их стаканом воды с сиропом.

Потом она отправилась разыскивать курсы киномехаников. Около входа в здание курсов стояли принаряженные, пахнущие одеколоном парни в начищенных сапогах: будущие киномеханики собирались в город, остановились, чтобы послушать репортаж о футбольном матче. Киномеханики поглядывали на Асю, заговаривали с ней. Один даже пожелал узнать, кого именно она ждет, и взялся его вызвать.

Ася отшучивалась, а сама думала, насколько все было бы проще, если бы Павел учился на каких-нибудь курсах вроде этих.

На стадионе в Тбилиси хозяева поля уже забили гостям два гола, а Павел все не шел. Когда он наконец появился и Ася пошла ему навстречу, один из будущих киномехаников, который так и не отходил от нее, сказал:

— Дождалась все-таки.

А другой, поглядев на Павла, присвистнул:

— Попова невеста, оказывается. Ну, что ж, дождней оно и прелестней.

Ася не оглянулась и ничего не ответила. Оглядываться было не к чему, и отвечать было нечего.

— Приехала, значит, — сказал Павел.

Нельзя было понять, звучит его голос радостно или тревожно.

— Как видишь! — с вызовом сказала Ася.— Приехала. И уже долго жду. И уже выслушала от твоего дружка, что приезжать было не нужно, а задерживать тебя нельзя. А ты мне что скажешь?

— Какой он мне дружок!.. Хорошо, что приехала. Я сам не свой. Места себе не нахожу.

— Что же, мы так и будем тут разговаривать? Пойдем куда-нибудь отсюда.

— Пойдем, — согласился Павел.— Только куда?

— А уж этого я не знаю. Тебе виднее.

Они пошли по шоссе и скоро оказались на привокзальной площади. Около автобусной станции нетерпеливая толпа усаживалась в голубые и красные автобусы, перекикивалась с водителями, лужала семечки, покупала мороженое, пела. И только Павел был напряжен и молчалив.

На площадь стремительно выкатил и остановился огромный серебряный автобус с красными полосами вдоль бортов, с занавесками на окнах, с высоки-

ми спинками мягких кресел, которые были видны сквозь толстые стекла.

— Дальний, — догадалась Ася.— Красивый какой! Вот бы на таком поехать! Тебе бы хотелось?

— С тобой? Очень, — сказал Павел. И вдруг предложил: — Давай поедем! Прямо сейчас. Недалеко. До следующего города.

— Ты это серьезно?

Но Павел, ничего не отвечая, убежал к кассе и вернулся с билетами.

— Ох, Павлик, какой ты молодец! — радостно сказала Ася.

— Автобус отправляется! — крикнул водитель.

Ну могла ли она подумать, что после иконной лавки, после очереди за святой водой, после завитых отроков, после девочки, упавшей на колени, после парня с блаженным лицом слабоумного она вдруг очутится в мягком кресле дальнего автобуса, который будет мчаться по шоссе в неизвестный ей и, наверное, прекрасный город!

— Как мне автобус нравится! — сказала она.— Смотри, сетки какие удобные. Жаль, положить нечего. А кресла! В них, наверное, спать можно. И радио работает. А что это за ручка?

— А вы нажмите. Смелее! — сказал помощник, который сидел на низенькой скамеечке рядом с водителем.

Ася нажала на ручку, и спинка кресла откинулась назад. Теперь можно было сидеть полулежа.

— Как интересно! — восхитилась Ася.— Жаль, что выходить скоро. Или мы еще немножечко проедем?

— Мы еще проедем, — ответил Павел.— А когда-нибудь можем с тобой и подальше поехать.

Как только город, где помещалась семинария, остался позади, с Павла спала напряженность, мешавшая ему говорить с Асей.

Он сказал:

— Я нехорошо ушел тогда. Я об этом всю неделю потом думал. И знаешь, что я решил?..

— Погляди в окно, — перебила его Ася, — лес какой!.. Уже совсем зеленый. Смотри, смотри!

Шоссе то плавно опускалось в ложбину, то плавно поднималось на холм, то тянулось перед глазами прямой узкой лентой, то мягким полукружием огибало рощи, прозрачные, но уже зазеленевшие...

И каждый километр пути, каждая новая перемена дороги, каждая новая картина в окне приводила Асю в восторг. Не может человек непрерывно, много дней кряду думать только об одном и том же — тяжелом и неприятном. Вот так и она в автобусе забыла о том, что ее мучило всю неделю. Она повернулась к Павлу: хотелось увидеть, как ему нравится дорога. Напряженной неловкости в его лице не было, но радости не было тоже. Он не в окно глядел, он глядел прямо перед собой, и губы у него были сжаты: думал, готовился к разговору. И она сразу все вспомнила. Да и как она могла забыть то, из-за чего сюда приехала!

Автобус остановился на городской площади. Вместе с ними вышла компания студентов: ребята с тощими рюкзаками, девушки с фотоаппаратами, все в спортивных костюмах и тяжелых походных ботинках. Последние километры пути они весело спорили о дальнейшем маршруте, стучаясь головами над помятой картой, а как только автобус остановился, стремительно зашагали по шоссе, затянув песню: «В первые минуты бог создал институты, и Адам студентом первым был!».

Ася поглядела им вслед, и так же, как у входа в школу киномехаников, ей захотелось, чтобы Павел был одним из этих парней в распахнутой куртке и яркой ковбойке, с мешком за плечами, — ему

бы все это очень пошло,— с картой в руках и что-бы бог существовал для него только в шуточной песне. «Павел — студент,— сказала бы она дома,— и в воскресенье я с ним и его товарищами отпразднуюсь в поход».

— Куда мы тут? — спросила Ася. Почему, в самом деле, она должна решать все за него? В Москве она всегда говорила, куда идти, что смотреть. В Москве она была главной, а сюда ее привез Павел. Она даже не ожидала от него такой решительности. Оказывается, он может быть и таким. Очень хорошо. Пусть теперь сам говорит, куда идти, что делать.

— Все равно куда,— сказал Павел.— Главное, что здесь мы одни. Можем спокойно поговорить. Здесь нам не помешают.

— А чего ты боишься? — спросила она.— Не здесь, а там, у себя.

— Я ничего не боюсь,— ответил он неуверенно.— Но есть люди, с которыми мне бы не хотелось встречаться, когда мы с тобой.

— Я и говорю — боишься. Ну, не обижайся, не буду больше. Давай походим, поговорим. Город этот посмотрим.

— Обязательно посмотрим,— сказал Павел.— Вот погляжу только, когда обратный автобус, и можем пойти, куда хочешь.

Вернулся он от кассы встревоженный. Обратный автобус должен был прийти только к вечеру.

— Опоздаю я! — испуганно сказал он.— Не рассчитал. Раньше девяти никак к себе не попаду. Как же это?.. — Он поглядел на Асю. У нее на лице, когда Павел заговорил испуганным голосом, вспыхнул румянец. И Павел ответил, подбадривая сам себя: — Ну и опоздаю, ну и подумаешь!

— Я же говорю, что ты боишься,— сказала она.— Всего боишься. В кино со мной пойти боишься: вдруг увидят! По городу своему пройти боишься. Теперь опоздать боишься. Может, лучше мне остаться, одной тут погулять, а тебе уехать на какой-нибудь попутной машине, а?

— Ну что ты говоришь! — громко сказал Павел, взял ее под руку и повел прочь от автостанции, но все-таки еще раз оглянулся на расписание.

Они шли по улицам незнакомого города, молчали. Потом Павел спросил:

— Ну, как ты жила эту неделю?

— Обыкновенно. А ты?

— И я обыкновенно. В кино ходила?

— Нет, в кино не ходила. Занята была,— ответила Ася.

Как странно, что они говорят так, о пустяках каких-то, будто ему не о чем больше спросить, будто ей нечего больше сказать!

— А я была в церкви,— объявила Ася.

Павел посмотрел на нее недоверчиво.

— Честное слово, была.

Но Павел совсем этому не обрадовался. Спросил тревожно:

— Ты туда зачем пошла?

— Как ты не понимаешь, Павлик? Мне же интересно, кем ты собираешься стать, что собираешься делать. А я никогда раньше не была в церкви. Мне захотелось увидеть, что там делают. Разобраться захотелось,— сказала она любимое словечко Вадима.

— Ну и как, разобралась? — угрюмо спросил Павел.

Они шли по маленькому городу, где их никто не знал, они шагали по по просыхающему тротуару, то по влажной весенней земле, чмокающей под ногами. И Ася своим звонким голосом рассказывала Павлу

про то, что увидела в церкви. Павел слушал, морщился, хмурился, а потом спросил:

— Ты нарочно так рассказываешь?

— Как?

— Да вот так, чтобы все выглядело нелепо, да? Ну, скажи, ты про эту девушку, которая в красном свитере на клиросе поет, придумала?

— Ничего я не придумала! — возмутилась Ася.— Я все, как было, рассказываю. Я, знаешь, сама удивилась. Все там, кто поет, такие пожилые, мрачные, а она здоровая, румяная. У нас на физкультурном параде точь-в-точь такая была правофланговая. Нет, я все тебе рассказала как есть. А теперь, если хочешь, объясни мне то, чего я не поняла.

— Это я могу,— сказал Павел.— Конечно, если тебе интересно.

— А как же! — сказала Ася. И снова повторила: — Должна же я разобраться.

Неожиданно они вышли на берег озера. Вода еще не спала. Озеро казалось огромным и многоводным. Рыбачьи лодки, вытасненные на землю, лежали около домов, выделяясь на пробивающейся траве черными днищами и ярко-красными бортами.

— Хорошо как! — ахнула Ася.— Я посижу на бревнышке, погляжу на озеро. Ты объясняй, а я буду слушать.

И Павел стал объяснять, кто из людей, которых видела Ася, был священником, кто — дьяконом, а кто — пономарем. И про то, как называется наклонный столик, на котором лежит икона, и как называются резные двери, в которые уходил священник, и как называется его одежда. Он спросил Асю, утром она была в церкви или вечером, и стал объяснять разницу между утренней службой — литургией — и вечерней, когда читают и поют акафисты. Он произносил эти и другие, странно звучащие слова — «антиминс», «аналой», «епитрахиль», — но от них то, что видела Ася в церкви, не становилось ни более торжественным, ни более таинственным. Как ни назвать столик, на котором лежит икона, Ася все равно не забудет мутного от поцелуев, обильно увлажненного многими губами стекла! И какая разница, при чем она присутствовала, если при этом люди встают на колени и стыдное выражение покорства и есть то главное, что она увидела в церкви?

Но пока она спрашивает Павла о другом:

— А почему в церкви поют и говорят непонятно?

Покуда Павел объяснял, что и как называется в церкви, он говорил спокойно и затверженно. Но Асин вопрос, видно, что-то зацепил в нем. Он ответил совсем иначе:

— Я тоже спрашивал об этом. Еще в самом начале. Наставника одного нашего. Мне казалось, что он доступнее, чем другие. Даже любит, чтобы ему задавали вопросы. Я его и спросил: в чем смысл, что богослужение совершается на старославянском языке, которого теперь никто уже не знает? Как он мне отвечал, это долго рассказывать. Не убедил он меня. А Добровольский сказал: «Нашел, с кем сомнения уяснить, Дон-Кихот Иванович. Батя Федор только играет в демократа, а сам первый во всей семинарии догматик в теории и Науходоносор на практике». Так у нас фискалов называют. Ну, ябедников, словом.

— А они у вас есть? — спросила Ася.

— Хватает,— отозвался Павел невесело.— А про мой вопрос Добровольский сказал так: «Подумаешь, важность, что язык в молитвах непонятный! В оперу люди ходят? Ходят. А спроси-ка, много они

там слов понимают, особенно когда хор поет? Это еще лучше, что непонятней. Вот я у одного старшего писателя прочитал: как женщины в церкви услышат слово «дондеже», так и заливаются слезами, уж очень звучит торжественно, а значит всего-навсего «покуда».

— И он верующий? — изумилась Ася.

— Добровольский-то? Нет. Какой он верующий! Обыкновенный карьерист. Актером собирался стать, даже поступил в театральное училище, до третьего курса дошел. У него есть способности, только средние, а нетерпение большое. Увидел, что дело это долгое, на быструю славу и на быстрые деньги рассчитывать не приходится, вот и перешел в семинарию. У него планы далекие! Нужно будет, он и в монахи пострижется. Ты думаешь, он почему меня от вопросов остерегает? Обо мне заботится? Нет, он о себе заботится: Это он меня в семинарию идти уговорил. Ну, и то, что я сюда пришел, за ним числится как заслуга. Вот он и хочет, чтобы я его не подвел. А ты заметила, как он говорит? Память хорошая, старые книжки почитал, слова вызубрил, каких теперь из молодежи никто и не знает. Нужно ему, например, проповедь похвалить, он не просто скажет: «Хорошо вчера такой-то проповедь сказал», — а воскликнет: «Сладость! Трогательность! Умилительность! Сила зиждительная! Душа в грехах сгрубело-заскорузлая, и то восчувствует!»

Как странно! Ася думала, как она будет спорить с Павлом, а он сам говорит так, будто все понимает, как надо. Но почему он тогда сам в семинарии? Может, он такой же, как Добровольский? Карьерист? Нет, не похоже.

— Не понимаю я, — сказала Ася. — Про одного ты сказал, что он ябеда, про другого, что он карьерист. А ты зачем с ними?

— Я не с ними. — Павел поднял голову. — Я сам по себе. А разве вокруг тебя плохих нет? Пусть и вокруг меня есть плохие, и я это вижу, но я верю! Я в главное верю. Слышишь, верю! И этого ты не трогай. Не трогай этого! — крикнул он.

— А я ничего не трогаю, — сказала Ася. — Простый раз я тебя спросила: ты веришь в бога? Ты не ответил, убежал. Сегодня отвечаешь: верю. Хорошо, что отвечаешь правду. Но почему ты кричишь?

— Разве я кричал? — тревожно спросил Павел.

— Конечно, кричал, — ответила Ася. — Не пойму только, на кого. Ну, хорошо, возвращайся в семинарию, становись кем хочешь: хоть попом, хоть монахом, хоть не знаю кем... Одно мне только скажи: зачем тебе нужно, чтобы люди, такие же, как ты, оставали перед тобой на колени и стучались лбами об пол?

— Разве они передо мной будут вставать на колени? — снисходительно сказал Павел.

— Понимаю, не перед тобой. Перед богом. Но ты мне скажи: ты можешь закрыть глаза и представить: какой он, где и зачем?

— Бог есть дух вечный, всеблагий, всеведущий, всеправедный, всемогущий, вездесущий, неизменяемый, всеблаженный, вседовольный!.. — стремительно ответил Павел.

— Очень хорошо! — сказала Ася. — Неизменяемый, еще и довольный. Чему тебя только в школе учили? Удивляюсь. Да ты послушал бы, как ты это говоришь! Пока что-нибудь обычное рассказываешь, голос у тебя человеческий, а как доходишь до церкви и до бога, слова говоришь, не сбиваешься, все быстро так и громко, а почему-то, знаешь, как будто это на пластинку записано, честное слово. А можешь ты мне объяснить вот так, просто — я же понять тебя хочу, — не про бога, про него, по-моему,

ты сам ничего не понимаешь — про себя: как это с тобой получилось? Почему ты в семинарии? Конечно, если не хочешь, можешь не говорить. Нам к автобусу еще не пора?

Павел поглядел на часы.

— Нет, у нас еще есть время.

— Все равно, пойдем отсюда. Холодно стало, — сказала Ася, — и есть что-то захотелось.

— Как это я раньше не подумал? — огорчился Павел. — Ты ведь с самого утра из дому.

— А чего особенного! Не хотела — не говорила, захотела — сказала. Там столовая есть; на площади, я видела. Только я не хочу, чтобы ты еще деньги тратил. Ты и так много заплатил за билеты.

— О чем ты говоришь! — возмутился Павел. — Есть у меня деньги. Я вчера стипендию получил.

Ася рассмеялась.

— Ты чему? — удивился Павел. Он не поспевал за переменами ее настроения.

Просто так. Подумала, как рассердилось бы твое начальство, если бы узнало, на что ты тратишь свою стипендию. Повез меня, безбожницу, — ты не смей забывать, что я безбожница! — на дальнем автобусе в другой город и будешь меня сейчас в столовой кормить обедом. Будешь или не будешь? Учти, у меня всего пять рублей. Но их мы тоже можем потратить: кутить так кутить!

— Какая ты всегда веселая! — сказал Павел.

— А почему мне не быть веселой? — ответила Ася. — Жизнь интересна!

— Да? — спросил Павел. — Ты так думаешь?

...Мимо них, стуча мотором, проплыла большая лодка, в которой сидели нарядные парни и девушки. С берега крикнули: «Эй, куда бежите?» С лодки ответили: «Свадьба в клубе!»

— А ты, по-моему, устал, — сказала Ася. — Побледнел даже.

— Нет, не устал. Это я моторку услышал. Вспомнилось мне... Когда-нибудь расскажу.

— Пойдем, — сказала Ася. — Нам еще до города порядочно.

...В столовой Асе все понравилось: и рассольник, и биточки с гречневой кашей, и компот, припахивающий пылью. А Павел ел плохо, задумываясь, а потом, отставив тарелку в сторону, сказал:

— Значит, ты хочешь, чтобы я тебе объяснил, почему я в семинарии?

Ася кивнула головой.

— Хорошо, — сказал Павел, — я объясню. Слушай. Но Ася, спохватившись, остановила его.

— Только вот что, Павел, — сказала она. — Я хочу, чтобы все было честно. Ты что решил — раз я сама тебя разыскала, — я согласилась, помирилась с тем, что ты собираешься стать попом? Ты так думаешь? Нет, я с этим не согласна. Мы не сможем с тобой... — Ася помолчала, подбирая слово. — ...быть вместе, если все так останется. Это я говорю потому, что, может, ты теперь, когда я это сказала, не захочешь мне объяснять, почему ты в семинарии. Тогда давай лучше ни о чем таком не говорить и просто вернемся.

— Нет, — сказал Павел. — Все равно. То есть, конечно, не все равно, но я тебе расскажу. Слушай...

Как это началось

Утром над маленьким приречным городом прозвучали гудки. Гудели белые пассажирские пароходы, стоявшие у речного вокзала; гудели желто-голубые буксирсы, проходившие мимо города с тяжелыми возами барж; пронзительным воем за-

ходила сирена на понтонном мосту, а на брандвахте и землечерпалке тревожно били в колокола. И все эти звуки сливались в один протяжный голос, которым река кричала о беде.

— Что случилось? — испуганно спрашивали пассажиры с пароходов, спешившие на базар за яблоками, помидорами, огурцами.

— Хоронят фельдшера Милованова, — отвечали местные жители.

Милованов не был речником. Но он работал в медицинском пункте пристани и погиб на реке. Потому и гудели пароходы. Потому оркестр Дома водников всю дорогу от больницы до кладбища играл похоронные марши и за гробом шли капитаны, шкиперы, рулевые, грузчики, диспетчеры, радисты...

Только единственный сын Милованова, Павел, за гробом не шел. Он лежал дома в постели и метался в жару. Ему виделось все одно и то же: летний день, который начинался радостью, а кончился горем.

У отца был отпуск. Он взял Павла в лодке с собой на левый берег, чтобы похвалиться сыном, окончившим школу, перед родными, жившими в заречном поселке.

На середине реки их обогнала моторка с ребятами. Плыли, верно, на гулянье в Дубки. Лодка глубоко сидела в воде. Мальчишки, не слушаясь молоденькую учительницу, перевешивались через борта, плескались в девчонок водой. Те откидывались от брызг, закрывались руками, визжали.

Милованов-старший встревожился.

— Не позволяй ребятам озорничать! — крикнул он незнакомому мотористу. — И держи к берегу. Лодка перегружена.

Ребята вроде бы уgomонились. Но когда между моторкой и плоскодонкой Миловановых образовалось порядочное расстояние, Павел — он сидел на веслах спиной к обогнавшей их моторке — услышал тяжелый всплеск. Отец страшно побледнел. Павел оглянулся в тот самый момент, когда моторка, перевернувшись, выбросила ребят в воду.

Павел от неожиданности бросил весла.

— Гроби! — крикнул ему отец. А сам сел на дно лодки и стал стягивать сапоги. — А, черт, тесные! Не смей никуда из лодки! — сказал он. Ему всегда казалось, что сын слабенький. — И смотри, чтобы тебя не перевернули! Ты в лодке понадобишься. — Он бросился в воду, чтобы помочь беленькой девочке, которая никак не могла уцепиться за скользкое дно перевернувшейся моторки.

— Тонем! — кричали в воде. — Помогите! — кричали.

А может, это Павел закричал? Он увидел, как отец, подтолкнув к девочке спасательный круг, сам то уходит под воду, то появляется снова, борясь с намокшей одеждой.

Павел протянул отцу весло, но тот прохрипел:

— Мальчишка там, под лодку его затянуло! — И нырнул под моторку.

Павел цепился в борта плоскодонки побелевшими руками. Около моторки появилась голова мальчика, которого отец вытаскивал из воды. Но тут, гоня перед собой пенный бурун, подплыл спасательный катер. Он бешено закрутился между тонушими. С катера посыпались круги. Бронзовые парни в плаках запрыгали в воду. А над рекой снова зазвенело истошное:

— Помогите! Что вы делаете! Помогите!

Это кричал Павел. Он увидел, как винт катера прощел там, где только что из воды на мгновение показалась голова отца. Вода окрасилась кровью.

Ребят, и учительницу, и моториста — всех спасли.

А фельдшера Милованова вытащили на берег с тяжелым ранением. Он умер в больнице. И с того самого дня, как Павел увидел медленно и грузно переворачивающуюся моторку, и отца под винтом катера, и дымное пятно крови в воде, он заболел.

Ему стало казаться, что в городе на него косятся, презируют его. И ему каждую ночь снилось одно и то же: он не пускает отца прыгнуть с лодки, а бросается в воду сам. Во сне все кончалось хорошо, но он просыпался, чтобы вспомнить: отец погиб, а он остался жив. Знакомые успокаивали его. Они рассудительно говорили, что если бы он, плохо плавая, тоже кинулся в воду, то погиб бы вместе с отцом — и у матери было бы двойное горе.

Но Павел продолжал казнить себя и не заметил за этими мыслями, как заболела мать. У нее начала треметь голова и дрожать руки, она перестала ходить на работу в детский сад, и дома все сразу стало рушиться.

Павлу бы работать идти, ему бы матери стать опорой. Не мог! У него было оправдание: отец непременно хотел, чтобы он поступил в медицинский институт. Павел говорил, что должен выполнить последнюю волю отца, и с ним соглашались.

В августе он уехал держать экзамен в медицинский институт областного города. Перед экзаменами институт проводил «День открытых дверей». Толпясь в вестибюле вместе с другими претендентами, Павел встретил знакомого парня из своей школы, который учился здесь.

— Обрадовался! Подумаешь — открытые двери! — пренебрежительно сказал тот. — Все равно вам, кроме аудиторий, ничего не покажут. Хочешь, я тебя в анатомичку проведу? Тогда поймешь, что к чему! — И он добавил с важностью: — Сейчас у нас там занятия нет, но я в анатомичке свой человек. Пошли!

Павел заставил себя согласиться. Все равно, если он сюда поступит, этого не миновать! Он почти ничего не успел увидеть. Какой-то человек с поблескивающими инструментами в руках, подняв голову от того, что лежало на столе, крикнул:

— Кто сюда постороннего привел? Вы, Степнов? Уводите его и убирайтесь сами...

Они выскочили во двор. Знакомый начал было смущенно объяснять Павлу, почему так получилось и когда можно будет попытаться снова. Но он вдруг остановился и поглядел на Павла.

— Да что с тобой? — спросил он. — А, понимаю! А мы здесь работаем, и нам хоть бы что.

И еще долго потом Павел не мог отогнать от себя того, что за одну минуту увидел в анатомичке.

Он собирался сдавать экзамены, но перед первым же это показалось ему бессмысленным.

Вот был отец, всю жизнь работал, перевязки делал на медпункте, лекарства давал, помогал врачу в больнице, жалел, что сам не стал врачом, радовался, что Павел окончил школу, что поедет с ним на лодке к родным. И все увидят, какой у него сын! Смеялся, шутил, даже петь пробовал. Матери говорил: «Смотри, богомолка, мы там загуляем!» (Отец подшучивал над богомольностью матери: та стала ходить в церковь, когда отец был на фронте, попал в окружение и не присылал писем. Она и Павла крестила в сорок четвертом, когда тому было уже шесть лет.)

И вот поехали. Радовались оба. И вдруг случайность — и ничего нет: ни радости, ни человека, который радовался. Только расплывающееся дымное пятно крови в воде.

Если это может случиться так быстро, если человек может исчезнуть так бесследно, какой смысл тогда в том, что он жил? Значит, и он, Павел, вот

так же, от случайности или от болезни, может исчезнуть завтра или через десять лет. Все равно! Разве годы имели значение? Знать об этом и помнить о том, что он увидел в анатомичке, и идти сдавать экзамены? Зачем?

...Павел вернулся домой.

Он не сказал матери, что даже и не пробовал сдавать экзамены в институт.

— Не выдержал я, — объяснил он. — Очков не набрал.

— Еще бы! После такой беды... — вздохнула мать и вытерла глаза. — Отдохнуть бы тебе. Оправиться.

Сама она снова работала, только руку придерживала, когда нужно было что-нибудь написать, а сына захотелось побережь. Все казалось, что он слабенький, а после смерти отца и вовсе сдал.

И Павел согласился подождать. Согласился, потому что, когда выходил из дому, чтобы поговорить о работе — а поговорить можно было и в ремонтных мастерских, и на обувной фабрике, и на пищекомбинате, — у него в душе поднималось такое чувство тревоги, как если бы он приближался к воде...

Одноклассники Павла все уже начали новую жизнь: кто поступил на работу, кто уехал в институт, кто пошел в местный техникум. Встречаться с ними, отвечать на вопрос «что делаешь?» Павлу не хотелось.

Вечерами он бывал дома, а днем в пустой читальне у Зинаиды Александровны — маминой младшей сестры. Тетя Зина сидела за столом выдачи книг, слушала радио, которое обязательно включала, когда в зале, кроме Павла, никого не было, и вначале с сожалением, а потом с осуждением поглядывала на племянника, нервно и быстро листавшего книги.

— Дуня, ты должна, наконец, повлиять на сына, — решительно сказала она сестре. — Не можешь — я сама на него повлияю. Во-первых, мне в последнее время не нравится круг его чтения — всякое старье у меня выискивает, — а во-вторых, когда же он начнет что-нибудь делать?

— Ты, Зиночка, конечно, права, да только я... — робела, начала мать, которая побаивалась тетю Зину, самую образованную и самую строгую в семье.

— Я и сама знаю, что я права. Раз ты не можешь на него повлиять, я ему все скажу прямо. Я всегда всем все говорю прямо.

— Вот что, Павел, — сказала она, дождавшись племянника, — мы с матерью говорили о тебе... Горе в семье у всех большое, не спорю, переживания тяжелые, но пора и за дело браться. Что ж, ты так и будешь за спиной у матери сидеть?

Павел терпеливо выслушал то, что ему сказала Зинаида Александровна.

— Ну, ты согласен со мной? — спросила та. — Ты, конечно, можешь еще подумать, но я поставила перед тобой вопрос принципиально. Я и Дуне так сказала: «Ты как хочешь, а я перед ним поставлю вопрос принципиально». Я всегда ставлю вопросы принципиально!

— Согласен, — тихо сказал Павел, а потом вдруг спросил: — Тетя Зина, для чего живет человек?..

Зинаида Александровна, которая уже взялась за ручку двери, чтобы позвать сестру, возившуюся на кухне, остановилась и растерянно посмотрела на племянника.

— Откуда у тебя такие мысли? Как это так — для чего? Разве ты сам этого не знаешь?

— Нет, — сказал Павел. — Раньше казалось, что знаю, а теперь кажется, что не знаю. Совсем не знаю.

— Ну, хорошо, — сказала тетя Зина. — Я сейчас все тебе объясню... Так вот, Павел, — сказала она. —

Твой отец был скромным тружеником, а погиб как герой.

И она сама с огорчением услышала, что голос ее звучит так, как будто она говорит не про своего зятя, которого знала много лет и с которым не очень ладила, а про кого-то из книги. «Иначе надо ему сказать», — подумала, пересела поближе к Павлу, положила руку ему на плечо.

— Ты же знаешь, — начала она снова, стараясь, чтобы голос звучал мягко, — у каждого человека в жизни должна быть большая цель. Взять тебя, ты должен стремиться быть достойным памяти своего отца. Разве ты забыл, как ты выступал у нас на читательской конференции на тему «В чем счастье?» Хорошее было выступление. Я даже его текст в областную библиотеку послала на выставку... Ты еще начал с замечательных слов Николая Островского, что жизнь дается человеку только один раз... Как там дальше сказано? Помнишь?

Павел помнил.

— «...ее нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», — закончил он цитату.

— Вот видишь! — обрадовалась тетя Зина. — Ты очень хорошо сказал в своем выступлении про эти слова. Сказал как раз про то, о чем меня спрашиваешь. Ты завтра придешь в читальню, и я тебе дам текст твоего выступления. У меня копия подшита. Перечитаешь его, подумаешь над ним снова. Договорились?

— Спасибо, тетя Зина, — вежливо сказал Павел. — У меня остался черновик. Я посмотрю его.

Зинаиде Александровне показалось, что она сказала не все.

— Это неплохо, что ты все время один. Потому у тебя такие мысли.

— А разве это нехорошо, что я думаю... — Павел запнулся, помолчал, а потом закончил, словно бы извиняющимся голосом, — ...о смысле жизни?

— Почему нехорошо? Очень хорошо! — тревожно сказала Зинаида Александровна. — Только думаешь ты, как мне показалось, пессимистически... Вот и книги последнее время тебя все какие-то привлекают не такие. А мне бы не хотелось, чтобы мой племянник, который только что окончил школу, получил аттестат зрелости и вступает в самостоятельную жизнь, смотрел на окружающее сквозь черные очки пессимизма. Даже если у нас случилось несчастье, это еще не причина для мрачных мыслей.

— Тетя Зина, — спросил Павел, — а у вас никогда не бывает мрачных мыслей?

— Конечно, как у всякого человека, у меня бывает плохое настроение. Но я умею с ним бороться. Обещай мне, что ты постарайся перестроиться, — сказала она и снова сама с огорчением услышала, что выговорила эти слова так же, как требовала от своих молоденьких помощниц обещания, что они не будут запускать работу с рекомендательными списками.

Павел сказал, что постарается, и Зинаида Александровна пошла на кухню к сестре.

— Я ему все объяснила, — сказала она.

Сестры обнялись и всплакнули. Тетя Зина еще долго сидела в доме Миловановых, рассматривала старые фотографии и вздыхала над ними, а на следующий день энергично, как все, что она делала, взялась за устройство Павла, и он не успел опомниться, как работал в газетном киоске.

— Ну, как теперь твоё настроение? — спрашивала она, когда встречала племянника.

Павел отвечал, что настроение у него нормальное, и тетя Зина удовлетворенно говорила:

— Вот видишь!

Сестре она тоже сказала не без гордости:

— Теперь я спокойна за нашего Павла. Ну, кто был прав?

И хотя Евдокия Александровна с самого начала не спорила с сестрой, она согласилась:

— Конечно, ты!

Сестры не знали, что как раз в эти дни Павел познакомился с Григорием Добровольским, недавно приехавшим в их город. Добровольский жил в гостинице, посещал краеведческий музей и местных старожилов, представляясь командированным, изучающим старину. Он действительно был в командировке. Вызвался посхат в старинный городок, где, по слухам, можно было купить у стариков не только дореволюционные издания молитвенников, но и старинные служебники, типиконы и даже четьи-минеи. Добровольский рассчитывал и начальству угодить и не без барыша вернуться. И одна из кафедр духовной академии, где ему покровительствовали, дала ему командировку.

Он познакомился с Павлом, когда приходил за свежими газетами и журналами. Добровольскому рассказали историю гибели Милованова-старшего. Это событие было до сих пор памятно в городе.

И Григорию захотелось отличиться: привезти в семинарию не только книги, но и заявление о приеме от известного в городе молодого человека. Плохо ли, еще не кончив учения, уже иметь на своем счету такое доказательство проповеднических способностей!

Разговор с Павлом он начал с того, что хотя в городе он приезжий, но уже наслышан о безвременной кончине его отца, о достойном хвалы подвиге фельдшера Милованова, об испытании, ниспосланном Павлу. Он так и сказал: «наслышан», «достойный хвалы», «ниспослан», — учился без запинки упорядочивать старые, округлые слова.

Павла заинтересовала и неожиданность обращения и непривычность речи, и когда Добровольский попросил показать ему город, он согласился. У Павла было много свободного времени.

Они вместе гуляли по городу, ходили в лес, в окрестные деревни, разговаривали...

Добровольский скоро почувствовал и робость Павла перед жизнью и желание говорить о том, чем Павел однажды ошеломил тетку и о чем больше ни с кем не разговаривал.

И когда Григорию показалось, что настало время для решительного объяснения, он спросил Павла: не приходило ли тому в голову воспринять гибель отца как некое указание судьбы? Не думает ли он прислушаться к этому указанию? Например, пойти учиться в духовную семинарию, где уже учится он, Добровольский?

— Конечно, вы Милованова сын и люди в память ему вам обязаны. Но что-то особого к себе гчмания от них вы пока не дождались, — сказал Григорий. — Не там надо искать награду!

Потом он стал говорить, что религия учит людей хорошему. Разве иначе она могла бы существовать столько веков? И разве плохой человек — матушка Павла? И про то сказал, что если Павел поступит в семинарию, у него на всем готовом будет неплохая стипендия, можно будет и матери помочь. Еще он сказал, что, окончив семинарию, можно рассчитывать на твердое положение для себя и на возможность утешать окружающих в бедах и горестях. И про то, что в институт теперь попасть весьма трудно, а идти после десятилетки работать в газетный киоск или на производство как-никак обидно.

— Приедете на каникулы в свой город, спросят:

что делаете? Можно будет ответить: в Москве учусь, в вузе. И среднее образование ваше даром не пропадет, и языки иностранные учить будете, и о многом таком узнаете, о чем вам ни в школе не говорили, ни в книгах не напишут теперешних. Ведь о жизни, о смерти, о боге спорят две стороны. Но вам известно только то, что говорили в школе, и совсем неизвестно то, что об этом может сказать религия. А разве вам не любопытно услышать другую сторону?

Добровольский почувствовал — ему помогла актерская восприимчивость, — что его житейские доводы особенного впечатления на Павла не произвели, а вот последний, туманно-многозначительный зацепил за живое.

И он решил козырнуть:

— Формуляром вашим, извините, в библиотеке поинтересовался. Видно, что философия вас занимает. О пшеничном зерне не задумывались? Мы его можем разложить на составные части, можем эти частицы видеть, осязать, взвесить, но ни под каким микроскопом, ни на каких весах не увидим той энергии, той внутренней силы, благодаря которой произрастает зерно. Какая же сила заставляет его произрастать? Поразмыслите об этом. Маркса, между прочим, не читывали?

Павел признался, что после «Манифеста Коммунистической партии», который в выдержках проходили в школе, ничего не читал.

— Напрасно, — наставительно сказал Добровольский. — Не удивляйтесь, что, советуя вам духовную стезю, о которой вы куда-то понятия не имеете, спрашиваю вас про Маркса. Основоположник научного материализма — Маркс. Так?

— Так, — согласился Павел, удивляясь еще больше. — Это известно.

— Но неизвестно другое: что у Маркса, если поискать, можем найти доказательства в пользу существования бога.

— Ну, это вы хватили! — сказал Павел.

— Поскольку вы Маркса не читали, — сказал Добровольский, — спорить вам со мной будет затруднительно. Может быть, хоть понаслышке знаете прстоимость, которая, согласно Марксу, представляет собой овеществленный в товаре труд? Возьмите эти вот ботинки, — и он указал на свои черные узконосые туфли. — Можете их разорвать, можете их разрезать, можете под микроскопом рассмотреть, химическому анализу подвергнуть — никак и никогда вы их стоимость не увидите, не обнаружите. А она есть. Она в эти ботинки заложена объективно. И все заложена. Это Маркс говорит. А религия говорит: вот так же и бог — незримо присутствует в окружающем мире...

Откуда было Павлу знать, что все рассуждения о зерне Добровольский заимствовал из текста проповеди «Наука и религия», которая вышла из стен духовной академии и, перепечатанная на папиросной бумаге, раздавалась уезжающим на каникулы студентам и семинаристам? Откуда ему было знать, что Добровольский, отродясь не читавший Маркса, повторяет рассуждение молодого немецкого богослова, приехавшего в семинарию и поделившегося со своими коллегами мыслями о применении современной терминологии в проповедях?

Так или иначе, но Добровольский своего добился: Павла заинтересовал. Они условились, что будут переписываться. И когда Добровольский уехал, от него стали приходить длинные рассуждения о нравственности, о бессилии нерелигиозной морали, об отличии христианской любви к ближнему от обычного гуманизма, о самопознании и смирении. Павел не до-

гадывался, что они целыми страницами списаны с революционного гимназического учебника протоиерея Чельцова «Православно-христианское вероучение». В этой переписке прошла зима.

Постепенно мысль о духовной семинарии, поначалу казавшаяся дикой, стала привлекать Павла все больше.

Добровольский посоветовал Павлу до поры до времени никому в родном городе о своем решении не говорить да и вообще по возможности готовиться к поступлению тайно.

Он прислал Павлу молитвослов, евангелие и анкету, объяснил, как составлять заявление. Заявление пришлось переписывать, потому что бумагу эту полагалось называть не «Заявление», а «Прошение». Павел выучил молитвы — начальные, утренние и вечерние, — один тропарь, два псалма, символ веры. Отправил все бумаги и стал готовиться к вступительному сочинению. Добровольский предупредил Павла, что сочинение обычно пишется на неизменную тему «Как я провел лето» и что в нем следует проявить религиозное направление мыслей, рассказав о том, какую церковь посещал, какие чувства испытывал, исповедуясь или слушая церковное пение.

И, только получив вызов, Павел сказал матери, что скоро уезжает в Москву держать экзамены не в институт, а в духовную семинарию. Думал, она обрадуется. Но та, хотя после смерти отца перенесла икону из кухни в комнату и опять стала похаживать в церковь, узнав, что задумал Павел, возмутилась:

— Для этого тебя учили? Отцу бы это узнать каково!

— Но ты же сама ходишь в церковь, мать. Значит, веришь?

— Я другое дело. Я женщина, у меня горя много в жизни было. Я, может, на всякий случай в церковь хожу: кто его знает, что там есть! А тебе что там делать?

— А я хочу в точности узнать.

— Нет тебе моего согласия! — сказала мать и даже отказалась проводить Павла, когда он уезжал.

Но Павлу было все равно. Впереди была другая жизнь, другие люди. От них он ждал ответа, которого не сумел найти в книгах.

Возвращение

Павел сумел описать гибель отца так, что у Аси даже слезы на глаза навернулись. И пока он объяснял, как ему тяжело было оставаться в родном городе, она тоже слушала его внимательно. Но про переписку с Добровольским он говорил сбивчиво, неохотно, и она перебила его:

— Он тебя затаил, а сам ни во что не верит, а ты поверил и теперь переживаешь, что он такой, — догадалась Ася.

— Разве в нем дело? — сказал Павел. — Я, например, спрашиваю: как понять троичность бога? В катехизисе — есть у нас учебник такой — про это написано так: люди не могут понять, как бог-отец, бог-сын и бог — дух святой не три бога, а один бог. В это надо верить.

— Так и написано: «понять этого нельзя, а нужно верить»? — изумилась Ася.

— Так и написано, — сказал Павел.

— Я бы такой учебник ни за что дальше читать не стала, — сказала Ася. — Выбросила бы его, и все тут.

— Выбрасывать я не стал. Ну, думаю, учебник плохой, старый, гимназический. На детей рассчитан. Но я же не ребенок. Попросил, чтобы мне объясни-

ли. Это еще в первый год было. А мне ответили: премудрость божия в тайне сокровенна, тайна сия велика есть, смертному понять не дано. Тогда я сказал: «Как же так? В евангелии говорится: блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вот я такой — жаждущий. Так объясните мне!» Журнал у нас есть, мы между собой его называем «черным журналом», или кондуитом по-старинному. Там все провинности наши записываются. Ну, и записали вроде того, что воспитанник Милованов вступал в пререк с наставником и обнаружил нетвердость в вере.

— Да разве в том дело, сколько богов: один, три или тридцать три? — крикнула Ася. — Вот уж нашел, над чем себе голову ломать!

— А в чем, по-твоему, дело? Может, ты мне объяснишь? Не трудно ли будет? — с вызовом сказал Павел.

И в первый раз за то время, что они были знакомы, он поглядел на нее сверху вниз. Но Асю это не смутило.

— А все дело в том, — сказала она, — что ты испугался.

— Чего это я, по-твоему, испугался? — спросил Павел. Голос его прозвучал почти грубо. И это тоже было в первый раз.

— Я, может, объяснить не сумею, но, по-моему, я понимаю правильно, а ты потому и сердешься, что я понимаю.

— Извини, я тебя перебую, — сказал Павел, — нам пора.

— Конечно, пора, — ответила Ася смеющимся голосом. — Как можно опаздывать... Увидит бог, что ты опаздываешь, накажет. Интересно, как это он успевает за каждым из вас, верующих, приглядывать! Или, может, все-таки приставляет кого-нибудь?

— Ты надо мной смеешься?

— Нет, не смеюсь. Я тебя жалею.

— Почему это ты меня жалеешь?

— Потому что ты всего боишься. Боялся, что я узнаю правду, боялся сказать, кто ты, потом сказал, испугался, что я буду смеяться, теперь в семинарию боишься опоздать. Добровольского своего боишься. Ну, и, наверно, бога боишься.

— Нам действительно пора, — обиженно сказал Павел.

Они молча подошли к автобусной станции. Автобус должен был прийти через двадцать минут. Пассажеры еще не открывали. Все так же молча они стали ждать.

— Мы так и будем теперь всю дорогу молчать? — спросила Ася.

— Нет, почему же... Все-таки здесь очень красиво. Город красивый. Правда?

— Правда, — согласилась Ася. — И озеро тоже очень красивое. Значит, ты не жалеешь, что мы сюда приехали?

— Ну, что ты! — сказал Павел.

...Темнеет. Дальний автобус зажег свои огни и, когда въезжает в лес, высвечивает дорогу фарами, трубит перед деревьями и поселками, рыча, не сбавляя ходу, берет подъемы.

Руки Павла и Аси лежат рядом на подлокотниках кресел. Радио, которое сегодня весь день провожало Асю, играет и в автобусе: передают симфонический концерт из Москвы. Можно говорить о чем угодно: их никто не слышит. Но все-таки они говорят почти шепотом: для того, чтобы говорить шепотом, надо совсем сблизить головы. Тогда кажется, что больше никого в автобусе нет.

— Удивительно! — говорит Павел.

— Что?

— Да все это... Ведь не собирался же я тогда, когда увидел тебя первый раз перед цирком, идти в цирк. Нам вообще-то в цирк ходить как-то не очень удобно. А в город приехал потому, что лекарство для матери нужно было достать и отправить. Купил лекарство, иду из аптеки, вдруг вижу — ты! Прошел, оглянулся — нет, чувствую, не могу уйти. Вот так все и началось...

— Что же ты замолчал? — с интересом спросила Ася. — Какой я тебе тогда показалась?

— Ты же знаешь! Этого я сказать не умею.

— Тогда не говори. Ты и так все сказал. А что было потом?

— А потом, когда мы познакомились и я понял, что ты... никогда... но я все-таки надеялся... А теперь я знаю, это невозможно. Если бы ты знала, как мне трудно! — вздохнул он.

— А мне, ты думаешь, легко?

Павел вдруг улыбнулся:

— А знаешь, что сказал Добровольский, когда увидел тебя? Ты не обидишься? «Из этого рыжего чертенка ты собираешься сделать богом данную супругу отца Павла? Легче верблюда пройти в игольное ушко, как говорится в писании».

Ася весело рассмеялась:

— Очень лестно. Он, конечно, противный, но, оказывается, не дурак.

— Он-то! Нет, он совсем не дурак! Особенно когда перестает прикидываться праведником. А со мной не стесняется, хохочет: обращать ее на путь истинный и не пробуй, борись, говорит, с этим искушением.

— Ну, а ты?

— Боролся, — безнадежно сказал Павел. — Как видишь!

Как хорошо, когда он такой, когда шутит, когда смеется, когда говорит вот так! Ехать бы так с ним и ехать, далеко, пока не останется позади город, где за крепостной стеной семинария Павла, пока не останется позади испуг, приведший его в эти стены!

Но вот и этот город. Пора выходить. Ася с сожалением смотрит на автобус и машет рукой шоферам:

— Спасибо, товарищи водители!

— Я тебя провожу к поезду, — предлагает Павел.

— Ты и так опоздал! Это я тебя провожу, — отвечает Ася, — если ты, конечно, не против.

В свете фонаря видно, как лукаво блестят ее глаза. Она берет Павла под руку.

— Пошли, товарищ семинарист! Смелее! Не съедят тебя там, помилуют.

И она звонко смеется. Но Павел опять не тот, каким был только что. Он вышагивает рядом с ней, сутулясь, напряженно и неловко. Его рука в черном кителе, под которую Ася просунула свою руку, висит беспомощно, как чужая. Потом он решается, неуверенно сгибает руку в локте, принаравливая свои шаги к Асиным.

— Если бы вырвал руку, ни за что бы тебе этого не простила, — сказала она.

Они дошли до ворот лавры.

— До свидания, — торопливо выговорил Павел.

— Разве мне нельзя тебя проводить? До самого вашего дома? — спросила она.

Павел оглянулся.

— Отчего же, — неохотно сказал он, — проводи.

На внутреннем дворе, освещенном фонарями, турристов уже нет. Только старые женщины, уставшие от долгой службы в соборе, дремлют на скамейках, видно, чего-то ждут. Из открытых дверей угловой церкви по-прежнему доносится заунывное пение, а из окон жилого дома с лесом телевизион-

ных антенн на крыше — мерная речь диктора. Когда диктор замолкает, становится слышно, как в кустах за железной оградой семинарии пробует свой голос какая-то весенняя птица: начинает трель, обрывает, начинает ее снова...

Черная тень дежурного попа, не то того же самого, не то сменившегося, все так же бесшумно мелькает на фоне семинарской стены, то исчезая в темноте, то возникая в свете фонаря.

— Сейчас двери закроют, — встревожился Павел, взглянув на часы.

— Да ты послушай лучше, как птица поет. Интересно, что это за птица? — ответила Ася. — Постойм немного. Вечер какой замечательный! Ну ладно, не мучайся! Ступай! — Она приподнялась на носки и поцеловала Павла в щеку. — Вот! Ничего не надо бояться! — сказала она и пошла к выходу.

...Прямо напротив монастырских ворот — новостройка. Высоко в небе стрела крана подняла красные огоньки. Приятно смотреть на эти огоньки! Ася идет своим быстрым шагом на станцию электрички, потом глядит в окна поезда на проносящиеся фабричные строения, на перелески, на дачные поселки, потом выходит на площадку и стоит там, радуясь ветру, который пахнет уже совсем по-весеннему.

И куда ей навстречу весь в вечерних огнях, в разноголосом шуме летит огромный город, Павел стоит в церкви перед иконой, недавно обновленной и потому чистенько поблескивающей лаком.

Он вспоминает строгие слова своего исповедника: «Ты должен молиться, чтобы господь помог тебе погасить непокорствующий разум и разжечь веру». Он отбивает поклоны, крестится и бесцельно повторяет твердо заученное: «Дух смиренномудрия даруй ми, рабу твоему, рабу твоему, рабу твоему...»

А в ушах у него все звенит и звенит Асин веселый и безстрашный голос:

«Не надо ничего бояться! Ничего!»

Понедельник — день тяжелый

Зазволил будильник. Потянуло сквозняком. Раздались ровные вдохи и выдохи. Это встал Андрей. Делает зарядку около открытого окна.

Ася тоже проснулась. Но встать сразу ей трудно: все-таки вчера почти весь день провела на ногах и добралась домой только к ночи. Мать уже ушла — видно, за молоком. Отец еще не вставал: эту неделю он работает в вечернюю смену, а вчера дожидаясь Асю, и у них был разговор, о котором вспоминать не хотелось.

Она вышла на кухню. Там сидел Андрей, ел холодную картошку со сковородки и косился в учебник. Он поглядел на Асю так, будто видит ее в первый раз, но ничего не сказал, а уткнулся в книгу.

— Чего ж картошку не разогрел? — спросила Ася. — И брось книгу, — сколько раз тебе отец говорил!

— Холодная вкуснее, — ответил Андрей. — А тебе отец тоже много чего говорил. Не очень слушаешься.

— Ах, Андрей, Андрей, ничего-то ты не понимаешь!

— Вот еще! Не понимаю! Генка вчера приходил: «Ася дома?» — Андрей карандашом нарисовал на полях газеты человечка с вопросительным выражением физиономии. — Говорим: «Нет ее». — Андрей что-то сделал с рисунком: физиономия вытянулась. — Спрашивает: «Когда будет?» Говорим: «Сами не знаем». — И он карандашом еще сильнее вытянул физиономию. — Вечером еще раз приходил. Сказа-

ли: «Еще не возвращалась!» Ушел... — И он нарисовал нового человечка. Тот спускался по лестнице, горестно повесив голову и роняя на ступеньки большие слезы.

Ася рассмеялась:

— Дай мне, я Генке покажу.

— Вот еще, — сказал Андрей. Но потом спросил самолюбиво: — А что, похоже?

— Не скажу. Ты и так зазнаешься.

...Они вышли на лестницу вместе, но когда Ася стала звонить в дверь Марининой квартиры, Андрей крикнул:

— Привет! — И пошел вниз, не дожидаясь Асю и независимо насистывая, но остановился на следующей площадке.

— Наташка уже ушла, — сказала Марина. — Чего-то она сегодня торопилась. А я сейчас, только волосы заколю. Мыла вчера голову. Поглядишь, какой у меня теперь оттенок. Называется «Тициан». Очень модно.

— Андрей! — крикнула Ася в пролет лестницы. — Чего стоишь! Ушла уже Наталья, слышишь?

— А мне-то что... — громко буркнул Андрей.

Но когда Марина и Ася вышли из дому, они увидели, что он медленно идет к школе, а перед ним, шагах в десяти, так же медленно идет Наташка, не оглядываясь, но не ускоряя шагов.

Марина и Ася засмеялись.

— Ох, Аська, какие же мы с тобой старые! — протянула Марина, а потом спросила с любопытством: — Ты это где вчера пропадала до ночи? Неужели с Павлом была? Значит, у вас все в порядке? Отец твой сердился, мать волновалась, а я им сказала: «Владимир Михайлович, Анна Алексеевна, ваша Ася — вполне самостоятельный человек. У каждого самостоятельного человека может быть личная жизнь и личные переживания». Отец твой говорит: «Пусть дома переживает». Нет, они этого не понимают. Мои тоже. Значит, у тебя с Пазлом все в порядке. Я рада. Хотя он, по-моему, не очень интересный. Ну, ладно, не сердись. А вот у меня, у меня-то... Петя вчера заявляет...

Но Марина не успела сказать, что заявил Петя.

— Смотри-ка, на той стороне — сейчас умереть! — Геннадий стоит! Тебя дожидается. Ох, Аська, гляди у меня!

Геннадий увидел Асю, постоял немного, сердито набычившись, посмотрел на нее через улицу, потом засунул руки в карманы и вразвалочку перешел через мостовую.

— Нашел я твоего попрошайку — где живет и все таксе.

— Что ж ты не здороваешься? — удивилась Ася.

— Ну, здравствуй, — хмуро ответил Геннадий.

— Приятно встретить вежливого молодого человека, — сказала Марина. — Здравствуй и до свидания. А ты, Ася, на работу не опоздай. — Она ушла, стрельнув в Геннадия глазами.

— Ты чего злющий такой? — спросила Ася.

— Ничего.

— Ну, если ничего, проводи меня до метро. По дороге все расскажешь.

— Ладно, — угрюмо согласился Геннадий, — провожу. Мальчонку этого зовут Мишкой, фамилия ему Сотичев.

— Верно, Сотичев, я теперь вспомнила! — обрадовалась Ася.

— Живет он в доме, где булочная. Отца нет. Мать работает лифтершей. Но сейчас она в больнице. А в церковь его тетка какая-то затащила. Не родная. Торгует тут в овощной палатке. Вот его адрес, фамилия. Все, — сказал Геннадий.

Он не стал объяснять, сколько времени потратил, чтобы выполнить Асину поручение. Обещал — надо сделать! Даже если девушка, которой ты обещал и которая с тобой неделю назад ездила по городу, все следующее воскресенье неизвестно где пропадает, а возвращается домой в двенадцать ночи и не замечает, что ты, как проклятый, стоишь во дворе напротив ее подъезда.

— Я пошел, — сказал Геннадий.

— А ты еще меня проводи, — попросила Ася.

Они свернули за угол и шли теперь в толпе, спешившей к метро и становившейся чем ближе к вестибюлю, тем плотнее.

— А что у него с ногой? — спросила Ася.

— Не знаю. Я не с ним, я с ребятами с его двора разговаривал. Могу узнать, если надо, — вдруг предложил он, хотя утром твердо решил, что не будет больше встречаться с Асей. Расскажет ей, что узнал, и баста, крест на этом.

— Вместе узнаем, — сказала Ася. — Ты ведь обещал мне помочь.

И вот вместо того, чтобы, отдав ей записку, раз и навсегда сказать «прощай» и уйти, не оглядываясь, как уходили герои любимых картин, Геннадий, которому на работу к десяти и в другой конец города, спускается с Асей вместе в метро. Он придерживает захлопывающуюся дверь переполненного вагона, чтобы Ася успела войти, а потом зачем-то сам втискивается в этот вагон, едет с ней и еще провожает ее до самой проходной и чувствует: хотел бы, но не может он на нее сердиться. А все потому, что поглядела на него своими ясными глазами и сказала своим голосом, всегда веселым, а сегодня вроде бы грустным, но доверчивым:

— Мне очень нужно, чтобы ты мне помог, Генка. Ну, что я одна буду с этим мальчишкой делать?

...Ася ушла. Генка стоит перед проходной, смотрит ей вслед и думает: что же это такое в конце концов с его стороны? Отсутствие воли? Ну, нет! Это «всепоглощающее чувство», вот что это такое! Теперь, когда он вспомнил, как называется то, что с ним происходит, он перестает на себя злиться. Конечно, если задуматься, очень странно, что это происходит именно с ним. Ему всегда казалось, что чувства — это очень простая штука, тем более теперь, когда времени на технику и то не хватает, так быстро она развивается. Каждый день новое. А про переживания все давно известно. Тут нового ничего не изобретешь! Но уж раз оно так получилось и это обрушилось на него, придется себя вести сообразно с обстоятельствами. Геннадий любил делать все по-настоящему, как полагается!..

...День у Аси начинался хорошо. В цехе в воскресенье вымыли окна, и теперь все было залито солнцем. Новенькая почти совсем приладилась и больше не задерживала Асю, и после одиннадцати часов, когда конвейер остановили для занятий производственной гимнастикой, а потом снова включили, Ася почувствовала, что она вошла в тот ровный ритм, в который важно было попасть с начала недели. Тогда все будет ладиться. Можно будет и работать хорошо и думать о том, о чем она опять не может не думать.

Она не предложила вчера Павлу приехать и позвонить и не обещала, что придет к нему еще раз сама.

«Это я правильно сделала, — думает она теперь, — пусть сам решает».

Самое главное она ему сказала. Поп? Ни за что на свете! А вообще-то он ей нравится. Непонятно только, почему. Хотя почему непонятно? Как он вчера взял билеты хорошо и как на озеро вместе с ней

хорошо глядел, как они в автобусе ехали замечательно! Несмелый, вот что плохо. И верит во что-то до того ненужное и нелепое, что и представить себе невозможно. А может, и не верит? Сам себя уговаривает? Оттого так и нервничает, когда об этом заходит разговор! И все-таки — семинарист! Но ведь могло быть так: полюбила человека, а с ним случилось несчастье — заболел, например. Тогда как? Отец вот когда за матерью ухаживал, заболел, серьезно заболел. В войну его даже в армию не взяли. Ведь не объявила ему мать: не знала я, что у тебя плохое здоровье, не нужен ты мне такой. Совсем по-другому она ему сказала. Вспоминали родители, как молодыми были, рассказали недавно.

Они и сейчас, конечно, еще не очень старые, а ее не понимают. Да и как понять! Она сама им не рассказывает ничего. А как им объяснить? Как это скажешь? Никогда не расскажешь. Никому. Ни отцу, ни матери, ни Марине, ни Генке. Может быть, только Вадиму. Об этом нужно подумать.

... В обеденный перерыв Ася пошла в комитет комсомола — сдавать список желающих заниматься в университете культуры. Себя она тоже включила в этот список, хотя решительно не знала, где возьмет на это время.

Катя Волохина, освобожденный секретарь, озабоченно говорила по телефону. Ее заместитель, Сергей Савиных, знаменитый бригадир электриков, одним пальцем печатал на машинке, сердился, поднимал брови, ерошил волосы и был совсем не похож на свой гладко причесанный и улыбающийся портрет, висевший около проходной.

— Ну и агрегат! — сказал он Асе, показывая на машинку. — Представляешь, ни восклицательного, ни вопросительного! Только параграф и еще процент. А я стих печатаю. Бесчувственная какая-то машинка! Где ты ее взяла, секретарь?

— И болтун же ты, Савиных! — сказала Катя. — Не успеешь свой стих за перерыв напечатать, а бюллетень давно вывешивать пора. От руки знаки поставишь. Еще лучше будет.

Но Савиных никак не мог успокоиться:

— Нет, совсем для чувств не приспособленная машинка. Ну, хорошо, еще машинка, а если человек такой? Хочет спросить, хочет крикнуть, выругаться хочет, а у него в голосе ни восклицательного, ни вопросительного, один параграф. Басню такую написать можно, я попробую.

— Ох, болтун! — еще раз сказала Волохина. — Потом басню напишешь. Сейчас стих кончай печатать. Тем более Конькова пришла, а нам с ней поговорить нужно. Садись, Конькова.

— Садись, Конькова, — сказал Савиных, оторвавшись от машинки, и подмигнул Асе. — За стул держись, разговор с тобой будет серьезный.

— А что? — сказала Ася. — Списки я принесла, вот они. Задержала немножко, но раньше никак не могла. Еще что-нибудь нужно?

Катя просмотрела список, а потом проговорила каким-то необычным голосом:

— Да понимаешь, ерунда какая-то... В общем, такое дело... Даже не знаю, как сказать...

— Очень просто, — перебил Савиных, — сейчас я ей все сам скажу. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренебрежительное известие. Ревизор к нам не едет, а на вас, гражданка Конькова, проживающая там-то и там-то, член ВЛКСМ, незамужняя, несудимая — вы только не волнуйтесь! — на вас поступил донос.

— Ну что ты такое говоришь! — вскинулась Катя Волохина. — Заявление нам прислали. Заяв-ле-ние. Дело серьезное, а ты все шутишь.

— Нет, я не шучу, — очень серьезно сказал Савиных. — Когда на бумаге стоит подпись, такую бумагу можно называть заявлением, а когда на бумаге подписи нет, тогда, извини, получается, что я правильно сказал. Академика Крылова воспоминания не читала? — спросил он, поворачиваясь к Кате Волохиной.

— Ну при чем тут какой-то академик?

— Не какой-то, а знаменитый кораблестроитель. Ему однажды прислали на его подчиненного кляузу без подписи: «Расследовать!» А он на ней и написал: «По закону Петра Великого, если кто на кого напишет, а подписи своей не поставит, то такой бумаге ни веры, ни ходу в Российском государстве не давать, а сжечь ее на площади рукой палача». Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь.

— Господи! — сказала Катя. — Как с тобой все-таки трудно! Ты же не академик и не Петр Великий!

— Но ведь я и не требую, чтобы ты разложила здесь костер. А анонимку обсуждать не хочу, — твердо сказал Савиных. — На том стою!

— А кто собирается обсуждать? — спросила Волохина. — У нас, по-моему, сейчас комитет не заседает, мы с тобой двое — это еще не кворум, но поскольку Конькова зашла и поскольку такое письмо у нас имеется, должны мы с ней поговорить или не должны? А по-моему, как?

— Может, вы мне все-таки скажете, в чем дело? — спросила Ася, чувствуя, как у нее заколотилось сердце.

— Видишь ли, — осторожно начала Волохина, — ты только не думай, что мы этому поверили, но понимаешь...

— Ну, чего ты темнишь? — решительно перебил Савиных. — Дай ты ей эту бумажку своими глазами прочесть. Пусть сама прочтет, сама порвет — и все тут!

Катя Волохина протянула Асе тетрадный листок. На нем было написано незнакомым, почти печатным почерком, без точек и запятых:

«Сигнал на гражданку Конькову»

Поймите ввиду что Конькова Ася которая работает на вашем заводе и считается как будто она сознательная комсомолка ходит в церковь и была прошлое воскресенье у обедни еще про нее во дворе знают что она гуляет сразу с тремя один техник ходит в узких брюках и модных туфлях настоящий стилиста с какими надо бороться как и призывает наша печать другой студент вместе с ней хулиганил перед церковью обижал ребенка калеку собралась толпа пришлось на эти их незаконные действия милицию вызывать а с третьим которого во дворе не знают откуда и кто он но все видели что она целует-ся в подъезде а что еще между ними есть пока неизвестно но только вы не пройдете мимо и выведете ее на чистую воду таких которые свои грехи ходят в церковь замаливать надо из комсомола гнать надеемся что вопрос этот не останется на мертвой точке зрения к сему подпись».

Но подписи к сему не было. Вместо нее стояла закорючка и жирное пятно от пальцев, исписавших этот лист. В бесконечной фразе Ася услышала знакомый голос, только никак не могла вспомнить, чей именно.

— Прочтала? — спросила Волохина. — Да ты не волнуйся, поговорим спокойно. Кто бы это мог написать, как ты думаешь?

— Понимаете, ребята, — растерянно сказала Ася,

глядя на Катю и Сергея широко открытыми доверчивыми глазами,— все это, конечно, совсем не так, но здесь написана правда.

— То есть как это правда? — вскинулся Савиных. — Чего ты на себя наговариваешь? Ты что, действительно ходишь в церковь?

— В прошлое воскресенье была.

Катя Волохина всплеснула руками.

— Ну, знаешь ли, — сказала она с отчаянием, — никак я этого от тебя, Ксенькова, не ожидала. Десятилетку окончила, старая комсомолка, цеховой культсектор, в университет культуры записалась...

— Да ты подожди, Катя, дай сказать человеку, — успокоительно пробасил Савиных. Но было видно, что он тоже встревожился.

— В церкви я была, — сказала Ася. — Это верно. Теперь тут про троих написано, что я с ними гуляю. Действительно, гуляю. — Ася вскинула голову. — Только не так, как тут написано. С двумя я дружу! Один — Генка, радиотехник он. Брюки у него действительно узкие и рубашка с двумя пугавками под воротником, хотя тут про это ничего не написано. Только он никакой не стилига. Сегодня меня до завода провожал. На прошлой неделе, я его попросила, приехал к нам в клуб, когда мне для концерта помощь нужна была. И Вадим не хулиган. Мы с Вадимом дружим со школы. Он студент-историк, умный очень и много знает. А третий... Третий — другое дело. С ним я не просто дружу, ну, а мы... а он...

— Понятно, — сказал Савиных. — Это объяснять не обязательно.

— Понимаете, все, что тут написано, все это было, и все-таки все это совсем, ну, совсем не правда... Что получилось? Мальчик учился в нашей школе, Миша Сотичев, сейчас ему лет тринадцать, был у нас в пионерском лагере, когда я вожатой ездила, хромой он. А теперь он сидит в церкви, побирается! Мы с Вадимом хотели узнать, что с ним, а те, которые вышли из церкви, на нас накинлись. Женщина там есть одна такая. Ужасно она меня оскорбляла. Вот как в этом письме. Толпа действительно собралась. Действительно милиционер к нам подходил. А мальчик от нас ушел. Так я ничего и не узнала про него. Вот только теперь удалось узнать.

— Постой, постой, — сказала Волохина. — Это очень серьезно, про мальчика. Это я, как бывшая пионервожатая, говорю. Мальчик школьного возраста и просит в церкви милостыню! А в школе об этом известно?

— Не знаю, — растерянно сказала Ася.

— Вот это и нужно было узнать. Как его фамилия, говоришь? А школа какого района, нашего?

— Теперь можешь быть спокойна за парня, — сказал Савиных. — Катя, она знает, что и как. Она этого так не оставит!

Катя действительно знала, что и как. Минут через десять Ася услышала, как освобожденный секретарь сердито говорит по телефону:

— Ах, вам ничего не известно про Сотичева? А вот нам известно. Да уж так получилось, хотя мы заводской комитет и к школам отношения не имеем. А чего, собственно, ждать? Нет, мы ждать не будем. Нет, касается. У нас, знаете ли, сейчас комсомольцы заповеди коммунистических бригад принимают. Там есть такая: «Если рядом с тобой обидели человека, ты тоже виноват». Нет, это я не вам говорю. Это мы себе говорим. Мы сейчас же поручим нашей комсомолке побывать у этого мальчика дома. Да, да, будет нужно, поставим в известность райком. Хорошо, можем и вам позвонить. Вы тоже звоните, если что-нибудь узнаете. Волохина — моя фамилия, из комитета комсомола. Да, да, Волохина, с Часового.

Очень удивились в роно, — сказала Волохина, положив трубку. — Обещали все выяснить. Но пока они будут выяснять, я думаю, мы решим так: записывать это тебе, Ксенькова, как особое поручение, не будем. Но раз начала, доводи до конца. Выясняй, что с этим парнем. Только без партизанщины: заходи, советуйся.

— Хорошо, — сказала Ася с облегчением, — я обязательно буду советоваться. А сейчас мне нужно идти. Перерыв кончается.

Савиных тоже поднялся. Он был такой большой, что в комнате сразу стало тесно.

— Кто был прав? — спросил Савиных, кивнув на Асю, которая выходила из комнаты.

Катя Волохина еще раз прочитала тетрадный листок, озаглавленный «Сигнал на гражданку Ксенькову», потом аккуратно перегнула его пополам, потом еще раз пополам и порвала.

— А все-таки интересно знать, кто и зачем это написал, — сказала она.

— Действительно интересно, — сказал Савиных, — очень бы мне хотелось поговорить с тем человеком. Полезный бы для него разговор мог получиться. — Он заторопился в цех.

...Ася еще долго вспоминала у конвейера разговор в комитете комсомола. Вспоминала письмо, которое ей дали прочитать. Так было обидно! Зарезела бы, если б не на работе. Она любит свой дом и свой двор. Когда-то она ходила по этому двору в школу, теперь — на работу. Ее многие знают во дворе. Иногда она слышит, как ей вслед говорят: «Рыженькая-то — Ксенькова дочка. Выросла как!...» Люди, которых она привыкла встречать во дворе, то передают привет отцу, то спрашивают про мать, и даже когда они проходят молча, Ася думает о них, как о друзьях. Так уж привыкла.

И ей было невыносимо представлять себе, что в ее доме, что на ее дворе на нее смотрят не только дружеские глаза, но и злые. И эти злые глаза замечают всё. И всё толкуют по-своему. Хорошо, когда у тебя есть такие друзья, как Генка и Вадим, и ужасно прочитать об этом на листке, захватанном жирными пальцами: гражданка Ксенькова гуляет со стилигой и хулиганом.

Какой она была счастливой, как на сердце было тревожно и радостно, даже плакать хотелось, когда Павел поцеловал ее! Как ужасно знать, что кто-то подсмотрел это, а потом ухмыльнулся и написал: «а с третьим... она целуется в подъезде, а что еще между ними есть пока неизвестно...»

Какое подлое письмо! Да, подлое! Потому и подлое, что в нем все вроде как будто правда, только от тех слов, какими оно написано, все стало каким-то скользким, мутным, грязным.

Как правильно поняли всё ребята в комитете! И занялись не сплетнями, а делом. Бумажку эту порвали, а вот Мишей Сотичевым заинтересовались. А она-то, она-то хороша! Так до сих пор про него ничего не узнала. Только и думает, что о Павле.

Асю вдруг обдало жаром. Ведь она им главного не сказала! Не сказала, почему пошла в церковь. Они не спросили, а она не сказала. Ничего не сказала про Павла. Наверно, ее бы тоже поняли, наверно, это тоже можно было бы объяснить. Но разговор как-то сразу остановился, не дошел до этого. Получается, что она промолчала. Теперь объяснить все будет куда трудней.

Когда кончилась смена, она снова заторопилась в комитет комсомола. Ася еще не решила, что она скажет Кате и Сергею, но уйти домой просто так тоже не могла.

Комната комитета была закрыта. Плохо это или хо-

рошо? Пожалуй, хорошо. Очень ей трудно рассказать о том, почему она попала в церковь. Очень ей трудно рассказать про Павла. Ну как скажешь такое? Плохо! Гордо отстелила, что в этом письме все не так, что настоящая правда — вот она: у нее есть двое товарищей и один человек, которого она любит. Этих слов, что любит, она прямо не выговорила, но они ее поняли. Получилось гордо и смело, Катя и Сергей не захотели больше и говорить об этом ужасном письме. Но сама для себя она знает, что всей правды им не сказала. Так получилось. И это очень плохо. И то, что не смогла сказать, и то, что будет теперь бесконечно думать все о том же.

Ну как это может быть: они с Павлом такие разные, и не просто потому, что она веселая, а он сумрачный, она быстрая, а он медлительный; они по-разному думают об очень важном, и все-таки она его любит. И им было очень хорошо вместе, пока она не узнала, кто он. Неужели так может быть? А почему так не может быть? А если может быть, как поступать в таких случаях? Нет, не вообще в таких случаях, такого, может, больше ни с кем и никогда не будет, — как поступить ей?

Нет, она никогда, она ни за что не согласится, чтобы он стал псом. Это решено. И на то, чтобы он продолжал верить во всякое такое, тоже не согласится. Значит, нужно с ним спорить. И она будет с ним спорить. Но для этого ей нужно его видеть. Пройдет еще немного времени. Ее обязательно спросят — дома спросят или товарищи спросят: этот твой Павел, он кто? Так что же ей, промолчать, сказать неправду? Так что же ей, бояться, что их увидят вместе, как он этого боялся? Но ведь это то самое, за что она его стыдила? Нет, ей нечего бояться. И она не станет ничего бояться! Но как все-таки трудно сказать друзьям: человек, о котором вы меня спрашиваете, верит в бога. Но это еще не все: он собирается стать помом. А я его люблю. И я его перевооспитаю! «Перевоспитаю» — страх какое слово! Как в статье какой-нибудь. Невозможно сказать вслух про себя такие слова. Как трудно это все обдумывать одной! Надо с кем-нибудь посоветоваться. Но с кем? Может быть, все-таки с Вадимом?

Никак не могла Ася ожидать, что когда она, неходя домой, позвонит в квартиру Вадима, она встретит в его комнате Геннадия. А Геннадий, когда она вошла, резко оборвал, что говорил, и вскочил с места. Вадим тоже почему-то растерялся.

— Асюта, ты чего? За книжкой, наверно? — спросил он.

— Просто так, — ответила она. — А я что, помешала? — И добавила удивленно: — А я и не знала, что вы дружите. Думала, так, знакомы.

— Подружились, — мрачно сказал Геннадий и заторопился: — Ну, я пошел.

— Почему это ты уходить собрался, как только я вошла? — возмущилась Ася. — И почему вы так накурили? — Ася открыла форточку, собрала все окурки в одну пепельницу и понесла их выбрасывать. Геннадий напряженно глядел на то, что она делает, а Вадим, когда она вернулась, сказал недовольно:

— Ну, оставь, Асюта, войти не успела, а уже командуешь.

— Может, вы мне объясните, почему вы такие надутые, а то ведь я и уйти могу!

— Чего там объяснять, — так же мрачно сказал Геннадий, — все ясно. — И он в упор посмотрел на Вадима.

А тот, как всегда перед серьезным разговором, снял и протер свои сильные очки.

— Видишь ли, дружок, — сказал Вадим, — все дело в том, что ты легка на помине. Мы говорили о тебе. Геннадий рванулся с дивана, уронив стопку книг. Они в крошечной комнате Вадима громоздились повсюду. Генка начал водворять их обратно, но книги не поддавались.

— Сядь, — сказал Вадим, — надо рассказать Асе.

— Чего рассказывать! Я говорю: все ясно, зря ты меня уговариваешь, — упрямо сказал Генка.

— Я не уговаривал. Я тебе ответил.

— Ответил. Да только неправду. Вот она спутала твой ответ: как домой, к тебе в комнату вошла, сразу порядочек наводить начала.

Ася возмущилась. Они говорили так, будто ее нет в комнате, словно у них есть общий секрет, а ей они загадывают загадки.

— Ну вот что, мальчики, — сказала она, — я уйду. Я вижу: я тут лишняя.

— Я думаю, нам все-таки придется объяснить Асе, в чем дело, а то Кипяток что-то совсем не то вообразила, — сказал Вадим и пояснил Генке: — Это мы ее в школе так звали.

Геннадий пожал плечами:

— Говори.

— Так вот. — Вадим еще раз протер очки. — У нас сейчас состоялся разговор о тебе.

— Обо мне? — вскрикнула Ася.

— Вот именно. Как бы это тебе объяснить... Вот он пришел и говорит: мне нужно с тобой поговорить, как мужчине с женщиной, — сказал Вадим, и Генка приосанился. — А потом... Может, ты все-таки сам повторишь, что ты сказал?

Геннадий замотал головой.

— Ладно. «Я люблю Асю», — это он сказал. Я его слова передаю.

— Почему же это он вдруг тебе сказал? Странно все-таки! — рассердилась Ася.

— По-моему, тоже странно, — согласился Вадим. — Я так ему и ответил. Ответил я тебе так?

Геннадий кивнул.

— А, черт! Как все-таки трудно на такие темы разговаривать! — сказал Вадим. — Даже жарко стало. Он объяснил, что уже говорил это тебе, а ты его не захотела слушать. И так как он не видит других причин, — тут глаза Вадима засмеялись, — он, все обдумав, решил, что это из-за меня. Он сказал, что я ему мешаю. На это я возразил, что не могу ему мешать, так как ты меня не любишь и я тебя тоже не люблю. То есть я тебя очень люблю, ты не думай, но не в таком смысле.

Тут Вадим вдруг смутился. А на Геннадия было просто жалко смотреть. Он опустил голову и опять весь как-то набычился.

Асе стало весело.

— А дальше что было? — спросила она с любопытством.

— А дальше он мне не поверил и предложил...

Но тут Геннадий перебил Вадима.

— Ладно, — сказал он. — Кончай свой доклад. Теперь я сам объясню. Я ему предложил: если ты настоящий парень, тогда давай по-честному. Ася сейчас придет с работы. Вызовем ее и спросим: вот я, вот он, выбирай. И чтобы дальше — как ты решишь. Так?

— Так, — сказал Вадим. — То есть не в том смысле, что я согласился тебя вызывать, но в том, что он это предложил. А вызывать я не согласился. Я ему стал объяснять...

— Мальчики, — звонко сказала Ася, — но ведь я уже выбрала!

— Я же говорил, — с отчаянием крикнул Генка, — а ты отпирался!

А Вадим спросил:

— То есть как это выбрала? — И его голос звучал растерянно.

— Выбрала, — сказала Ася, — только вы оба тут ни при чем.

— Вот видишь, — сказал Вадим почему-то без всякого облегчения.

— И это ты с ним, с тем, кого выбрала, пропадала все вчерашнее воскресенье? — недоверчиво спросил Геннадий. — Кто же это, интересно знать!

— Да, я была с ним, — сказала Ася и очень прямо посмотрела на Генку. — Вы оба его не знаете. Он не в Москве живет.

Геннадий ответил глаза.

— Тогда считай, что разговора не было, — сказал он Вадиму. — Ну, я пошел. Будь...

— Мальчики, — сказала Ася, — мне очень трудно. А вы мои друзья. Почему вы не спросите, что со мной?..

...Уже несколько раз в комнате появлялась мать Вадима, ужасалась, что опять так накурено, требовала, чтобы Вадим перевел гостей в столовую и напил чаем. И уже выпит чай. И уже съедено все, что нашлось в холодильнике. И уже Ася звонила домой сказать, что задерживается, а Вадим ходил к соседям за сигаретами.

А разговор все не кончен.

Генка слушал Асину историю, как репортаж с другой планеты. И почему-то из всего, что Ася рассказывала, его больше всего задела лампы дневного света в семинарской библиотеке.

— Богу молятся, науку отрицают, а современной техникой, между прочим, пользуются!

— Ты только не упрощай, — сказал Вадим, — не отрицают они теперь ни науку, ни технику. Это все куда сложнее.

Он стал рассказывать, как современная церковь относится к новейшим достижениям науки, увлекся, и, когда помянул про кибернетические машины и космические полеты, Генка почувствовал себя сразу увереннее. Историк-то он историк, а, оказывается, с ним тоже можно поговорить! Даже о технике! Только говорит он про нее как-то совсем по-другому. А уж про машину, играющую в шахматы, сказал такое, чего Генка и не знал вовсе. И вдруг опять как-то так оказалось, что к этому разговору философия относится. А Генка привык от всего, что считал пустыми рассуждениями, отмахиваться: ну, это все ерунда, философия!

Ребята не заметили, что уже давно ушли в разговор от того, о чем рассказала Ася. Они то спорили, то соглашались друг с другом, то говорили каждый про свое... Ася молча слушала, старалась запомнить этот разговор, чтобы пересказать его когда-нибудь Павлу, сердилась на себя, что знает меньше мальчишек. Но когда Вадим сокрушенно признался, что, сколько ни напрягает воображение, никак не может себе представить ускорение времени, о котором пишут в связи с фотонными ракетами будущего, при котором человек, улетающий с Земли, проведя в ракете несколько лет, вернется на Землю через несколько столетий, — она перебила его:

— А как же мне все-таки быть, мальчишки?

— Да, действительно, это тоже сложный вопрос, — сказал Вадим, — прямо не знаю, что тебе посоветовать.

— А я знаю! — выпалил Генка. — Столько людей вокруг, а тут — пол! Плюнуть и забыть!

— Постой-ка, — сказал Вадим. — Уж очень ты сплел! Я понимаю так. Ася его любит. Почему любит? Ей виднее. Ведь не потому, что он поп или собирается стать попом, это уж, во всяком случае,

ясно. — Он повернулся к Асе. — Видишь ли, дружок, если разобраться, тут есть две стороны...

— Правильно, — перебил Генка, — две! Если уж так получилось, этому парню ты должна сказать: вот бог, вот я — выбирай! А так, чтобы вместе — и нашим и нашим, — этого не получится. Не бросишь свою охмурыловку, мы с тобой больше не знакомы.

Вадим улыбнулся. Геннадий сказал это точно так же, как недавно предлагал, чтобы они потребовали у Аси выбора между ними двумя.

— Аргументация сильная, — смеясь одними глазами, сказал Вадим, — но уж счень личная. И даже если ее принять, по-моему, Асе будет не просто сказать этому человеку: бросай семинарию, или мы с тобой больше не знакомы. Так, Кипятюк?

Ася молча кивнула головой. Говорить было трудно. На глаза навернулись слезы. Ребята сделали вид, что не замечают этого, но сами опять смутились.

— Тогда ты, по-моему, правильно решила, — сказал Вадим после паузы.

— Это что же, по-твоему, правильно? Убеждать его, уговаривать? Много чести! — возмутился Геннадий.

— Но ведь она его любит.

— Тогда, конечно... Тогда другое дело. Только у меня как-то в голову это не влезает. Рыжик влюбился в попа! Я с вами совсем запутался.

— Он еще не поп, — тихо сказала Ася.

— Ну а кандидата. Все равно! — сказал Генка, но, поглядев на Асю, замолчал.

— А вот убеждать его будет не просто, — медленно, озабоченно протянул Вадим. — Вы, братцы, извините, я не хочу, чтобы показалось, что я лекцию читаю, но ведь какой будет толк? Он будет говорить: «Бог есть!», Кипятюк будет говорить: «Бога нет!» Нет! Тебе придется с ним о самых основах мировоззрения спорить... Конечно, если вы друг друга любите, — вдруг перебил он сам себя... — Нет, все равно. Это, может, еще труднее. Словом, тебе и самой для этого прочесть кое-что придется. Я подумаю, составлю тебе список.

Генка засмеялся.

— Едет наш Рыжик на свидание, а перед свиданием сидит в читалке и конспектирует научные труды. Порядок!

— Я понимаю, что это странно, — сказал Вадим, — но...

— Совсем это не странно, — перебила его Ася, — обязательно составь мне этот список. Обязательно! А ты, Генка, напрасно думаешь, что стоит сказать «порядок» — и все решается. Человек все-таки посложнее телевизора, вот!

И Ася выбежала из комнаты.

— Обиделась! — встревожился Геннадий. — Чего-то я ляпнул.

— А может, я? — сказал Вадим.

Оба кинулись на лестницу.

Ася стремительно поднималась к себе.

— Асюта! — крикнул Вадим. Лестница загудела. — Ну, куда ты, Кипятюк?

А Генка, перепрыгивая через три ступеньки, догнал Асю на том самом этаже, где когда-то увидел ее первый раз, схватил ее за руку и сказал:

— Я болван, не спорь, пожалуйста, болван! Ну, а как все-таки этот мальчишка, который в церкви? Про него ты забыла? Может, сходим к нему?

— Обязательно, — сквозь слезы сказала Ася. — Завтра же и пойдем.

— Заметано! — обрадовался Геннадий. — Раз уж так получилось, Рыжик, давай, что ли, действительно будем друзьями. Не оставлять же тебя одну на этом пола. А может быть, ты все-таки передумаешь и



«— Видишь ли, дружок,— сказал Вадим,— все дело в том, что ты легка на помине. Мы говорили о тебе» (стр. 41).



«...Море мыслей, с которыми я не могу совладать, захлестывает меня, но теперь я не молчу, я кричу: «SOS! Спасите наши души!» (стр. 46).

плюнешь на эту историю?! Я опять, кажется, не то говорю. Не сердись на меня, пожалуйста.

— Я не сержусь.— И Ася протянула ему руку.

— Ну и дела! — сказал Геннадий Вадиму, спустившись вниз.— Запомни, при тебе говорю, при свидетеле: если этот папа римский ее обидит, я его из-под земли достану, я ему покажу, на чем свет стоит и во что надо верить! Ну, будь...

Он ушел. А Вадим вернулся к себе, раскрыл книгу об альбигойцах, над которой его застал Генка, и попробовал читать дальше.

Смешной парень! Вот я, вот он, выбирай! А я уже выбрала. Только вы, мальчики, тут ни при чем. Все правильно! Но почему-то обидно... Ах, Кипяток, Кипяток, как же это?..

«Спасите наши души!»

— А вы Сотичевым кто, родственники? — спрашивали Асю и Геннадия.

Их спрашивали об этом в школе, где числился и куда не ходил Миша Сотичев; в жилищной конторе, где мать Сотичева работала лифтершей; в больнице, где несколько лет назад лежал Миша и где недавно открылось отделение, в котором лечат последствия детского паралича. Спрашивали об этом и в разных других местах, куда они ходили, чтобы узнать, как быть с мальчиком. Мать его тяжело заболела, других родных нет, и его опутали какие-то люди, сумели внушить ему, что он калека, что ему не учиться нужно, а в церковном притворе сидеть, о выздоровлении молиться, милостыню собирать...

Спрашивали по-разному: где с интересом, где с удивлением, где раздраженно.

Ася взрывалась сразу:

— Какое это имеет значение?

Геннадий ее останавливал:

— Подожди, Кипяток.— Он перенял это прозвище у Вадима. Он вообще за это время многое перенял у Вадима.— Я сейчас все товарищам объясню.

И он объяснял. Если с матерью Сотичева, которая тяжело больна, что-нибудь случится, нельзя допустить, чтобы мальчика стала опекать некая гражданка Мария Степановна Филимонова, продавщица из овощной палатки, да и сейчас нужно сделать так, чтобы она не могла больше влиять на мальчика. А она каждый день крутится в квартире Сотичевых; уходя, оставляет с ним какую-то старуху, которая водит его с собой в церковь. А когда они — Ася, Вадим или Геннадий — хотят проведать мальчика, перед ними захлопывают двери. Степановна кричит на весь двор, что не допустит всяких там хулиганов и безбожников в узких брючках к убогому сироте, не позволит, чтобы его от церкви отвращали. Иначе, как «убогий», она мальчика и не называет и уже по двору всем открыто говорит, что, когда его мать умрет, будет опекуницей, поселится в его квартире. Сироту не выселят, а ей забота о сироте зачтется.

— Нужно вырвать мальчика из-под этого влияния, — заканчивал Геннадий. Он гордился этой фразой. Она была обдумана всеми тремя вместе. Именно так — вырвать! А потом сделать для него такое, чтобы мальчишка навсегда забыл, что он калека. А может, и в самом деле теперь его ногу вылечат! Для этого, наверное, нужно устроить его в больницу. И заниматься с ним все лето, чтобы он догнал класс. И с осени в интернат определить.

— Ну, это без вас решат, — сурово сказала им секретарша в райисполкоме. — Насчет опекуинства, ин-

терната и вообще. Все-таки вы ему не родственники!

— Ошибаетесь, родственники, — упрямо возразил Геннадий. — Ближайшие. Между прочим, вы, девушка, тоже ему родственница.

— То есть как? — удивилась секретарша.

— А так! Вот у вас на кофточке комсомольский значок. Мы тоже комсомольцы. А он пионер. Вы о таком родстве ничего не слышали? А надо бы!..

— Здорово ты ей сказала! — восхитилась Ася, когда они вышли на улицу, получив от растерявшейся секретарши заверение, что по вопросу о Михаиле Сотичеве их обязательно вызовут в исполком.

— По-моему, неплохо, — скромно согласился Геннадий. — Правда, мне самому это только сейчас в голову пришло. Что такое, допытывается и допытывается, по какому праву мы с тобой этим занимаемся! А если не родственники, значит, это нас уже не касается? А у меня, может, характер такой, я хочу, чтобы меня все касалось. Тогда как? — Он засмеялся. — Что это я на тебя кричу? Ты-то со мной ведь согласна.

Было нелегко после работы застать тех, с кем нужно было поговорить о Мише Сотичеве, собрать все справки, подписать все бумаги. Никогда раньше Геннадий и Ася не проводили столько времени вместе.

— Я вижу, Павлу дана окончательная отставка? — сказала Марина. — Понятно. В общем, поздравляю. Лично мне Геннадий гораздо больше нравится. И одевается он со вкусом.

Нет, ничего Марине понятно не было. А объяснять слишком долго, да ей и не до того. В конце июня они со своим Петей собирались расписаться и уехать в Крым, так что она больше ни о чем и говорить не могла по-настоящему.

А Павлу совсем не была дана отставка. Ася думала о нем все время, особенно в последние дни. Вот уже неделю она носила с собой, читала и перечитывала письмо, которое получила от него и на которое не знала, как ей ответить.

Письмо было длинное, на многих листках, и написано, видно, не сразу: разными чернилами и даже меняющимся почерком. Казалось, что Павел писал то медленно, старательно выписывая слова, то, не поспевая за своими мыслями, начинал торопиться.

«Дорогая Ася!

У меня все по-прежнему. Каждый день одно и то же: молитвы, занятия в классе, снова молитвы, приготовление уроков, подготовка к переходным экзаменам. Я уже привык к здешнему распорядку — все-таки много времени позади. А тебе, когда я рассказывал, все показалось так удивительно и даже смешно. И мне тоже много кажется опять странным, как в самые первые дни. Недавно у нас был большой праздник: на колокольне трезвон, во всех церквях хоры пели — и наш семинарский, и академический, и любительский. Гости, речи, проповеди. Знаешь, даже красиво, как в театре, но я смотрю на это, ищу в себе благоговения, а его нет.

Я все это время думаю о тебе: ты, наверное, обиделась, что я при всех не подошел к тебе тогда, а послал Добровольского, и потом тебе еще долго пришлось меня ждать. Вообще-то к нам не в саму семинарию, но в лавру приходят девушки. Они приходят обычно в церковь, в которой мы поем, или ждут в саду, когда будем проходить мимо из церкви в общежитие. Есть среди них просто любопытные, а есть которые хотят познакомиться с выпускниками. Они знают, что нам обязательно полагается жениться, иначе не дадут назначения на приход. У этих, которые ищут женихов, даже заведено что-то вроде формы. Появляются они во дворе лавры обязательно

в скромных платочках и плащах-пыльниках, и мы уже знаем: невесты пришли показываться.

Если бы я с тобой не встретился, мне тоже рано или поздно пришлось бы выбирать из них. И чтобы девушка была из хорошей семьи. Только здесь это значит не то, что всюду. Чтобы девушка была из семьи верующих. А мне и раньше девушки, которые к нам приходили, не нравились. А уж когда я с тобой познакомился!.. Ты совсем не такая. Ты и ходишь не так, и говоришь не так, и смеешься не так.

Конечно, не все из этих девушек верят, многие по расчету ищут женихов, а скромные пыльники — это только временная форма, куда с мужем на приход не поедут. А ты не станешь прикидываться. И креститься тоже не согласишься. А ведь твоего имени в святцах нет. С таким именем венчать не будут. Венчаться ты тоже не пойдешь, хотя это очень красивый обряд. Что правда, то правда. Значит, мне нужно отказаться от надежды, что будем вместе. А я отказаться от этого не могу. Мне все кажется, что все само как-нибудь устроится.

Нет, не устроится.

Я побоялся тебя знакомить со своими однокашниками. Знал, что ты можешь сказать им что-нибудь такое, как мне... Сказать, что думаешь.

Опять испугался, скажешь ты. Да, испугался. Все-таки у меня уже год пропал после школы, теперь я в семинарии уже сколько времени... Если меня исключат? Что я буду тогда делать дальше?

«Но если останусь? В чем будет смысл моей жизни? В том, чтобы каждый день проводить по «Служебнику» или «Гребнику» богослужение? И говорить людям, что я этим спасаю их души?»

Правда, я никак не могу забыть, что когда у матери было горе — отец болел или я, — она шла в церковь и возвращалась оттуда, как будто ей легче становилось. Добровольский мне как-то сказал: «Говорят: «Религия — опиум», а опиум в определенных дозах — лекарство, снимает боль. Не замечал? Пришла твоя мать в церковь, заплакала, помолилась, свечку поставила, записочку написала за упокой твоего отца да за твое здоровье, — и спокойна».

«Так это же, — говорю, — наркоз». Отвечает: «А попробуй-ка, предложи врачам наркоз». Он уже совсем со мной не стесняется: знает, я не побегу на него доносить. Да он здесь на таком счету, что ему это не страшно.

А вот против меня у начальства нашего немало всего есть. Особенно с тех пор, как я встретил тебя.

Ты спросишь: откуда у меня мысли, что меня могут исключить? Память у меня хорошая, наизусть заучивать мне нетрудно. «Символ веры состоит из двенадцати частей и составлен на двух вселенских соборах...» «Греховное состояние человека имеет несколько ступеней: страсть, привычка, порок, смертный грех...» «Молитва есть благоговейное возношение ума и сердца к богу, выражаемое словами и благоговейными действиями: возведением очей на небо, крестным знамением, преклонением головы и колен на землю...» «Кланаясь перед иконами, мы должны помнить, что кланяемся не доске и не краскам, но тем лицам, которые на них изображены...» «Жизнь христиан в церкви — это прежде всего живая вера в бога и в искупительный подвиг сына божия...» И так далее. И так далее.

Я могу все это без запинки сказать наизусть, как нас учат. Молитвы тоже знаю наизусть, хотя в них много непонятных слов.

Так что я вполне могу быть отличником в семинарии. Я и был им сначала, даже повышенную стипендию получал, потом с повышенной сняли. Я как раз

тогда задал вопрос про то, как понимать триздинство бога, которое невозможно себе представить.

Вот я и сейчас пишу тебе это письмо в нашей читальне, а как дошел до своих сомнений, мне стало страшно, что кто-нибудь заглянет через плечо и увидит, о чем я пишу. В семинарии не любят сомнений. Но я все-таки не удержался и спросил, как примирить несправедливости и жестокости, которые происходят в мире, с учением о божественном промысле? То есть о том, что все в мире совершается по воле бога. Значит, дети, которые мучились и погибли от голода и бомбежек во время последней войны, тоже погибли по воле божьей? Как усмотреть в этих ужасах или даже в гибели моего отца мудрость, милосердие и всемогущество божье? Это я спросил. Мне сказали, что люди с их несовершенным человеческим умом божественному промыслу не судьи. И еще: что сомневающиеся испокон века пытаются поколебать веру именно этими наивными вопросами, но вопросы остаются вопросами, а вера стоит нерушимо. Потому она и есть вера, что в ней не все можно понять разумом. Такие сомнения нужно не рассуждениями разрешать, а смирять молитвой.

Я понимаю, тебе будет странно прочесть это, но я пробовал поступать так. Переставал думать и рассуждать и начинал поститься, по сто поклонов отбивал, по две — три службы подряд проставал. Начальство радовалось, что я от сомнений перешел к такому. У нас это называется «ревность по бозе». Но мне это не помогало.

А недавно у нас зашел на уроке разговор об искусственных спутниках. Мы не сами его начали, а наш преподаватель пожелал объяснить, как толковать все, что связано со спутниками, в беседах с прихожанами, если они заинтересуются.

«Спутник взлетел в небо, но вернется на Землю прахом». Это, говорит он, сказать, конечно, можно, но это будет примитивно. А вот объяснение посложнее: спутник взлетел в физическое небо, которое изучает астрономия, но не в духовное, которое живет у человека в душе и подчиняется богу. Религия и наука — это две разные книги. В одной человек ищет знания, в другой — веру...

Знаешь, мне это объяснение даже понравилось, и на другом уроке я решил его развить. Был урок священной истории. Я и сказал, что сотворение мира по библии следует понимать символически. Тем более конец света. Нельзя же буквально представить себе, как пишется в библии, что небо — кожа, которая свернется в свиток, и с него упадут звезды. Это сейчас и в проповедях мало кто сказать решается: уж очень наивно. И нельзя же оспаривать данные геологии и астрономии. Но их и не надо оспаривать: это из другой области. Но наш преподаватель этого предмета — старик упрямый и все, что написано в библии, толкует в самом прямом смысле. Опять были неприятности.

А я просто не могу скрывать свои сомнения. Это даже нечестно, по-моему.

После того, что ты рассказала, как была в церкви, я тоже пошел в церковь. Не в наш собор, где все очень торжественно, и не в семинарскую церковь, а в самую обычную, на кладбище, в такую, где мне когда-нибудь предстоит служить каким-нибудь восьмым или девятым священником. Хотя вряд ли. Кладбищенские церкви очень доходные, а я уже не на таком хорошем счету, как был вначале. В церкви отпевали. Все время, пока священник отпевал, родственники собирали деньги, подходили, говорили ему что-то на ухо, он отвечал им обычным голосом, потом снсва пел, а они снова собирали деньги...

Если б ты только знала, сколько в семинарском общежитии говорят о деньгах, о выгодных приходах, о том, как делится кружечный сбор, и о том, как его увеличить!

А сколько рассказов о молодом священнике, который всего лет пять как окончил нашу семинарию, уехал с одним чемоданчиком и книгой, которую ему дали в премию на выпускном акте, а теперь у него дом, сад вишневый, машина.

Про сложное, например, про противоречия в Библии, я преподавателей больше не спрашиваю и с товарищами об этом тоже не говорю. Это мало кого интересует: в приходе такие тонкости и не понадобятся вовсе. Но о житейском, о понятном я однажды спросил: как помирить требование нестяжательности, которое нам постоянно повторяют в проповедях, с тем, что в церкви все время собирают с людей деньги?

Я тебе уже говорил: у нас много фискалов. Об этом разговоре донесли. Было сказано, что я заслуживаю сравнения с непочтительным Хамом, открывающим наготу отца, и что если так пойдет дальше, меня могут и исключить. Здесь у нас не полагается сомневаться, здесь все сомнения гнетутся, их скрывают, чтобы про них не узнали. И Добровольский меня уже много раз остерегал.

И тут я подумал: пусть исключают! Так даже лучше будет. Но что тогда? Вернуться домой? Чтобы там на меня показывали пальцем? Городок у нас маленький. И все уже знают, что я в семинарии. Но это не главное. Почему все-таки когда мой отец был на фронте и от него не приходило писем, мать находила утешение в вере? А знаменитые ученые, которые верили в бога? И почему христианство существует столько веков, и почему сейчас столько людей ходит в церковь?

Ты можешь удивиться, что я тебе задаю эти вопросы. Я их не тебе задаю, я их себе задаю. Пока что я не нашел на них ответа, но надеюсь.

А мать до сих пор ждет, что я одумаюсь. Смешно так один раз написала: «Я даже молилась за это». Записочку в церкви подала: «За здравие заблудшего Павла». Священник спрашивает: «Почему это он заблудший? Сколько я слышал, он на ниве духовного просвещения». Мать объяснила, что не рада этому. Большое у них недоумение вышло!

Я пишу тебе про все сразу. Как приходит на ум. Когда у меня начались сомнения в смысле жизни, мне надо было звать на помощь: «SOS!» Я только недавно узнал, что это значит: «Спасите наши души!» А я решил, что сам все найду и все пойму...

И мне все чаще кажется, что я не там ищущий. Море мыслей, с которыми я не могу совладать, захлестывает меня, но теперь я не молчу, я кричу: «SOS! Спасите наши души!»

Ведь я не один такой. Здесь, конечно, больше таких, как Добровольский, расчетливых карьеристов. Есть тут и святоши. Приходишь с таким в умывалку, видишь — он под одеждой весь увешан иконками, ладанками. Таких я боюсь. А есть просто совсем темные ребята. Из каких-нибудь недавно глухих деревень Западной Украины или Западной Белоруссии. Такой парнишка ничего-то толком не читал, ни над чем не задумывался. Отец у него был священник, и дед — священник, сам он пел с детства в церковном хоре, прислуживал понемногу. Так оно и пошло. Покуда у таких никаких вопросов, никаких сомнений. Вызубрить бы все, только чтобы не выгнали, чтобы не остаться без хорошей профессии. Но и у них сомнения появятся.

Ведь наша семинария не одна. А сколько в каждой

молодых людей? А сколько их у баптистов? Нам горючили об этом. Специальную лекцию читали: «История и обличение сектантства». Очень страстная была лекция: еще бы, речь шла о конкурентах! И снова у меня возник вопрос: православные, адвентисты, баптисты, старообрядцы, пятидесятники, квакеры, иеговисты. Все говорят о боге, и все спорят из-за бога. Неужели бог сам не мог за себя постоять?

К кому я обращаюсь? Не знаю. Но только «SOS! Спасите наши души!».

Ответишь ли ты мне на это письмо? Даже если не ответишь, я никогда не забуду, что ты сама ко мне приехала. Ничего не забуду, даже если мы не сможем быть вместе.

Не сердись, не презирай меня за то, что я тебе дал адрес «До востребования». Теперь ты знаешь, где я учусь, где я живу. Это для меня большое облегчение, что ты уже знаешь правду. Но если будешь отвечать, пиши пока все-таки до востребования. Так будет лучше».

Несколько последних строк были тщательно замазаны чернилами. Ася долго пыталась разобрать их. Ей казалось, что там и написано самое главное.

...Она прочитала письмо раз, другой, третий. Как все-таки странно! Ведь то, из-за чего мучается Павел, — об этом люди спорили в дзенопрошедшие времена, о которых пишут в учебниках и исторических романах. Это все мертвое, давным-давно мертвое! Ей казалось, что она ясно представляет себя, как нужно ему написать, но на бумаге ответ не получался, хотя теперь она знала уже побольше о том, о чем писал Павел. Оказалось, что книги, которые ей посоветовал Вадим, не так уж скучно читать, когда мысленно применяешь их к истории Павла. Но все-таки как ему ответить? О чем ему написать? О том, что будет с ними двумя, или о том, как ему поступать со своими мыслями? Поколебавшись, Ася снова пошла к Вадиму.

Вадим готовился к сессии. Он приходил из библиотеки, ужинал, едва замечая, что ест, садился на диван, сложив ноги по-турецки, листал свои бесконечные конспекты. А Генка, который теперь много времени проводил у Вадима, приспособившись на подоконнике, потрошил его старый приемник. При этом он ворчал:

— Как можно изучать всякие там средние и полусредние века, — это, допустим, ты мне объяснил. Но как можно пользоваться средневековым радиоприемником?! Но эту машину я доведу до ума!

Он работал молча, как всегда насистывая песенку, пойманную в эфире. Потом он глядел на часы:

— Эй, заучившийся! Перерыв! Что предпочитают историки: пятнадцать минут гимнастики или вольную борьбу без срока и до результата? Второе? Тогда снимай свои окуляры!

В один из таких перерывов Ася постучала в дверь к Вадиму. Она услышала пыхтение и странный возглас: «Жми!» Полагая, что это относится к ней, она вошла и, не понимая, что происходит, кинулась разнимать ребят, которые катались на крохотном ковре между письменным столом и диваном.

— Какой захват испортила! — огорчился Вадим. — Сейчас бы я его припечатал.

А Генка, глядя снизу на гневное лицо Аси, расхохотался:

— Не пугайся, Рыжик! Отвергнутые приветствуют тебя! Я беру реванш за очередное поражение на шахматной доске.

Вадим возмутился:

— Во-первых, ты перевираешь историческое изре-

чение, а, во-вторых, разве это называется реваншем? Если бы Ася не вошла...

— Ладно,— сказал Геннадий,— согласимся, что это была ничья.— Он встал, отряхиваясь.— Мы просто проверяем, крепко ли сидят у него даты. Которые после тур-де-тет выскакивают, те надо учить снова.

Ах, если бы можно было привести сюда Павла, в эту комнату с распотрошенным приемником на окне, с грудями книг на диване и стульях!

— Что нового?— спросил Вадим.

А Генка не удержался:

— Кто победил в идейном споре с любимым человеком? Или у вас тоже ничья?

— Я вижу, у вас хорошее настроение,— сказала Ася.

— А почему ему быть плохим?

Действительно, почему ему быть плохим? Не могут же ее друзья из-за того, что происходит с ней, ходить с похоронными лицами!

Она начала читать ребятам письмо Павла, часто останавливаясь и говоря:

— Это, наверно, неинтересно, тут я пропущу.

Но Вадим запротестовал:

— Интересно — неинтересно! Это важно! Читай все!

— Кроме личного,— добавил Геннадий, который вдруг как-то помрачнел.

— Такого здесь почти нет,— сказала Ася и снова подумала про зачеркнутые строки.

Наконец она дочитала письмо.

— Смотри-ка, как рассуждает! — сказал Геннадий без всякого восторга в голосе.— Порядок!

— А я порядка не вижу,— озабоченно возразил Вадим.— Что из этого письма следует? Что он начинает разочаровываться в семинарии и что находит противоречия в наиболее несообразных догматах. Это немало, но это еще не все. Ох, придется тебе еще с ним, Кипяток, помучиться!

Он встал и заходил по своей крохотной комнатке.

— Вы поймите,— сказал он,— разве в том дело, какие ему встретились попы: идейные или безыдейные, жадные или бескорыстные? Идейные, если хотите знать,— это еще хуже. И не в том дело, какая религия,— так ты ему и скажи,— православная, католическая, иудейская, магометанская. Дело в главном: все религии едины в одном. «Разум отвергну!» — говорит библия. «Сокровенного не ищи, тайного не исследуй» — говорит талмуд. «Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума!» — поют баптисты. Так с кем он: с теми, кто хочет знать, понимать, исследовать, или с теми, кто говорит: «Бедный разум, ничего тебе понять не дано, тебе надо верить!»?

Ася знала, что Вадим умный, но сейчас она вдруг увидела, что у него сильное лицо! А Генка улыбнулся.

— Ты чего? — спросил Вадим, не dokonчив своего рассуждения.

— Жалею! Магнитофона с собой не захватил. Записать бы твою пламенную речь на пленочку и ему отправить. Во-первых, очень хорошо у тебя получается, а, во-вторых, представляешь себе эффект: приходит он в общежитие и запускает пленку с твоей речью. Попы все в обмороке, а семинаристы послушали — и тут же перековались! Нет, без шуток, разве Рыжик так напишет? Ты ему сам все это напиши. Заметано!

— По-моему, Павел Милованов ждет письма не от меня, а от Аси,— рассудительно сказал Вадим.

...Ребята проводили Асю, которая сказала, что еще подумает, как ответить Павлу, и вышли во двор. На скамейках, тихо переговариваясь, сидели пенсионе-

ры. Во дворе сухо щелкал мячик настольного тенниса: в него играли даже при свете фонарей. Отцы семейств, выйдя на балконы в пижамах, поливали из детских леек цветочную рассаду, высаженную в ящики.

— Смотри, уже настоящее лето,— сказал Геннадий.

А Вадим ответил невпопад:

— Он, наверно, по-настоящему любит Асю, этот семинарист. Но, кроме того, она для него... как бы это тебе сказать... все живое, все настоящее, то, от чего он ушел. Понимаешь?

— Как не понять! — сказал Геннадий.

— А если бы он с ней не встретился?.. — вслух продолжал рассуждать Вадим.

— Если бы он с ней не встретился, тогда в такой вечер я бы не с тобой тут стоял. За это ручаюсь! Ну, будь...

Вначале было дело!

Прошло еще несколько дней. Письмо Павлу, много раз начатое, перечеркнутое, все еще не было отправлено. А он не приезжал и не звонил: видно, ждал ответа, а может, ему некогда было, у него тоже шли весенние экзамены.

В эту неделю Ася работала во вторую смену. Перед работой она пришла в комитет комсомола — попросить Катю Волохину еще раз позвонить в исполком насчет Миши Сотичева. Они быстро обо всем договорились, но Ася задержалась. Пришел Савиных, который написал басню про бесчувственную машинку и теперь искал слушателей. Потом они вместе с Сергеем вышли из комитета. Катя внимательно посмотрела им вслед, но сказала только:

— Заходи, Конькова, если что, советуйся.

— Вот я и хочу посоветоваться,— неожиданно для себя самой выговорила Ася, когда они проходили по двору.

— Со мной? — удивился Савиных.— Со мной больше ребята советуются. Ну, коли со мной, давай сядем. На ходу я стих могу сочинить, советовать я на ходу не умею.

Они сели на скамейку возле топольков, которые осенью сажали вместе во время субботника.

— Не знаю даже, с чего начать,— сказала Ася.

— С начала,— ответил Савиных.

...Слушая Асю, он хмурился, ерошил волосы. Казалось, что он не то недоволен тем, что она рассказывает, не то ему трудно слушать. Но когда она замолкала, Савиных смотрел на нее очень внимательными глазами. Видно было, ждет.

Ася кончила говорить. Он встал во весь свой рост, молча прошелся вдоль скамейки,— Ася поворачивала вслед за ним голову,— затем сел рядом с ней и сказал решительно:

— Ясно!

— Ясно? — удивилась Ася.

— Не то ясно, какое письмо ему написать. Ты, почему раньше не рассказала? Вот что ясно. Я понимаю. Приходишь ты к нам в комитет и рассказываешь свою историю. Договорить еще не успела, что хочешь этому парню, который в семинарии, помочь, а мы решаем, что помогать нужно тебе, что ты попала под его влияние и надо тебя от него избавить. А что? Вроде правильно. Павел этот для нас никто, человек посторонний. За него мы не отвечаем. За тебя отвечаем. Не читала недавно в «Комсомолке» статью: полюбила девушка одного бывшего уголовника — ты, конечно, не думай, я не сравниваю... Он

уже на ноги становился. Решила она замуж за него выходить. А ее в комитет комсомола вызвали и советовали. Считали, что позаботились о ней. Нет, я думаю, мы бы так не решились. Мы бы поумнее решились... Я это, знаешь, когда понял? Когда надумали мы бороться за звание коммунистической бригады, и было предложение: двух парней — да ты их знаешь! — вывести из нашей бригады, потому что с ними нам до этого звания не дотянуться. А потом подумали-подумали: нет, что-то не то решаем. Так что с тобой тоже так бы решать не стали. А на письмо как ответить? Сколько места занимают книги, которые тебе историк твой знакомый посоветовал, если поставить их рядом? Наверное, полку. Разве это в одно письмо упишешь? Нет, ты не думай, что я против его совета; он тебе хорошо посоветовал. У нас в части, где я служил, парень был, — представляешь, молодой, моего года, но из сектантов. Такая меня брала досада! Как заведусь с ним спорить, понимаю, что во всем прав, а чего-то мне для спора с ним не хватает. Так что это он тебе верно посоветовал. Но и неверно тоже. Ты сама говоришь: твой друг запутался. И ты решила теперь эту путаницу словами распутать. Только одних разговоров, чтобы он все это понял, мало. Даже самых умных. «Вначале было дело!» Слыхала такое изречение?

— Это чье же? — спросила Ася.

— Философское, — веско сказал Савиних, — но я с ним согласен. Он тебе кричит: «SOS!». А ты ему собираешься на это отвечать в письменном виде. Бюрократизм какой-то получается! Идем к Катерине. Она, конечно, сначала разволнуется, что ты ей сразу всего не сказала, а потом будем держать совет: не что писать, а что делать...

...Чтобы успеть разыскать Павла в лавре и вернуться в город, не опоздав на работу, нужно было либо с вечера выехать из Москвы, но тогда неизвестно, где провести ночь, либо с утра торопиться на самую первую электричку. Но после того, как она так долго откладывала ответ, Ася решила ехать завтра же. Когда они остались вдвоем, она попросила мать:

— Разбуди меня завтра тихонечко в полпятого утра, а?

— Куда тебе в такую рань? — удивилась Анна Алексеевна. — И когда ты объяснишь, что с тобой творится?

— Ничего плохого, кроме хорошего, — весело сказала Ася. — Вначале было дело!

В тот ранний час, когда она собиралась выехать, метро еще закрыто. Ася с вечера позвонила Генке.

— Слушай, Генка, — лукаво пропела она, — что-то ты давно не катал меня на мотороллере.

Генка обрадовался, но тут же удивился:

— Насколько мне известно, ты эту неделю работаешь вечером. А какие катания по утрам?

— А мне как раз рано утром нужно. На вокзал к поезду. Отвезешь?

— Куда это ты собралась? — спросил Генка, удивившись еще больше. А когда Ася объяснила, куда едет, мрачно предложил: — Давай я тебе лучше вызову, знаешь, такое, с шашечками, называется такси. Ты, наверно, не заметила, что на мотороллере нет багажника для вещичек?

— Для каких вещичек? — возмутилась Ася. — И с какой стати такси? Скажи просто, что не хочешь.

— А кто вас знает, может, ты его агитировала, агитировала, а сгитировалась сама. Бывает! Ну, ладно. Отвезу. Замечать!

...Когда они проезжали по проспекту, только что полному и чуть дымящемуся утренним паром, и остановились перед светофором, Ася сказала:

— Все-таки ты очень хороший, Генка!

— Это я и сам знаю, что хороший, — мрачно ответил он, — а толку что? Ты-то не меня едешь ни свет ни заря разыскивать. Но подожди. Вот не перейдет твой кандидат в попы обратно в люди, тогда мы это переиграем!

— А если перейдет? — с вызовом спросила Ася.

— Тогда тем более. Тогда мы с ним будем на равных. А так сейчас я вроде буду стараться отбить тебя у калоши, — извини, пожалуйста. Ты, может, думаешь, я сдался? Нет, мы еще повоюем! А сейчас поехали спасать заблудшую душу!..

Они приехали к вокзалу слишком рано.

— Не присмотрите ли за машиной? — спросил Генка у девушки в форменной фуражке, которая выстраивала в длинную очередь такси, прибывшие к первому дальнему поезду.

— А где машина? — пренебрежительно фыркнула она, глядя на кремовую «Вятку».

Но Генка с ходу сказал ей замысловатый комплимент, и она согласилась.

— Тактика! — скромно объяснил он Асе. — Тебя оставил в сторонке, а то бы прогнала она нас с этой стоянки. Ты сегодня завтракала? Я, например, нет. У нас дома среди ночи не кормят. Пошли, побросаем чего-нибудь в рот.

— Какой сейчас здесь завтрак? — удивилась Ася.

— В этот час только на вокзалах и завтракать. Надо знать любимый город.

Он провел Асю в зал ожидания к тележке с кастрюльками и скормил:

— Пирожки четырежды и кофе по стакану.

— Очень вкусно! — похвалила Ася.

Днем эти пирожки есть не стала бы, — заметил Генка. — Через два часа они превращаются в обыкновенную резину. А сейчас ничего. Мы, может, еще и газету успеем до твоего поезда купить. А то вдруг там написано, что бог есть, — и ты зря едешь.

Газетный киоск оказался еще закрытым, и они пошли обратно. Ася заторопилась, до поезда оставалось мало времени. Вдруг она резко остановилась.

— Ты что?

— Кажется, мне действительно не нужно ехать, — сказала Ася. — Это ой.

На скамейке зала ожидания дремал Павел.

— Кто? — не понял Генка. Наверно, потому не понял, что мысленно представлял себе Павла в рясе или, во всяком случае, чем-то отличающимся от обычных людей. А тут был просто очень длинный парень в самом обыкновенном плаще, и лицо такое, как у всякого человека, который провел ночь на вокзале, — заспанное и неумытое.

— Как ты не понимаешь! Павел! —

— Он? — изумился Генка. — Интересно! Он, оказывается, вдобавок еще и бродяга. Ну, что ж, подойди, разбуди его. А я поеду.

— Нет, постой, — попросила Ася, — не уходи.

Генка, подчеркивая свой нейтралитет, подошел к щиту со вчерашней газетой.

Ася тронула Павла за плечо. Он вздрогнул.

— Ася? Ты здесь? Почему?

— А ты почему? Я собиралась ехать к тебе. Что случилось? Ты ушел из семинарии?

Павел покачал головой:

— Нет. Пока еще не ушел.

— Тебя исключили?

— Пока еще не исключили. Просто я вчера попросил разрешения поехать в город и паспорт свой по-

просил, сказал, что хочу записаться в библиотеку. Мне ответили: все, что вам нужно, есть в нашей библиотеке. Тогда я сказал, что мне все равно надо в город, у меня есть дела, знакомые есть. Мне ответили, что мои знакомые на меня дурно влияют и что я должен выбирать себе других знакомых. Тогда я сказал, что с разрешением или без разрешения, с паспортом или без паспорта, но сегодня вечером я все равно уеду. «Опоздаете, не впустим, будете ночевать на вокзале!» — это с насмешкой такой мне сказали. А я ответил: «Да, на вокзале!». Вот и ночевал на вокзале, и, знаешь, ничего, неплохо. А теперь и ты тут оказалась.

— Предопределение? — засмеялась Ася.

— Обыкновенная счастливая случайность, — ответил Павел.

Ася подозвала Геннадия, который церемонно представился:

— Никонов!

Но когда она заставила Павла рассказать, как он хотел уехать и как его не пускали, Генка оживился.

— По-моему, — сказал он, — вы поезжайте к себе обратно, поскольку вещи у вас еще там остались, а я сегодня отпущусь с работы пораньше и приеду за вами. Конечно, багажника у меня нет, но небольшой чемоданчик к мотороллеру приспособить можно. Представляете эффект: идут все эти ваши попы, — извините, конечно, если я их не так назвал, — а тут я въезжаю в ворота, разворачиваюсь, хватаю вас с чемоданчиком, и... пишете письма, шлите телеграммы!..

Ася перебила:

— Ну, это ты, Генка, посмотрелся каких-то картин. Что он, невеста, чтобы его похищать! Тут вопрос серьезный. У него еще там все документы остались.

— Невеста, действительно, не он, — не удержался Генка. — Но главное, вы-то сами решили или не решили?

— Не знаю, — ответил Павел.

— Понимаю, — сказал Генка, — пока вы разочаровались в семинарии и начали сомневаться в самых несообразных догматах. Это немало, но это еще не все.

Павел с изумлением посмотрел на Генку. Он никак не ждал, что в зале московского вокзала, где он провел ночь, в пять часов утра ему придется встретить Асю с каким-то парнем, который изъяснит немедленную готовность умыкнуть его на мотороллере прямо с семинарского двора и скажет такое про его сомнения в догматах.

— Ну, что мы тут стоим! У этого вопроса есть две стороны. Поговорим на улице, — предложил Геннадий. — Пошли.

Эпилога не будет!

Жарко. Почти как в Крыму, куда со своим Петей уехала Марина и откуда пришла открытка. У Андрея кончились занятия в школе, он готовится ехать в лагерь, а пока целыми днями пропадает со своим этюдником в зоопарке. На всех углах стоят очереди к бочкам с квасом. Фанерные щиты на автобусных остановках сообщают о продлении маршрутов до водных станций и пляжей.

На дорожках большого парка все белым-бело от тополиного пуха.

— Как дела, Миша? — спрашивает Ася худенького мальчика в большой полосатой пижаме.

— Порядок! — отвечает он любимым словом Геннадия.

Ася приезжает сюда иногда одна, иногда вместе с Геннадием. К ним привыкли и уже больше не спрашивают, родственники ли они Сотичеву. Вадим собирается в экспедицию со старшекурсниками.

...В семинарии закончились экзамены и состоялся торжественный выпускной акт. Молодым священникам были вручены дипломы, отличникам — книги духовного содержания с назидательными надписями на первой странице. Была произнесена традиционная речь о предстоящем служении, о нестяжательной пасторской жизни, которая будет для будущих иереев лишь приуготовлением к иному, горнему миру.

Семинаристы младших групп разъехались на каникулы. Особо успевающие — на экскурсии по святым местам. Старшие — на богослужебную практику. Григорий Добровольский в качестве секретаря при одном церковном лице поехал в заграничную командировку.

В канцелярии уже несколько дней лежит билет для семинариста Павла Милованова, которому надлежит проходить практику в одной из церквей соседней области. Но он почему-то не приходит за этим билетом.

...В один из последних дней жаркого июня молодой человек, худой, неуклюжий, в черном кителе, застегнутом до горла, в черных брюках, — его костюм выглядит странно на улицах, пышущих жаром, — неуверенно зашел в заводскую проходную.

— Мне тут пропуск должен быть, — сказал он в окошечко, — только у меня пока вот что вместо паспорта.

Вахтер покрутил в руках удостоверение воспитанника духовной семинарии и удивленно спросил:

— Вы в какой же цех?

— Приехал! — услышал Павел звонкий голос Аси. — Идем скорее, наши тебя уже ждут.

— Волохина, секретарь комитета комсомола, — сказала Катя и протянула Павлу руку. — Садитесь, товарищ Милованов.

— Садитесь, Павел, — говорит Сергей Савиных. — Сейчас мы потолкуем.

Павел ждет, что с ним будут сейчас говорить о том, о чем он писал в письме к Асе. Он приготовился спорить. С кем? С Асей? С самим собой? С Асиными товарищами, о которых она ему рассказала? Он и сам не знает. У него приготовлена только одна фраза. «Определить убеждения — это не просто, — скажет он, — я еще многого не решил. И я еще не поступать к вам пришел, поговорить...»

Но он не успевает всего этого сказать. Катя Волохина говорит ему так:

— Мы в курсе дела. Так что рассказывать всего сейчас не нужно. Вы для себя решайте, как и что, об этом пока говорить не будем. А сегодня пройдите с Сергеем по заводу. Он вам покажет, какие у нас цеха, расскажет, где вы могли бы работать, если решили поступать к нам. Так, Сергей?

Павел уходит вместе с Сергеем. Ася порывается пойти вместе с ними, но потом остается с Катей.

— Как ты думаешь, Катя?.. — говорит она.

Катя отвечает:

— Неужели мы все вместе не сможем на него повлиять? Все-таки мы сильнее, чем ты одна, а?





В. КОСТРОВ

Павшие,
на постаменты ставшие
и застывшие не напоказ,
Родины,
России не отдавшие,
помню вас
и жить учусь у вас!
Надо мной начальниками ставших,
с молодым накалом чистых глаз,
опытные, знающие старшие,
верю вам
и жить учусь у вас!
Но иным сединам не завидую,
мне не скрыть презрение свое
к ловкачу, что, лавкою заведя,
выстроил роскошное жилье,
к инженеру старого закваса,
что бежит от риска за версту,
что навек цитатами запасся,

отрицая смелую мечту.
Я с такого старого —
не старшего, —
мысли привязавшего к грошу,
именем живущего и павшего,
молодости именем спрошу...
Ну, а вы учите и браните,
хоть слова горьки и нележки,
вы живите,
сотни лет живите,
вечно молодые старики!
Пусть легко вам на подъемах
дышится,
пусть виски серебряно-чисты,
и в глазах —
великое мальчишество
ложью не зпятнанной
мечты!



Пусть и хотел,
не смог бы откреститься
от этих деревень, полей и мхов...
Мани меня, веселая жар-птица,
с гармошкиных развернутых
мехов.
Эй, гармонист,
возьми меня под локоть,
веди в поля
к пшеницам и цветам!
Смогу ли я опять частушки
«окать»?
Ведь я всегда душой и телом там.
Там,

где станки сухарь железный
грызли,
где яростное, яркое литье,
где я узнал шероховатость
жизни,
тепло и твердость,
соль и смысл ее.
Я там,
где гам,
где время, сжавшись туже,
вдруг искрами вспорхнет во все
концы,
где сталь куют
и выпрямляют души
веселые ребята-кузнецы!



Путеукладчик



С. ДРОФЕНКО

Я знаю, как ведется путь,
как стынет пот
в кристаллах соли,
как ватник может весить пуд
и как вздуваются мозоли.
Путеукладчик — это дом,
с упрямым, зримым постоянством
перемещаемый в пространстве
расчетом, дерзостью, трудом.
Суров его простой уют.
Бывает, что парням грустится,

когда весной вдруг запоют
молчавшие всю зиму птицы.
И день одно,
и год одно.
Всегда торжественно и строго
ложится сталь на полотно,
и в глушь вторгается дорога.
И пусть зимой мороз дерет
и ветер рвет верхушки сосен,
ребята движутся вперед
путеукладчиками весен!



Едва зарю сыграет ветер,
пробарабанит дождь подъем,
ты вспоминаешь:
есть на свете
не только стены,
койка, дом.
Есть счастье книг,
еще безвестных.
есть счастье встреч,

трудоу,
тревог,
бушующее в наших песнях,
чтоб ты всю жизнь
стареть не мог.
У дерзкой юности во власти.
не тратя ни минуты зря,
всегда шагай к такому счастью.
Тебе сопутствует заря!



ЯНТАРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Роман

Рисунки П. Пинкисевича.

Глава пятнадцатая

ЕМЕЛЬЯН ПРЯНИКОВ ЖЕНИТСЯ

Войдя в общежитие, Володька увидел Пряникова. Емельян согнулся над столом и чистил огромную селедку, влившись пальцами в ее жирную лоснящуюся спину. Красное, с рыжими конопатинами лицо, которое он поднял на Володьку, было столь же озабоченно, как и вся его фигура. Володька вдруг почувствовал страшную зависимость Пряникова и от селедки и от той жены с квартирой, которая пока существовала только в его несбыточных мечтах. «Собственник, раб», — отчетливо и резко подумал Володька.

Он не хотел обращать внимания на Пряникова. Было уже около девяти часов вечера, он устал и хотел спать. Но кого ждали закуски, расставленные на столе? Уж не собрался ли Емельян и впрямь жениться? Что-то у него случилось, это было ясно. Не такой он человек, чтобы зря накопить закусок и заправить водку лимонными корками.

Володька вспомнил, как Пряников осторожно расспрашивал ребят, когда они думают вернуться в общежитие после выходного. Володька зачем-то соврал, что вернется утром, а Стражников и Чувилин действительно собирались до понедельника на подмосковное море.

Увидев на пороге Володьку, Пряников потемнел и с беспокойством посмотрел на закуску. Володька перехватил его взгляд, и ему сделалось весело. Перед его глазами еще светился синий бездонный мир, он еще видел Ирочку в синих солнечных брызгах... А тут Пряников беспокоился за свою закуску. Раб... Собственник...

— Богато гуляешь, — усмехнувшись, сказал В-

лодька. — Гостей ждешь, что ли? Считаю меня первым.

Пряников опять принялся за селедку. Лица его не было видно.

— Садись, — отозвался он с неожиданной кротостью. — Я не жадный. — Он глянул на Володьку, думая о чем-то своем, и сосредоточенно добавил: — Пригодишься.

Пряниковым, видимо, владел один из тех расчетов, которые никогда не исполнялись и только смешили Володьку.

— Пригложусь? — переспросил Володька с улыбкой. — Ладно. Тогда налей.

— погоди наливать. Давай о деле потолкуем.

Пряников бросил взгляд на дверь, словно собираясь открыть Володьке важную тайну.

— Ты воду держать умеешь?

— Как воду?

— Это так говорится.

Володька понял.

— Кажись, умею.

— Гляди!

У Пряникова было такое выражение лица, будто он волок на себе непомерную тяжесть.

— Гляди, Владимир.

Володьке надоело торговаться о тайне, которая его не занимала.

— Боишься — не говори. Я и так проживу. Без твоих секретов.

— Да нет... Мне самому надо.

— Если надо — не тяни. А то спать пойду.

— Сиди... Я и угощать стану.

— Неохота угощаться. Насчет того, чтобы налить, я пошутил.

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1960 год.

— Сиди... Мне надо.
— Нудный ты человек, честное слово. Говори, чего тебе надо.

Пряников опять поглядел на дверь и шепотом сказал:

— Мне комнату дали.

Володька от изумления не мог вымолвить ни слова. На месте Пряникова он ходил бы на голове от радости, оповестил бы всех, кого знал и кого не знал. А этот боялся, что его кто-нибудь услышит...

— Что ты за человек, Емельян! Чего боишься? Тебе радоваться надо, а ты...

— Радоваться! — Пряников презрительно улыбнулся, и его некрасивое лицо словно покраснело, так как все рыжие конопатины собрались вместе. — Скажет тоже! Радоваться!

Даже сам Пряников не знал, от кого он унаследовал неизгладимую привычку бояться врагов, будто бы окружавших его со всех сторон. Не знал, потому что никогда не задумывался над этим. Он боялся, и все тут. С детских лет его одолевали вечные страхи. Вот и теперь, еще не вселившись в комнату, он уже страшился потерять ее. Он в точности не знал, чего именно ему надо бояться в этом случае, боялся всего и в конце концов решил не говорить товарищам о своем счастье. Впрочем, какое же это счастье!

Сколько еще забот подстерегало его с этой комнатой! Первая из них уже пришла, неожиданно и неразрешимо.

— Ничего ты не знаешь, Владимир! Радоваться! — все так же презрительно повторил Пряников. — А разве не могут перейти дорогу?

Володька подумал, что Пряников получил комнату, вероятно, вне очереди, обойдя семейных людей. Начальство просто не устояло перед его нудным упорством.

— По блату, что ли, дали?

Если бы Пряников получил комнату по блату, он с гордостью признался бы в этом: значит, у него были какие-то особенные связи с начальством. Но комнату он честно высидел у дверей старшего инженера. Право на нее он имел, как всякий честный рабочий-строитель, много лет строивший людям жилища.

— Я человек скромный. Разве не знаешь?

— Скромный-то скромный, но если заладишь — жизни не дашь. Так в чем же все-таки дело, Пряников? Какая у тебя забота?

Пряников оставался в состоянии нерешительности. Ему требовался чужой ум, но он опять-таки боялся, как бы этот чужой ум не принес ему вреда. Благодаря неустанной деятельности Пряникова получение комнаты совпало с торжеством главной его мечты — о женитьбе на даме, имеющей квартиру. Теперь новые неотвязные заботы грызли его, как злые собаки. Они преследовали его даже во сне и наводили на его душу непрерывный страх.

— Володя, будь другом, не смейся.

Володька обещал не смеяться. Он почувствовал, что Емельян встревожен не на шутку.

А тот произнес шепотом и задыхаясь:

— Она нашлась.

— Кто? — не понял Володька.

— Дама.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— Интересная?

— Как полагается.

— С площадью?

— Ну да!

— Квартира?

— Ну да!

— Где?

— На Ордынке.

— Сколько комнат?

— Две.

— А не врешь?

— Да нет же!

— Молодая?

— Нельзя сказать.

— Старуха, что ли?

— Тоже нельзя сказать.

— Сколько же ей?

— Не пойму.

— А ты спросил бы.

— Не говорит.

Теперь, когда Пряников открыл ему свою тайну, Володька страшно захотел спать.

По совести говоря, дела Емельяна несколько его не волновали.

— Любовь у вас, что ли? — спросил он, зевая.

Емельян промолчал.

— Или как?

— Любовь не любовь, — быстро заговорил Емельян, — но она ко мне липнет. Ласковая! Никого у нее нет. Я тоже один, сам знаешь. Пожелала ко мне наведаться. Опасается, конечно, как бы жених не оказался женатым. Сегодня должны договориться. А я ни на что решиться не могу. Сна нет. Живу, как под судом.

Голос Пряникова звучал уныло и нудно, и от этого Володьке еще сильнее захотелось спать.

— Она из своих двух комнат не уйдет. Я тоже своего терять не могу. А выбирать надо. Надо же выбрать что-то. Вот я и прошу тебя: помоги. Посоветуй.

Володьке стало смешно. Ирочка, вся в серебряных речных брызгах, заслоняла перед ним Пряникова. Как она смеялась бы над неразрешимыми заботами Емельяна! Володька невольно смеялся вместе с ней.

— Не сочувствуешь? — с удивлением глядя на Володьку, спросил Пряников.

— Сочувствую, сочувствую, — солгал Володька.

— Так помоги!

— С удовольствием! Ты скажи, как?

Пряников ничего сказать не мог. Он не знал. Мучительно моргая своими маленькими мутными глазками, он старался придумать, как можно помочь ему в этом деле.

— Что я могу? — рассуждал Володька вслух. — Я в этом деле благородный свидетель. Посуди сам, Емельян. Я твою даму не знаю, в глаза ее не видал...

— Сейчас увидишь.

— А какой толк? С человеком, говорят, сколько соли надо съесть?..

— Пуд, — уныло ответил Пряников.

— Пуд... Видишь, но и этого мало. Ты один можешь понять человека, с которым желаешь найти свое счастье.

Пряникова передернуло.

— Какое там счастье! Я из-за нее могу комнаты лишиться! Счастье! Ты мое положение пойми! У нее две комнаты, и она меня хочет прописать. Учти, дом старый. У меня одна комната — восемнадцать метров... Дом новый. Балкон. И это придется кому-то пожертвовать!

Володька вскипел. Ему вдруг вспомнился Иван Егорович, и он живо представил себе, как старик отчитал бы Емельяна Пряникова.

— Ну тебя к черту! — крикнул Володька. — Выбирай сам. Две комнаты с дамой, одна без! Я выбрал

бы без. А как тебе vybrать, не знаю. Ты окончательно мутный человек. Ну тебя к дьяволу!

— Пойми же,— умоляюще забормотал Пряников.— Я не знаю... Стоит ли... Я не могу ее раскусить. Зачем я ей?.. Может, у нее тоже расчет имеется?

О том, что у него имелся расчет, он, естественно, не думал и себя за это не осуждал. Володьку эти слова привели в бешенство.

— Сволочи! А сам? Сам расчета не имеешь?

— Какой у меня расчет! Самый простой. Я боюсь чего? Я боюсь комнаты лишиться. Своими руками заработал.

— Ну и не лишайся.

— Так ведь...— Пряников улыбнулся с некоторым даже самодовольством.— Там у нее кой-какое убранство имеется. Приду на все готовое. И ведь жена! Не думай, что она какая-нибудь... Она порядочная.

Дверь скрипнула и отворилась. На пороге стояла женщина в соломенной шляпке блином.

Пряников пошел навстречу гостье так, словно под ногами у него был не пол, а тонкий лед. Он сложил руки как бы веером, словно они были не его, пряниковские, а нежные, тонкие и в маникюрах. Губы он сделал пятачком, как у поросенка, и заулыбался, но не так, как всегда, а тоненько, изящно, что, оказывается, очень шло к его физиономии. Володька поразился этому неожиданному актерству, но когда Пряников открыл рот, Володька просто онемел.

Гозорить так, по его мнению, могли только старые графы и князья. Пряников вроде бы пел и не пел, голос его то поднимался до самых высоких и нежных нот, то опускался до самых низких.

— Имсем честь,— сказал он гостье. Не найдя продолжения, он опять сделал губы пятачком, улыбнулся и прибавил: — К вашим услугам...— Затем опять помолчал и закончил:— Очень даже рады.

Гостья протянула руку, как делают актрисы в заграничных фильмах, и Пряников, оглянувшись на Володьку, поцеловал ей руку звонко, с чмоканьем, как целуют дети своих бабушек. Сделав косой поклон в сторону Володьки, Пряников сказал:



— Уважаемая Анна Романовна, познакомьтесь с моим лучшим другом.

Гостья протянула руку Володьке, точно так же, как Пряникову, и певуче сказала:

— Анна Романовна.

Володька не стал целовать руку, потому что не знал, как это делается. Про себя он отметил, что Пряников старается во всем подражать своей даме.

— Пригласите сесть,— сказала Анна Романовна своим певучим голосом.

Володька ногой пододвинул стул. Она передернула плечами, усмехнулась и села. Теперь Володька мог разглядеть ее как следует. С его точки зрения это была старуха. Во всяком случае, она была старше Ирочки вдвое, если не больше. Но это была милостивая старуха. Словом, это была та самая дама, какую так долго искал Пряников. От нее, как полагается, несло духами. Под соломенной шляпкой у нее было приличное лицо, белое с розовым. Серые, точнее, бесцветные, маленькие глаза внимательно поглядывали вокруг.

— Снимайте головной убор, Анна Романовна, будьте как дома,— сказал Пряников все тем же необычным голосом.— А я выйду с другом на одну минуту.

— У вас секреты?

— Так... — Пряников отвел глаза.— Пустяки. Извиняюсь.

Он с силой взял Володьку за локоть и повел за собой. Едва они вышли из комнаты, Пряников бросил светский тон, которым разговари-

вал с гостьей, и горячо прошептал:

— Володька, помогай! Если она тебе понравится, моргни один раз. Не понравится — два раза. Пошлю к черту.

Ничего больше не сказав, он вернулся в комнату. Володька остался один в сенцах общежития. Вот так женитьба! Только моргни ему, и он пошлет к черту свою Анну Романовну, перед которой минуту назад ходил чуть ли не на цыпочках. «Володька, помогай...» Эти слова, сказанные просительным шепотом, стояли у него в ушах. Впервые в жизни он почувствовал себя взрослее собственных лет. С этим чувством он вошел в комнату.

— Как вас зовут? — спросила Анна Романовна, приветливо глядя ему в лицо.

— Владимир...

— А отчество?

— Не стоит.

— Почему?

— Молодой еще. Зачем мне отчество?

— Значит, я старая?

— Я этого не говорю.

— Но думаете...

Володька покраснел. Анна Романовна засмеялась. Пряников разливал водку, напряженно следя, чтобы корочки лимона не попали в рюмку, что, по его соображениям, могло выглядеть некультурно. Анна Романовна, продолжая смеяться, с удовольствием сказала:

— Вот у меня сын... — Вдруг она запнулась. Потом через силу добавила: — Он тоже считает... — И совсем замолчала.

Пряников застыл с графином в руках. Он остановился весь целиком, от головы до ног, как останавливается механизм, лишенный силы движения.

Володька не понимал, что случилось. Но Пряников и Анна Романовна понимали. Каждый по-разному, но с одинаковым ужасом. Наступило удивившее Володьку молчание. Он посмотрел на Пряникова, потом на Анну Романовну и наконец все понял. Она проговорила! Она скрывала, что у нее есть сын, и проговорила. Теперь ему, Володьке, моргать не придется!

Пряников решительно и тяжело поставил графин на место.

— Владимир, не уходи, — с тяжелым злорадством произнес он.

— А я и не собираюсь.

— Ты свидетель! — Теперь Пряников говорил своим обыкновенным голосом, произнося слова естественно и просто. — Слышишь, — повторил он, — ты свидетель.

— О чем ты говоришь? — спросил Володька, хотя отлично понимал, о чем говорит Пряников.

— Сейчас выскажу.

Но Анна Романовна испуганно сказала сама:

— Что сын? Да? Неужели я вам не говорила, Емельян? Честное слово, говорила. Помните, когда мы в последний раз ходили в «Ударник»?

— Не помню.

По силе, с какой Пряников это сказал, Володька понял, что дело у них кончено навсегда. Да и понятно! Сын... Значит, у нее была всего одна комната и Емельяну не имело смысла отказываться от своей собственной!

— Почему же вы сердитесь? — спросила Анна Романовна искательно и мягко. — Действительно, сын. Учится в Ленинграде, по морскому делу.

— Моряк, значит? — с тяжелой укоризной спросил Пряников.

— Будет штурманом...

— Штурманом?!

— Напрасно вы сердитесь.

— Интересно, как же мне не сердиться. К вам придет моряк и даст жизни непрошеному гостю.

— Он хороший мальчик.

— Знаю я этих хороших мальчиков! Ты, Владимир, свидетель. Не я обманывал. Меня обманывали.

И тут Володьке стало жаль эту миловидную женщину, у которой были тонкие с голубыми жилками руки и пышные светлые волосы, пахнущие духами. Вспомнив об условии, он с мстительным чувством моргнул Пряникову один раз.

— Ты чего? — оторопело спросил Пряников.

— А вот так.

— Как?

— Как было сказано.

Пряников рассердился. Новое дело! Если она нравится Володьке, то пусть он и женится на ней... С штурманом. Пряников взял рюмку, другой рукой как бы нехотя подвинул рюмку Анне Романовне. Она слабо улыбнулась.

— Не надо скандалить, Емельян.

Он выпил водку залпом и поперхнулся.

— Шутка сказать, — заговорил он, откашлявшись. — Сынок... Моряк... Молчали! Шутка сказать!

Анна Романовна взяла рюмку и задумчиво сказала:

— Никто не может помешать счастью. — Подняв рюмку, она тряхнула головой и выпила... — За наше счастье!

Володька ждал, что будет дальше. Он уже знал, как Пряников реагирует на это слово. Но Пряников не обратил на него никакого внимания.

— Анна Романовна, — спокойно и негромко сказал он, — давайте говорить по-умному. Одно дело, когда есть две комнаты и один жилец, то есть вы сами! Другое дело, когда есть две комнаты и два жильца, то есть вы сами и сын моряк.

Анна Романовна задумчиво смотрела куда-то в сторону.

— Я располагал на один предмет, а теперь получается другой. А квартира-то так себе, сами знаете. Ход требует немедленного ремонта. Потолок тоже.

— Не понимаю, — еле слышно прошептала Анна Романовна.

Проникаясь острой неприязнью к Пряникову, Володька строго спросил:

— Ты человека съезжал или комнату?

Пряников посмотрел на него с презрением.

— Могу сказать. Человека! — Он произнес это слово с особой значительностью. — И свою комнату мог просвить из-за человека, — закончил он еще более значительно.

— Ничего не понимаю, — повторила Анна Романовна. — Какую комнату?

— Реальную! — злобно сказал Пряников. — Восемнадцать метров. С балконом. Уясняете?

— Я же не знала, что комната.

— Я тоже не знал, что сын.

Они замолчали. Закрученный до отказа репродуктор что-то нашептывал. Сумерки сгущались. Володьке вспомнились сумерки в доме у Ирочки, ее глаза, сверкавшие отражением вечернего луча, Иван Егорович за столом...

— Ты свидетель, Владимир, — без тени чувства повторил Пряников. — Не я обманул. Меня обманули.

Анна Романовна подняла с колен свою соломенную шляпку и стала пристраивать ее на своих пышных волосах.

— Вы закусите, — сказал Пряников. — Для чего же я стол накрывал?

Она не ответила, медленно поправляя шляпку. На ней было кремовое воздушное платье и такая же жакетка с маленькими карманами.

— Не понимаю, как я могла... — прошептала она так тихо, что лишь Володька, который стоял рядом с ней, различил ее слова.

— Как желаете, — сказал Пряников. — А то бы закусили все-таки.

Анна Романовна поднялась, прошла к дверям, нащупала выключатель и зажгла свет.

Пряников и Володька смотрели на нее во все глаза.

Она выпрямилась и беззвучно засмеялась. При свете электричества лицо ее вовсе не казалось мило-

видным. Это было недоброе лицо с резким и, пожалуй, даже злым выражением.

— К фотографу сходи! — крикнула она Пряنيкову каким-то диким голосом. — И на карточку свою посмотри! Ты во веки веков не встретишь такой женщины, идиот несчастный!

Она так хлопнула дверью, что с потолка посыпалась известка. Пряников выругался. А Володька подумал о том, что зря он сочувствовал этой женщине.

— Чем она занимается? — спросил он.

— Булочница.

— Булки печет?

— Нет, заводит булочной.

Пряников сел за стол.

— Ешь, пей, — предложил он Володьке.

— Ешь сам.

— Все равно не съем. Не влезет.

— Собакам отдай.

— Придётся.

Пряников ел с аппетитом.

— Не везет мне в личной жизни! — говорил он. — Видал, какая авантюристка! Три месяца встречались, ночевать к себе пускала, а про сына ни слова.

Володьке окончательно надоел Пряников с его мутными переживаниями, и, чтобы отделаться от разговора, Володька позвонил до конца ручку громкоговорителя. Передавали музыку. А Володьке хотелось без конца думать, как прошел у него этот бездонный удивительный день...

Глава шестнадцатая

КАК ПОЯВИЛСЯ РОСТИК

Елена Васильевна Крохина не была прославленной знаменитостью и не стремилась быть ею, но принадлежала к верхушке московских врачей-гомеопатов. Больных она не любила, половину из них считала здоровыми, выписывала им ничего не значившие лекарства в гомеопатических шариках. Не любя больных, она, однако, очень любила деньги. Не пылая вера в гомеопатическое направление медицины, а именно любовь к деньгам сделала ее врачом-гомеопатом. Уже в молодости она заметила, что к гомеопатам шли люди с тяжелыми, старыми, неизлечимыми болезнями или с такими же тяжелыми, старыми, неизлечимо-навязчивыми идеями насчет своих болезней. Те и другие искренне стремились щедро платить за свое настоящее или мнимое выздоровление. Елена Васильевна не видела ничего дурного в том, чтобы врачевать таких людей и давать им полную возможность щедро платить ей за это.

Она знала несколько невинных медицинских секретов, серьезно верила в лекарственные свойства змеиного яда, но лучшим средством против самых застарелых и опасных болезней считала волю к жизни. Не любя своих пациентов, презирая их жалобы, она помогала им резким обращением с ними, порой даже бранью. Тем из них, которые еще способны были взять себя в руки и пробудить в себе волю к жизни, это действительно приносило пользу. В результате пациенты благословляли врача-гомеопата Крохину и распространяли о ней добрую славу. Мужа Елена Васильевна потеряла задолго до войны.

Он занимал какой-то крупный пост в легкой промышленности, почти не бывал дома и скоропостижно скончался за плотным ужином, который устроили ему в одном из лучших московских ресторанов благодарные клиенты.

После смерти мужа Елена Васильевна с чисто женской горечью думала о том, что соединила свою жизнь не с тем человеком. Она никогда не любила мужа и вышла за него из страстного желания устроить свою судьбу, «сделать себя», как она говорила. Теперь этот расчет провалился. Все попытки снова устроить свою судьбу ни к чему не привели. Тем временем подрос сын.

Елена Васильевна стала «делать сына» с таким же

упорством, с каким в молодости пыталась «сделать себя».

Всем своим одиноким сердцем матери она любила сына, но многое в нем страшило ее. Ростика шеп двадцать четвертый год, характер его, казалось, мог бы уже установиться, но Елена Васильевна часто не понимала собственного сына. Не то он был страшно скуп, не то склонен к мотовству и разгульной жизни. Он умел выгодно покупать вещи, и это радовало Елену Васильевну. Еще выгоднее он умел продать ненужные ему вещи, и это тоже радовало ее. Но когда он не в меру увлекался своими коммерческими комбинациями, Елена Васильевна пугалась. В глубине души она не осуждала сына, но понимала, что он вступает на опасный путь. Если он пойдет по этому пути, то неминуемо погибнет. Но ведь Елена Васильевна «делала» своего сына, и, как ей казалось, весьма успешно. Значит, она должна была искоренять в нем опасные склонности. Увы, Елене Васильевне следовало бы прежде всего переделать самое себя. Всем своим поведением, всем строем своей жизни она как бы произвольно, но настойчиво и неизменно развивала в сыне те самые склонности, которые так ее страшили.

Ростик с детских лет научился распознавать допиющее притворство, с которым его мать произносила самые правильные и примерные слова, насколько в них не веря и не собираясь им следовать. С годами он перенял, впитал в себя это притворство и даже усовершенствовал его. Он делал такое же, как у матери, холодное лицо и говорил такие же холодные слова о том, что в нашей жизни дурно и что хорошо. Как Елене Васильевне, так и ему нельзя было не верить. Оба они говорили с истинной верой в те слова, которые произносили. А уж Ростика никак нельзя было не поверить, хотя бы из-за его привлекательного, юношески-свежего лица, из-за его больших голубых со сталью глаз, как бы излучавших ясный свет...

Ростик вышел из громадного самолета. Елена Васильевна с восторгом отметила, что сын ее даже среди спортсменов выделялся и фигурой, и ростом, и лицом, и всей своей уверенной и гордой осанкой. Он был блондин и волосы носил большой, аккуратно

приглаженной копной. Лицо его с правильными и крупными чертами невольно обращало на себя внимание.

Елена Васильевна часто говорила друзьям, что с таким лицом было бы странно стоять у станка или класть кирпичи. Естественно, что Ростик не затерялся в студенческой массе. Он увлекся спортом и очень скоро стал одним из лучших спортсменов института. Его включили в студенческую спортивную команду, с успехом выступавшую и далеко за пределами нашей страны. Прошло еще немного времени, и он стал капитаном команды. Его ценили за то, что он отлично представлял за границу и умел значительно и достойно молчать. Немалую роль во всем этом играл его необыкновенно представительный и уверенный вид. Но на одном виде и на умении молчать он, конечно, долго не продержался бы. У него нашлись и другие качества, благодаря которым он стал незаменимым. За границей ему часто приходилось выступать на пресс-конференциях. Он никогда не горячился, держался с достоинством, умело и находчиво отвечал на провокационные вопросы. За его спиной можно было чувствовать себя в полной безопасности. Ни в одной зарубежной поездке с ним не случилось ничего предосудительного. За это его особенно ценили, потому что, выезжая за границу, советские спортсмены часто попадали в атмосферу, которую можно было назвать близкой к травле.

Но Ростислав Крохин всегда наперед знал, что может быть не так, и ни с ним, ни с его ребятами никаких неприятных историй не случалось.

— Как съезди, сын? — властно и вместе с тем нежно спросила Елена Васильевна, обнимая своего Ростика.

— Нормально, — ответил он, и в тоне его ответа слышалось: «Зачем спрашивать, ты же знаешь».

Они вышли за ворота аэродрома. Ростик держал в правой руке длинный плоский чемодан в полосатом чехле. Он нес его так легко, что никто и не подумал бы, как необыкновенно тяжел этот чемодан.

— Возьми носильщика, — сказала Елена Васильевна, скользнув по чемодану беглым взглядом.

— Не надо.

— Тебе тяжело.

— Я же спортсмен, черт побери!

Еще в воздухе Ростик кончил все свои дела, дал все необходимые указания, наставления, советы. Он всегда поступал так, потому что любил первый день приезда проводить дома, а первый вечер — со своей верной подругой Стеллой Зубаревой наедине или в тесном дружеском кругу.

— Как дома? — спросил Ростик.

— Нормально, — ответила мать, и в ее словах слышалось: «Ты же знаешь...»

Ростик действительно знал, что дома всегда нормально. Мать была для него примером высшей организованности. Он спросил просто потому, что странно было молчать, когда вокруг слышались радостные голоса, веселые возгласы, смех. А говорить так с другом Елена Васильевна и Ростик не умели, так как были слишком похожи друг на друга.

Они сели в автомобиль — новенький «Москвич» с шелковыми занавесками, который привел сюда Вася Бляхин, возивший спортивное начальство и обслуживавший Крохиных частным образом. Ростислав сам водил свою машину, но наблюдал за ней Вася Бляхин, честно любивший «это дикое железо».

Когда мать с сыном сели в машину, им по-прежнему не о чем было говорить. Обоим казалось, что все сказано уже давным-давно. Повторяться было просто скучно.

Ростик вел машину с небрежным изяществом, управляя одной правой рукой. Ему было хорошо, и больше он ничего знать не хотел. Указав на обе стороны дороги, мать заметила, что, пока он был за границей, здесь с чудесной быстротой выросли новые дома.

— Разве? — удивился Ростик.

Ему было хорошо, и он не чувствовал потребности смотреть по сторонам.

Елена Васильевна размышляла о будущем. «Делая сына», она, естественно, должна была делать и его будущее. Прежде всего Ростiku необходима хорошая семья. При его склонностях нужна сила, которая умела бы им управлять. Проще говоря, нужна хорошая жена. И не когда-нибудь, а именно теперь, пока дурное еще не развилось в нем, как скрытая болезнь, которая может погубить человека, если ее не захватить вовремя.

Мысли Елены Васильевны как-то сами собой обратились к Ирочке. Уже не впервые за последние дни она думала об этой девушке.

Ирочка понравилась Елене Васильевне. Она была хорошая девушка, скромная, неглупая, правдивая.

Для того, чтобы проверить это свое впечатление, Елене Васильевне пришлось познакомиться с Ниной Петровной. На все свои предприятия Елена Васильевна всегда шла смело, без всякой застенчивости, чем и располагала к себе людей, не видевших в ее намерениях ничего подозрительного. Выяснив, когда Нина Петровна возвращается домой, Елена Васильевна позвонила и зашла к ней.

— Мы соседи, — приветливо и радушно сказала Елена Васильевна. — Давайте познакомимся. В жизни бывает всякое. Можем пригодиться друг другу. Кстати, я врач.

Последнее сообщение Нина Петровна приняла холодно. Врачи достаточно надоели ей на службе. Но гостья ей понравилась. Интеллигентная женщина, ничего не скажешь.

— С врачами я имею дело всю жизнь, — ответила Нина Петровна, стараясь улыбаться как можно любезнее. — Сама почти врач, хоть и без диплома. Но за визит спасибо.

Они познакомились.

Разговорившись с Ниной Петровной, Елена Васильевна узнала, что Ирочка сирота. Когда она узнала об этом, ее словно осенило.

Сирота... Характер Нины Петровны стал ясен прощательной Елене Васильевне с первой же минуты. Хорошо, что сирота. Значит, ей живется не сладко. Они с Ростиком могут ее осчастливить. Конечно, это звучит несколько старомодно, но что поделаешь — правда остается правдой. Должны осчастливить... Девочка работает где-то на улице, просеивает песок. Они с Ростиком запретят ей работать на улице. Надо поскорее приблизить к себе Ирочку, пока та не набралась уличных манер. Впрочем, все это, в сущности, старые предрассудки, с которыми давно пора покончить.

На правах соседки Елена Васильевна стала заживать к Нине Петровне. Сидя однажды за кофе, она вызвала Нину Петровну на откровенный разговор.

— Не признаю старых предрассудков, — с искренним воодушевлением говорила Елена Васильевна. — Свой круг, не свой круг... Сама вышла замуж за человека своего круга. Одна радость, что сын родился хороший. А кто его сделал хорошим? Я сама. По-женски говорю вам, Нина Петровна, не знала я настоящей любви. Муж был и собой хорош и своего круга. А что толку? Ничего я в жизни не испытала, и виной всему старые предрассудки.

При всей своей строптивости Нина Петровна не обижалась на Елену Васильевну за то, что соседка все-таки как бы признавала превосходство своего круга.

— Приятно,— отвечала Нина Петровна,— очень приятно... Я тоже старых предрассудков не терплю. Мы революцию сделали, классы уничтожили, а эта гадость нет-нет да и вылезет. «Я выше, ты ниже». Приятно, что вы так рассуждаете, Елена Васильевна, счень приятно.

Казалось бы, почва была подготовлена, следовало приступить к прямому разговору, но Елене Васильевне не хотелось раскрывать своих намерений. Над всем предприятием, которое она затеяла, висела тень, тайно удручавшая ее. Дело в том, что у ее Ростика уже несколько раз расклеивалось то, что именуется романом, любовью, женитьбой. Не ломалось, не взрывалось, а именно расклеивалось, тихо, гладко, без всяких катастроф. Одну девушку — ее звали Катя — Елена Васильевна даже полюбила, но вдруг Катя стала бывать у них все реже и реже, а потом и совсем куда-то пропала. Елена Васильевна не знала, в чем дело. Ростик делал вид, что тоже не знал. Может быть, он недостаточно любил Катю и поэтому нисколько не страдал, когда она ушла. Но примерно через полгода после этого от него ушла другая девушка, Юлечка, которую он, казалось, любил. Его поведение тогда не на шутку испугало Елену Васильевну: он исчез и не ночевал дома несколько дней. Вернувшись, он как будто искренне проклянул свою судьбу. Но почему ушли Катя и Юлечка, почему медленно, но верно расклеивались их отношения с Ростиком?

Елена Васильевна не знала, что ее сын уже довольно давно встречается со Стеллой Зубаревой. Это можно было скрыть от матери, но Катя и Юлечка каким-то непонятным Ростиком чутьем очень быстро разгадали, что он ведет нечестную игру.

Властная и деятельная натура Елены Васильевны не привыкла мириться с неизвестностью. Елена Васильевна хотела, наконец, взять в свои руки и эту сторону жизни сына и до конца в ней разобраться. Поняв источник беды, можно покончить и с самой бедой.

Теперь, сидя в машине рядом с Ростиком и размышляя о его будущем, Елена Васильевна думала, что сына нужно укрепить в домашней жизни. В общественной он сам не пошатнется. Но ненадежность домашней жизни может когда-нибудь отразиться и на его общественном положении. Надо спешить... Вот он сидит за рулем, спокойный, как мрамор. Его голова действительно кажется высеченной из мрамора. Вот он сидит — сама стойкость и выдержка. Сама молодость и красота. Пусть она преувеличивает опасность, даже наверно преувеличивает. Пусть, пусть! При всех обстоятельствах ему лучше жениться. Что скрывать, ведь Елена Васильевна подумывает тайком о дипломате Ростиславе Крохине, аккредитованном, полномочном и все прочее, что в таких случаях пишется в газетах... Ему надо жениться на хорошей девушке. Миссия Елены Васильевны может оказаться не такой уж трудной и щекотливой, если Ирочка и Ростик понравятся друг другу. А если опять все начнет расклеиваться? Как быть тогда? Тогда Елена Васильевна вмешается со всей властью своего характера. Надо наконец понять, в чем здесь дело.

— Значит, хорошо съездил, сын?

— Отлично,— машинально ответил Ростик.

— Ну и слава богу.— Она вздохнула.

Ростислав так же машинально спросил:

— Почему ты вздыхаешь?

Она заговорила медленно, с деланным равнодушием:

— Человек — ничто по сравнению со своим личным делом.

— Это я уже слышал,— без всякого интереса отозвался Ростислав.

— Человек может тысячу раз измениться, но то, что записано в его личном деле, никогда не меняется.

— Ты говорила...

Делая вид, что не слышит, она продолжала:

— Человек умирает, а личное дело остается. Так говорил твой отец.

Ростислав понял, что это только прелюдия. Главное в музыке впереди. Он приготовился слушать. Мать никогда не вспоминала про отца без делового повода. Ростислав ждал, но мать молчала. Видимо, решила отложить главное до другого раза.

— Мадам,— сказал Ростислав, продолжая следить за дорогой и поэтому не поворачивая головы,— я выполнил все ваши поручения.

— Спасибо, милый,— ответила она таким тоном, словно эти поручения были мелкими и ничтожными.

О том, что Ростик привозил из-за границы, они между собой почти никогда не говорили. При посторонних людях они называли это презрительно — тряпье. Но посторонние — одни со злостью, другие добродушно посмеиваясь,— говорили, что Елена Васильевна и ее Ростик никак не могут обходиться без заграничного тряпья. Всюду в мире, начиная с богатой Америки и кончая бедной Югославией, есть множество людей, убивающихся по всему заграничному. Эту маленькую слабость люди, вероятно, простили бы и Крохиным, если бы у них не получалось так, что красивые заграничные вещи, так называемое тряпье, они носили чуть ли не по какому-то принуждению. Это было ханжество, которое у одних вызывало злость, у других — добродушную усмешку.

— Уложился в средствах? — спросила мать.

— С трудом. Потерял пару кило.

— Чего? — не поняла Елена Васильевна.

— Себя,— с иронией ответил Ростислав.

— Что это значит?

— Очень просто. Недельку не обедал в ресторане.

— Но почему?

— А ты знаешь, сколько стоит эта материя? Как ее... Даже названия не могу выговорить.

Но он все-таки выговорил название сверхмодной ткани, о которой с вожделением говорилось у модных московских портних.

Мать с театральной нежностью потрепала своего мальчика по щеке. О вещах, лежавших в длинном плоском чемодане, больше не было сказано ни слова.

Всю дорогу до дома ехали молча.

Ростик, улыбаясь московскому небу, думал о том, что нужно сегодня же позвонить Стелле Зубаревой. Хорошо бы вечером собрать у нее друзей, выпить как следует. Но предварительно надо поговорить с мамашей, раз уж она коснулась его личного дела. За свое личное дело Ростислав не беспокоился, оно было безупречно, но мать все-таки дальновиднее.

Так появился Ростик в жизни Ирочки, хотя она о нем пока еще ничего не знала.

МАТЬ И СЫН. ЗА КОФЕ...

Самолет пришел утром, и на завтрак мать приготовила Ростiku все, что было в его вкусе. Он любил поесть. За границей ему всегда приходилось ограничивать себя в еде, но дома он быстро наверстывал потерянное. Как большинство русских людей, он любил тесто во всех его видах. К его приезду были приготовлены жаренные в кипящем масле пирожки с мясом, которые у Крохиных назывались зефирными. После десятка таких пирожков человек делался томным и благодушным. Ростик любил поесть для того, чтобы потом долго быть томным и благодушным. Все остальные блюда, стоявшие на столе, — редиска, салат, шпроты, ветчина — самостоятельно значения не имели. Кроме того, к приезду Ростика полагался коньяк — армянский, три звездочки.

Мать и сын переговаривались изредка.

— Расскажи, как там?

Там — значило за границей вообще, без всяких географических и социальных уточнений. Люди, подобные Елене Васильевне, в давние времена выводили из себя Грибоедова. Но современники великого драматурга не скрывали своего преклонения перед иностранщиной, а Елена Васильевна приходилось таиться. В наше время ее пристрастие к иностранщине приобретало политическое значение. Никто не поверил бы Елене Васильевне, что никакой политической тенденции она в свое отношение к заграничке не вкладывает, никто не поверил бы, что она не отличается Болгарии от Бельгии, видя и там и тут одну всеобщую заграничку...

— Расскажи, как там? — повторила Елена Васильевна, потому что увлеченный пирожками Ростик, видимо, не слышал ее вопроса.

Он поднял на мать свои большие ясные глаза.

— А что там... Ничего. Нормально.

Елена Васильевна была вполне удовлетворена. Она знала, что Ростик не будет восхвалять заграничку. Если он сказал «нормально», значит, там хорошо. Ей не интересно, кто теперь правит Францией и за что борются там миллионы людей. Во Франции мосты над Сеной, Собор Парижской богородицы, лионский шелк... Этого для нее было достаточно, как и для тех людей, которые в свое время выводили из себя великого Грибоедова.

— Как пирожки?

— Ультра.

— Муха у нас появилась... восторг!

— Я и говорю: ультра.

Здоровый, сильный организм Елены Васильевны не был подвержен ожирению, и она ела много, как бы соревнуясь с сыном.

— Почему ты берешь пирожки руками? — спросила она Ростика, просто для того, чтобы продолжить разговор.

— Мне так нравится. А что?

— Пальцы жирные. Нехорошо.

— Неважно, вытру. Древние римляне ели руками.

— Но мы не древние и не римляне.

Он знал, что мать так скажет.

— Неважно, вытру.

Они едят молча.

По комнате ходит тонкий ветерок первой поры лета, он пробирается сюда с балкона в открытую дверь. Ростик думает, как хорошо ему дома. Он не

умеет заниматься самоанализом. Ему безразлично, отчего хорошо и что значит хорошо. Хорошо, и точка. Мудрить нечего. Мать думает, что за границей нормально. Пусть думает, она мешанка. Себя Ростик мешанином не считает. Он не знает, кем он себя считает. Ему это просто неважно.

Мать поглядывает на сына и любит его им. Красивые у него глаза. Сталь — иначе не скажешь. Но не надо скрывать от себя: какая-то ненадежная сталь. Художник, который наделил Ростика этой сталью, не дал ей живого блеска. Глаза красивые, а мысли в них мало. Дурак, может быть?.. Нет, это слишком. Конечно, такой красавец может и дураком прожить. Но тут другое. Он просто не очень глубок. Себя Елена Васильевна считает глубоким человеком.

— К чему ты, дорогая, начала в машине про личное дело? — спросил Ростик под влиянием коньяка, который несколько расшевелил его мысли.

— Так, милый.

— Ладно. Знаю. К чему?

— Настроен слушать?

— Очень.

— Ты устал.

— Говорю: настроен.

Она решила, что начнет издали.

— Ты, Ростислав, занимаешь в спортивном мире такое положение...

— ...что тебе необходимо жениться, — закончил Ростик и расхохотался.

Елена Васильевна сделала вид, будто рассердилась.

— Хочешь скомкать серьезный разговор?

— А почему серьезный разговор надо тянуть?

— Но я еще ничего не сказала.

— Не сердись. Но почему серьезный разговор должен быть нудным?

— Я давно поняла, что ты всякий серьезный разговор считаешь нудным, — сказала она тоном классной руководительницы, — и это очень печально, потому что тебе уже не восемнадцать лет.

Теперь она сердилась по-настоящему. Она не могла допустить, чтобы он скомкал разговор, к которому она давно готовилась.

Ростик выпил и закусил пирожком.

— Слушай, мама, — решительно произнес он и запнулся. — Понимаешь... — Он опять запнулся и сделал усилие, чтобы договорить. — Не выходит у меня с женитьбой. Не выходит, мамаша.

Что-то недосказанное прозвучало в его словах. Этот красивый, гладкий малый вдруг стал школьником, вернувшимся после уроков с двойкой.

— Не понимаю, что за чертовщина! — продолжал Ростик. — Не выходит. Сама видишь. Не могу понять, почему ушла Юлечка. Этот последний случай меня страшно расстроил. Ведь никакого повода. Ни у нее, ни у меня нет никого.

О Стелле Зубаревой он забыл. Она была не в счет. Его связь с ней, как ему казалось, не имела никакого отношения к его серьезным жизненным планам. Ему и в голову не приходило, что эта связь была причиной всех его неудач.

— Никого! — искренне солгал он. — И все-таки Юлечка ушла. А какие мы с ней планы строили! Семья, детишки... Честное слово!

Он так горестно замолчал, что матери стало жаль своего бедного, обиженного Ростика.

— Дрянная девчонка твоя Юлечка! — со злобой сказала она.

— Не надо, мама...

— Прости. Ты любишь ее, может быть?

— Не знаю. Мне жаль ее... Чудная девушка!

Но Ростик не был способен долго грустить. Чувства, как пар, недолго грели его душу. Через какие-нибудь десять секунд он сказал с ясной улыбкой и блестя глазами:

— Жени меня, мать! Честное слово, жени. Я серьезно говорю.

Елена Васильевна почувствовала облегчение. Она ждала этих слов. Теперь ей не нужно продолжать мучительный разговор с Ростиком. Теперь наконец она может взяться за дело.

Ростик насытился. Поглядев на ручные часы с толстым металлическим браслетом американского золота, он поднялся.

— Ты куда? А кофе?

Он озабоченно ответил:

— Поговорить надо с... — И назвал имя, широко известное в спортивном мире.

Мать молча кивнула, и Ростик пошел к телефону. Горькая складка появилась у нее на лбу. Что за племя эта молодежь! Хотя бы капля поэтичности, душевности! Елена Васильевна искренне считала, что сама она проявила во всем этом деле подлинное душевное благородство.

После разговора с известным в спортивном мире лицом Ростик перебрался несколькими словами со Стеллой Зубаревой. Он разговаривал с ней так, чтобы мать ничего не поняла. Ростик не решался привести Стеллу к себе и познакомить ее с матерью. Мать была человеком другой эпохи. Поведение Стеллы могло показаться ей неприличным. Стелла привыкла называть вещи своими именами. Елена Васильевна этого не выносила. Стелла запросто могла называть Елену Васильевну старухой и даже не подумала бы, что это оскорбительно. Стелла воспитывалась в сороковые годы. Первое, что она запомнила, были бомбы. Ростик понимает Стеллу, но мать никогда не поймет ее. Пусть лучше они не знают друг друга.

Ростик не показывает матери Стеллу еще и потому, что они, как сказано у поэта, играли в недорогую любовь. Стелла замужем, ее сыну недавно исполнилось семь лет, но, ей-богу, она не виновата, что ей скучно все вечера сидеть с мужем и сыном. Если ей случается раз в неделю, а то и в месяц побывать в компании живых и веселых молодых людей ее возраста, то разве она в этом виновата? Может быть, виноваты бомбы? Во всяком случае, Стелла не любит морализовать, и они с Ростиком ведут себя друг с другом так, словно у нее нет ни сына, ни мужа.

Елена Васильевна не прислушивалась к разговору сына с известным лицом. Эта сторона его жизни мало ее беспокоила. Здесь у него все обстояло благополучно. Он сочетал в себе прекрасные качества организатора и спортсмена. Будучи отличным организатором, он не был увлечен этой своей деятельностью настолько, чтобы потерять дружбу с товарищами по команде. С другой стороны, он не настолько дорожил этой дружбой, чтобы уронить себя как организатора. В глубине своего странно счастливого существа он был безразличен и к своей деятельности организатора и к товарищам по команде. О таких людях, как Ростик, принято говорить, что они никакие, как будто эти люди действительно не наделены никакими определенными качествами. Между

тем быть никаким — тоже качество, и к тому же весьма определенное...

Ростик говорил по телефону минут десять, и Елена Васильевна пришлось звать работницу, чтобы подогреть кофе. Ей хотелось еще посидеть с сыном. Механически прислушиваясь, она ловила отдельные фразы из его разговора и поняла, что Ростик скоро поедет со своей командой в какие-то страны Южной Америки. Это хорошо. Пусть едет. Но было бы отлично, если бы он поехал женатым.

— Продолжим? — вкрадчиво спросила Елена Васильевна, не замечая, что сын вернулся из прихожей с тенью на лице.

Ростик налил коньяк в кофе.

— Ты о чем?

— Все о том же самом.

— Не понимаю, что продолжать. Я тебе все сказала.

По существу, он был прав. Молодое поколение лаконично. С этим надо мириться.

— У тебя испортилось настроение? — спросила она.

— Да.

— Что случилось?

— Южная Америка... Ты шутишь!

— Не понимаю. Заграница, как всякая заграница.

— Не понимаешь, и не говори.

— Ростислав, не груби матери.

— Но ты же действительно не понимаешь.

— Объясни.

— Дерутся, — мрачно произнес Ростислав.

— Вот уж действительно не понимаю.

— Во время игры дерутся. А мы не должны. Пальцем их не тронь. Сразу шум подымется. — Он искренне вздохнул и с горечью добавил: — Тяжелая будет поездка.

Посмотрев на мать и поняв, что она не сочувствует, а завидует ему, он сказал тем же горьким тоном:

— Тебе что!

Затем мать и сын долго разговаривали о тряпье. Они говорили очень тихо, как заговорщики, боящиеся, что их подслушают и разоблачат. Сын с притворной небрежностью докладывал матери о том, что он привез в длинном плоском чемодане, а мать делала вид, что это ее больше забавляет, чем волнует.

Работница, служившая у Крохиных чуть ли не с детских лет, знала, что хозяева любят представляться друг перед другом, будто привезенное барахло их не интересует. Между прочим, сама она решительно не понимала, чем там можно интересоваться. Как-то она рассматривала, к примеру, туфли, привезенные Ростиком матери. Оказалось, что вместо каблучков у туфель какие-то шпильки. Только и жди, когда ногу вывихнешь. А платье просвечивало тебя навывлет. Конечно, были и стоящие вещи. Например, отрезы. Тут можно было позавидовать: люди запасались на всю жизнь.

Тихий и плавный ход семейного сеанса неожиданно нарушился. Ростик каким-то необъяснимым образом проговорился и назвал имя Стеллы Зубаревой. Он сказал, что проведет вечер в своей старой компании, и назвал неизвестное матери женское имя.

Как это часто бывает, Елена Васильевна мгновенно все поняла. Она и раньше не сомневалась, что ее мальчик давно знает, что такое любовь. Вовсе и не нужно было, чтобы он вел себя слишком воздержанно. Обычно это приводит потом к несчастным увлечениям, когда страсть принимается за первую любовь.

Но сейчас Елена Васильевна поняла, что у ее Ростика есть какая-то постоянная, привычная связь, ко-

торая тянется, может быть, годы. Вот почему ушла Катя, вот почему ушла даже Юлечка, которую он, казалось, искренне любил.

Елена Васильевна бросила на сына грозный взгляд, но Ростик не захотел выпутываться.

— Слушай, мать...— беспечно сказал он.

— Слушаю,— сухо ответила Елена Васильевна.

— А что, если я женюсь на девушке,— он усмехнулся,— у которой есть сын?

Мать пристально взглянула ему в глаза. Они были ясными и веселыми, и смех, светившийся в них, тоже был ясным и веселым.

— Чей сын? Твой?

Этого вопроса Ростик не ожидал. Он испугался и торопливо ответил:

— Нет, нет, не бойся. Я тут ни при чем.

— Отлично.— Елена Васильевна не скрывала своей иронии.— Только почему один сын, лучше уж двое... И хорошо бы лет по двадцати, чтобы самому не воспитывать.

Ростик не желал понимать ее иронии.

— У нее один сын. Семи лет.

— Тоже неплохо. Легче приучится называть тебя отцом.

Ростик решил прекратить игру.

— Успокойся,— лениво потягиваясь, сказал он.— Я пошутил.

Но Елена Васильевна понимала, что это вовсе не шутка. Может быть, он так же точно шутил с Катей и Юлечкой?

— Эта девушка... с сыном и есть Стелла Зубарева?

— Неважно.

— А все-таки?

— Она.

— Ты с ней давно встречаешься?

— Извини, мать, мне надо переодеться. И успокойся. Ни мне, ни тебе ничто не грозит.

Ростик ушел. Его признание наполнило душу Елены Васильевны беспокойством и страхом. Настало время серьезно заняться будущим сына. Она обязана оторвать Ростика от этой Стеллы и соединить его с другой — достойной, чистой, скромной...

Глава восемнадцатая

ВСТРЕЧИ НА УЛИЦЕ

Нина Петровна ушла из больницы раньше, чем обычно, так как нужно было купить Ивану Егоровичу на дачу кой-какие продукты. Он должен питаться правильно и разумно. Организм у него выносливый, но не сильный. Денег у Нины Петровны было немного, и она заранее высчитывала, что ей удастся купить. Она вышла из ворот больницы с видом человека, которому предстоит решить нелегкую задачу.

У железной калитки старинных каменных ворот к ней подошла хорошо одетая женщина и мягко ее остановила, взяв за локоть рукой в тонкой кожаной перчатке. Незвестная была молода. Ее неяркое, но приятное лицо радостно улыбалось. Прямой сухой носик, серенькие, как дождевая вода, глазки, добрый рот с накрашенными губами. Жена, дочь, сестра? Сколько раз Нину Петровну останавливали неизвестные женщины! Она их знала и не любила. Почти все они хотели заручиться ее участием к их беде и заставить ее за деньги внимательнее относиться к своим мужьям, отцам, братьям. Эти попытки купить ее участие были противны Нине Петровне. Ни одно медицинское светило не могло бы заставить ее предпochсть одного больного другому, если это не диктовалось самим его состоянием. Легкий — так и нечего с ним нянчиться, тяжелый — смотри да смотри! К тяжелым, даже к таким, состояние у которых было безнадежно, Нина Петровна относилась как к близким, родным ей людям. До самого конца она делала все, что было нужно, а практически уже совсем не нужно. Бывали случаи, когда ее героические усилия завершались полным торжеством того отделения, где она работала: изолятор возвращал, казалось бы, безнадежного больного. Какая-то, может быть, незначительная мера, принятая вовремя, не давала обрваться нитке, связывающей человека с жизнью. Но Нина Петровна никогда не позволила бы себе сказать, что она спасла больного. А ведь это было именно так: она спасала людей своей настойчивостью, смелостью, точностью, и за Ниной Петровной укреплялась скромная слава лучшей сестры больницы.

— Вы чего хотите? — спросила Нина Петровна у неизвестной женщины, зная наперед, что разговор предстоит ненужный и неприятный.

— Ничего,— радостно и виновато ответила женщина.

Ее лицо светилось счастьем, и счастливо смотрела на сестру с истинным преклонением.

Но Нина Петровна знала, что будет дальше, и приотворилась к отпору.

— Ведь это вы и есть Нина Петровна? — робко спросила женщина.

— Я. И что же?

На глазах у женщины заблестели слезы. Она все еще не отпускала локоть Нины Петровны, а теперь судорожно схватила ее за руку и стала трясти. Нина Петровна с облегчением подумала, что дело, видимо, обойдется одними излияниями благодарности. Так оно и было. Женщина назвалась Синяевой. Ее муж, метростровец, проходчик, недавно вернулся из изолятора и теперь стремительно выздоравливал. История его болезни была редкой и роковой — заражение крови через ссадину. На всякий случай, почти не веря в успех, врачи назначили ему множество необыкновенно тонких и сложных процедур. Справиться с ними мог только человек, относящийся к своему делу, как художник. Теперь Синяев, лежа на койке, распевал полунеприличные песни, и никто на него не сердился.

Несмотря на все свое преклонение перед медицинской наукой, Нина Петровна утверждала, что в молодом организме Синяева были великие запасы жизненных сил, которые сами ухватились за помощь извне и вытащили больного из могилы. Однако жена Синяева думала иначе. Ее муж, как только стал способен говорить, указал ей на Нину Петровну. Задышавшись от ужаса и восторга, он отрывисто рассказывал, что эта сестра спасла ему жизнь. Когда сознание ненадолго возвращалось к нему, он видел около себя ее одну и в своей борьбе за жизнь сохранял ощущение ее жесткой, сухой, сильной руки.

И вот жена его пришла отблагодарить Нину Петровну, как это водится у людей испокон веку. Она

искренне и честно хотела отблагодарить сестру малой толликой денег, которые она и держала сейчас в руке.

— Возьмите. Пожалуйста. Немножко... От всей души! — шептала женщина и неловко совала Нине Петровне деньги.

Нина Петровна вырвала у нее свой локоть, как будто его обожгло крапивой. На лице ее выразились боль и отвращение.

— За кого вы меня, гражданка, принимаете? — пронзительно и резко спросила Нина Петровна. Когда она хотела быть резкой, она производила на людей устрашающее впечатление. Голос ее скрипел и лаял, бледные щеки покрывались красными пятнами, глаза смотрели из-за очков с ненавистью и угрозой.

Но, ослепленная своим счастьем, Синяева не замечала всего этого.

— Поймите, дорогая... Вы сделали... Не знаю, как вас отблагодарить, — бессвязно говорила она, сияя глазами. — Поймите!

Нина Петровна не хотела ничего понимать. Таков уж был ее характер, стойкий, бескомпромиссный, гордый. Если бы она приняла эту подачку, все ее жизненные правила были бы разрушены. Она не считала свою заработную плату вполне достаточной, более того, находила, что ее усилия еще не оценены по достоинству, но свои отношения с государством неизменно уважала.

— Понимать тут нечего! — ответила Нина Петровна, покрываясь красными пятнами. — Вы мне суετε чаевые, а я на чай не беру. Мне не то что на чай, но и на хлеб хватает, представьте себе! И даже с маслом! Уберите свои деньги!

Мокрые от слез глаза женщины жалко моргали. Она уже боялась Нину Петровну, но желание отблагодарить было сильнее.

— Я Синяева, — повторила она.

— Знаю. Ну и что?

— Вы спасли моего мужа.

— Спасла не я. Спас профессор... — И она назвала великое имя в мире медицины.

Против всех своих правил Нина Петровна вдруг пожалела эту молодую женщину и не сказала ей тех уничтожающих слов, какие знала и хотела сказать. Она просто повернулась и решительной походкой пошла к троллейбусной остановке, не оглядываясь и стараясь не сердиться на Синяеву. Когда она садилась в троллейбус, мысли ее уже были заняты покупками, которые ей предстояло сделать.

Обычно она покупала продукты около своего нового дома. Здесь магазины были лучше, и в них было несколько свободнее. В отделении, где торговали сырами, она встретила Елену Васильевну, которая тут же отметила, что Нина Петровна брала сыр самого высшего качества. Елена Васильевна предпочла бы, чтобы Нина Петровна брала сыр подешевле. Чем беднее жила бы Ирочка, тем легче было бы потом ее осчастливить.

Нина Петровна не сделала всех нужных покупок, потому что ей, к стыду своему, захотелось дойти до дому вместе с Еленой Васильевой. Это была явная измена старинному правилу — никогда ни перед кем не плясать. Нина Петровна гнала от себя чувство стыда и без всякого дела шла рядом с Еленой Васильевой. Ей нравилась Елена Васильевна — вот и весь сказ.

Они шли не торопясь, перебрасываясь на ходу короткими фразами. Нина Петровна силилась понять, чего хочет от нее столь самостоятельная дама, как Елена Васильевна. А та искала удачного случая, который помог бы осуществить ее намерения.

Так они шли рядом, и обeim не хотелось торопиться, и обeim казалось, что они получают искреннее удовольствие от общения друг с другом.

— Как живете, Нина Петровна?

— Какая моя жизнь! Больница, магазины, дача.

— Моя тоже.

— Ну уж, не скажите!

— У вас гораздо интересней. Муж, дача! А у меня что? Одна работа. А работа врача вам известна.

— У вас сынок растет, Елена Васильевна. — Как все бездетные женщины в старости, Нина Петровна говорила о детях, горько вздыхая и с какой-то мечтательной завистью. Слово «сынок» вырывалось у нее против воли. Она никогда и никого не называла ласкательно.

— Сынок... Это верчо, — откликнулась Елена Васильевна и вдруг чуть не вскрикнула от неожиданности.

Случай сдвинуть начатое дело с мертвой точки сам шел ей навстречу. Это был Ростик, появившийся из-за угла им наперерез.

— А вот и он сам, — взволнованно сказала Елена Васильевна. — Ростислав! — громко позвала она.

Ростик остановился, увидел мать с незнакомой, малосимпатичной женщиной в очках и отступил к газону, давая дорогу прохожим. Нина Петровна замерла от восхищения и зависти. Какое счастье родить такого сына! Рослый, мужественный, а лицо! Только во сне бывают такие правильные лица!

Елена Васильевна познакомила Нину Петровну с Ростиком. Она хорошо знала, какое впечатление производит на женщин ее мальчик. А сегодня на нем еще был этот небесно-синий костюм изящного крокро...

— Ты домой, Ростислав?

— Да, мама.

— Пойдем вместе.

— С удовольствием, мама.

Нина Петровна от восхищения не могла произнести ни слова. Где-то в глубине ее сильного, железного сердца запел голос молодости. Да, в том далеком возрасте она могла бы полюбить такого!

Когда они подошли к дому, она очнулась от владдевшего ею очарования и сказала как можно мягче:

— Великолепного сына вырастили, Елена Васильевна. И похож на вас, как две капли воды.

— Ах, если бы как две капли! — с искренней горечью отозвалась мать.

Не могла же она рассказать Нине Петровне о том, что сын был, как две капли воды, похож на своего отца и заимствовал у него легкомыслие, склонность к лени, нравственную пустоту. Отец очень легко смотрел на жизнь, но у него была природная хватка. У Ростика тоже было это, но выражалось как-то вяло.

— Очень вы похожи на свою мамашу, — повторила Нина Петровна Ростиму.

— Очень рад, — ответил Ростик и с нежностью посмотрел на мать.

Елена Васильевна поняла, что упустить такой случай было бы непростительно.

— Знаете, Нина Петровна, — сказала она, — Ростик так скучает по вечерам...

Ростик не удивился, хотя никакой скуки по вечерам не испытывал.

— Действительно скучаю, — покорно подтвердил он.

— А между тем, — продолжала мать, — рядом живет очаровательная девушка.

— Неужели? — воскликнул Ростик.

— Да, представь себе. Ирочка, племянница Нины Петровны. Я с ней познакомилась. Прелестное создание.

Нина Петровна, которая силилась понять, чего хочет от нее Елена Васильевна, так ничего и не поняла. Она не допускала и мысли о том, что Елена Васильевна может интересоваться Ирочкой. Она и представить себе не могла, что такой молодой человек, как сын Елены Васильевны, может скучать по вечерам.

— Ваш сын скучает?— удивилась Нина Петровна.— Кто этому поверит!

Елена Васильевна начинала ответственное дело и в свою роль главного организатора входила властно и темпераментно.

— Да, поверить трудно. Но он у меня домосед. Ростислав с интересом посмотрел на мать. «Неужели я домосед?»

— Не судите о моем мальчике по его внешности,— продолжала Елена Васильевна.— Про Ростислава можно подумать, что он сердцеед, а на самом деле во многих отношениях он сущий ребенок.

Ростику было лень возражать, хотя сравнение с ребенком претило ему. Но, видимо, так было нужно. Пусть домосед и ребенок! Мать знает, чего она хочет. Ростик вообще любил подчиняться. Думать он не любил и подчинялся механически, а не по убеждению.

— Я хочу видеть вас у себя!— с горячностью, как будто эта мысль только что ее осенила, воскликнула Елена Васильевна.— Приходите к нам в гости со своей Ирочкой!

Вот оно! Его, кажется, хотят женить. Какая, честно говоря, жалкая комбинация! Но он же сам просил. Какое это вообще имеет значение?

Важен результат. Просто ему необходимо числиться женатым.

— В ближайшие дни,— настаивала Елена Васильевна.— Скажем, завтра, послезавтра. И мужа приводите. Давайте дружить домами.

Нина Петровна была сражена. «Дружить домами!» Эти слова одним своим звучанием, не говоря уже о смысле, повергли ее в прах. Оттуда она простирала руки к своей победительнице, покоренная, беспомощная, счастливая.

— Спасибо, Елена Васильевна. Я очень тронута. Придем.

— Обязательно с мужем.

Нина Петровна промолчала.

— И с племянницей.

— С Ирочкой непременно,— ответила Нина Петровна,— а насчет мужа не обещаю. Он на даче. Кроме того, он со странностями. Весь, знаете ли, в прошлом...

Оболенная Еленой Васильевной, она ни за что, ни про что шельмовала своего Ивана Егоровича. Ей не хотелось вводить его в изящный дом Елены Васильевны и ее красавца-сына в небесно-синем костюме.

Но, как назло, Иван Егорович, откуда ни возьмись, явился сам, и Нина Петровна, не скрывая своего недовольства, назвала его неряхой за то, что он был одет как придется и давно не брит.

Иван Егорович несколько не смутился. Эка штука, небрит!.. Весело объяснив Елене Васильевне, что живет в уединении и поглощен матерью-землей, он преподнес ей пучок сочной малиновой редиски. Елена Васильевна с острым интересом разглядывала этого заурядного человечка. Похож на стручок, а видно, что не прост! Глаза симпатичные, ясные, почти детские, но в них светится сила, ум. У сына тоже симпатичные, ясные глаза, но никакой силы в них нет. В связи с Ростиком это знакомство показалось Елене Васильевне ненужным, даже опасным. Лицо

ее при этом, конечно, сохранило свое непринужденно-приветливое выражение.

— Вы огородник и цветовод,— с похвалой сказала она и любезным тоном спросила:— Простите, ваше имя-отчество?

— Иван Егорович,— ответила Нина Петровна с такой миной, словно это имя-отчество давалось самым последним людям на свете.

— Иван Егорович!— с удовольствием и по-женски кокетливо подхватила Елена Васильевна.— Даже сказать вам не могу, как я люблю наши простые русские имена. Теперь мода пошла на Эдуардов, Ролланов и даже Аид...

Никаких русских имен она не любила. Ей нужно было понравиться Ивану Егоровичу, и она добивалась этого, как умела.

Они стояли у подъезда своего дома. Ростислав от скуки закурил и протянул Ивану Егоровичу открытый серебряный портсигар. Верным нюхом курильщика Иван Егорович учуял, что сигаретки там особенные, ненашенские. Он взял одну, мять не стал и вставил в зубы такой, как она была,— упругой, холодной, пахучей.

— Ты же бросил!— с холодным упреком сказала Нина Петровна.

— Привозные,— ответил Иван Егорович, закрывая глаза от удовольствия.

Он затаился, не открывая глаз и подняв брови. Ему сделалось хорошо, как в обмороке. Ростик с любопытством смотрел на этого маленького старика. Он знал коварное действие американских сигарет на непривычный мозг. Иван Егорович выдержал испытание блестяще.

— Вот дьявол!— весело выругался он.— Два с лишним месяца не занимался, а словно час назад бросил. Это какие же?

— Американские,— ответил Ростик и произнес длинное непонятное слово.

Иван Егорович держал сигарету двумя пальцами, рассматривал ее и покачивал захмелевшей головой.

— Вот ведь капиталисты! Не хочешь, а закуришь. Сволочи!

Пока они стояли у подъезда, Иван Егорович успел два раза взглянуть на сына соседки и совсем незначай подумал про себя, что сын у нее плоховат... Чем именно плоховат, Иван Егорович еще не мог бы сказать, но видел, что плоховат. У парня был представительный вид, здоровые плечи, тяжелые руки, лицо хоть куда, но все равно Иван Егорович подумал, что он плоховат. На взгляд Ивана Егоровича, все эти внешние черты как бы расплывались, не имея единого организующего центра.

Все у парня было на месте, больше того, хоть в раму вставляй и любуйся, а вот что-то главное отсутствовало, и все тут.

Поразмыслив так, Иван Егорович забыл бы о Ростиславе, если бы Елена Васильевна не заставила его насторожиться.

— Приглашаем вас, Иван Егорович. Приходите всем семейством.

Это, извините, зачем же? Зачем ему, извините, этот парень в голубом костюме? И эта дамочка с молодыми губами, выделанным лицом и знающими глазами старой бестии?

У них своя жизнь, у него своя.

— Что же вы молчите?— с деловитым лукавством спросила Елена Васильевна.— Пренебрегаете?

Иван Егорович мог бы ляпнуть совсем не то, что требовалось. Нина Петровна ответила за него радушно и благодарно:

— Придем, придем. Все придем.

ПЕРЕД НОВЫМИ БОЛЬШИМИ СОБЫТИЯМИ

Илана Егоровича избрали народным заседателем, и с некоторых пор он стал исполнять свои обязанности в участковом суде. Слушая одно дело за другим, он обратил внимание на то, что среди обвиняемых много молодых людей. Конечно, не следовало покоряться первым впечатлениям. Вообще-то много ли молодежи проходит через суды! Но ведь коммунизм... Это слово во всем его объеме казалось Ивану Егоровичу огромной и в то же время простой мерой всех вещей. И если брать это слово мерой всех вещей, то получалось, что молодежи проходило через суды все-таки многовато. Он не хотел этому верить и всей душой болел за молодежь.

Ирочка тоже рассказывала о своей бригаде нехорошие вещи. Иван Егорович не верил, а Ирочка сердилась на него и чуть не плакала от обиды. Но как Иван Егорович мог поверить, будто бригадир берет с рабочих что-то вроде налога? Не было этого в рабочем классе никогда. До революции водилось на казенных заводах и давно должно было сгинуть навеки. Чего-то Ирочка не разобрала, что-то преувеличила. Но что-то там у них все-таки есть. Иван Егорович собирался пойти к ним и разобраться, но лето, дача, цветы, огород... Не стал ли уж он, чего доброго, индивидуалистом? Нет, это не могло с ним произойти. Слишком много времени отнимает народный суд. Но все равно он должен разобраться в том, что удручает Ирочку, и в случае чего задать перцу этому негодяю. Как его зовут? Демой, кажется. Иван Егорович решил в самые ближайшие дни встретиться с этим Демой. Нина Петровна возражала против такого вмешательства. Иван Егорович сердился на жену, но она спокойно отвечала, что он святым был, святым остался и совершенно не знает жизни. Его вмешательство все равно ничего не изменит, а Ирочке повредит. С такими явлениями надо бороться не словами, а государственными делами. После этого разговора Иван Егорович окончательно укрепился в своем желании встретиться с Демой и во всем разобраться.

Однажды утром, когда Ирочка собиралась на работу и пила чай на кухне, Иван Егорович решил попросить ее о бригадире.

Ирочка торопилась и пила чай, обжигаясь. Нина Петровна строго-настрого наказала ей не уходить на работу голодной. Почти каждый вечер тетка надоедливо напоминала Ирочке, что у нее слабое здоровье и что при первом опасном заболевании она рискует жизнью. Ирочка точно соблюдала предписанный теткой режим и по утрам исправно пила чай с бутербродами.

Иван Егорович пришел на кухню, сел, закурил.

— Опять куришь, дядя?

— Немного. По одной.

— А по две сразу и не курят.

— Что скучная?

— Опаздываю.

— Где же? Времени достаточно.

Ирочка поняла, что у него к ней какое-то дело.

— Ты мне что-то сказать хочешь? — спросила она, чтобы не тянуть время. — Скажи.

— Скажу.

— Не тани. Я тороплюсь.

За окном шумел ветер, по небу неслись синие

глухие тучи, от одного вида которых делалось холодно.

— Говори, дядя.

— Как ваш бригадир?

— Все так же.

— Ты, Ирка, уверена, что он действительно занимается плохими делами?

— Вот еще! — Ирочка сухо усмехнулась. — Конечно, уверена, если из первой зарплаты полсотни отвалила.

— Тогда молчу.

Надо было бы спросить, почему дядя вдруг вспомнил о бригадире, но на это уже не осталось времени. Ирочка затаила перед зеркалом свой мальчишеский кожаный пояс, лихо прилепнула на голову синий берет и, став чужой на вид и особенно дорогой Ивану Егоровичу, пулей вылетела за дверь.

Иван Егорович решил действовать. Сегодня он найдет бригадира и будет иметь с ним серьезный разговор. С человеком, который сбился с пути истинного, нужно прежде всего серьезно поговорить. Если это не поможет, надо применить силу. Готовясь к своей нелегкой миссии, Иван Егорович обдумывал все возможные варианты будущего разговора. Но все эти варианты преследовали единственную цель — прежде всего разведать в человеке душу. Иван Егорович знал, что человеческие души бывают всякие: темные и глухие, как подземелье, мокрые, как пар, светлые, словно навсегда пронизанные солнцем. Не узнав, что за душа у человека, нельзя найти к нему ход. Иван Егорович сознавал, что многие считали этот взгляд старомодным и больше всего доверяли анкетным данным. Но он всегда упорно придерживался этого взгляда и не мог ручаться за бумагу. К дяде Деме он шел, чтобы разведать его душу. Если бы он полагался на бумагу, то пошел бы в отдел кадров и откопал дело дяди Демы. Там наверняка все было бы вполне прилично и надежно.

Иван Егорович появился на Арбате около пяти часов, когда пескоструйщики кончали свой рабочий день. Володька Левадов чистил фасад под карнизом крыши, где оставались орехи, как на косьбе. Заметив Ивана Егоровича, он не удивился. Наверно, ищет племянницу. Но Иван Егорович минут пять переговаривался с бригадиром, затем они вместе медленно прошли по улице, потом бригадир вернулся к машине, поговорил с мотористом и ушел. Спустившись, Володька ни у кого не мог узнать, в чем было дело.

Иван Егорович соображал, где лучше всего поговорить с бригадиром. Хорошо бы зайти в пивную, но пивных теперь в Москве осталось меньше, чем церквей, да и разговор, пожалуй, не для пивной.

Они вместе дошли до Гоголевского бульвара, поглядывая и присматриваясь друг к другу. Впрочем, присматривался Иван Егорович. Бригадир несколько не интересовался этим незнакомым стариком, думая, что он пришел устраивать на работу какого-нибудь своего парня.

— Сядем?

Сели.

— Закурим?

Закурили.

Вокруг бегали дети и сидели пенсионеры с газетами.



— Одно горит, другое тлеет,— добродушно сказал Иван Егорович.

Дядя Дема не понял, но откликнулся значительно:
— Да-а...

Он думал лишь о том, выгодное или пустое дело у старика.

— Давай знакомиться,— чуть внушительнее, чем до сих пор, сказал Иван Егорович,— зовут меня Иван Егоров. Фамилия не громкая. Дело не в ней. В партии коммунистов состою с семнадцатого года...

Дядя Дема поежился. Ждал дела с наваром, а тут партийный стаж с семнадцатого года...

— Очень приятно. Я помоложе. В сорок третьем году вступил, на Курской дуге. Перед атакой. А в семнадцатом хотел вступить, да не мог. Еще на свете не было.— Дядя Дема громко захохотал.

Иван Егорович оглядел собеседника. Ирочка говорила чистую правду: глаза у него были непонятного цвета. Они не смотрели, а высматривали. Не глаза, а гляделки. Но надо было сдерживать нарастающее раздражение против этого человека, который вступил в партию на Курской дуге перед атакой и не понимал, что дурацкие шутки на этот счет непростительны.

— Ты взятки берешь! — сказал Иван Егорович.

Это было не то, что надо, и не так, как он задумал. Сорвался! Все его благие намерения насчет души и ключей к душе полетели к черту. Не мог он спокойно смотреть на дядю Дему с его пестрой ковбой-

кой, шляпой, усами. И атака на Курской дуге не помогла.

Бригадир мигом раскусил Ивана Егоровича. Пешкодер из заслуженных, такой же неопасный, как те детишки, что бегали вокруг. Ссориться с ним не стоило, но и спускать даром не имело смысла. Дядя Дема повременил, желая, чтобы нападающий выпустил побольше пороку. Но тот больше в бой не лез.

— А еще ничего вы не скажете? — кротко спросил дядя Дема.

Иван Егорович окончательно понял, что сорвался. Что он мог еще сказать? Пришлось смолчать.

Дядя Дема захохотал.

— Беру. Тыщами. Давай. Не откажусь.

Он радостно хлопнул себя по ляжкам.

— Милиён нагреб,— продолжал он и, вдруг резко изменив тон, грубо крикнул: — Душу мог бы из тебя вытрясти. Но возраст! Бога благодари.

На мгновение Иван Егорович увидел глаза бригадира. Они были желтые, с блеском, с кровью. «Берет, берет»,— увидев эти глаза, сказал себе Иван Егорович. Дема же был возмущен самым честным образом. По его убеждению, он вовсе не брал. Те гроши, что были припрятаны у него на черный день, он накопил из собственных получек. Складчина же, как известно, пропивалась всей компанией.

Дема был искренне возмущен и, не сказав больше ни одного слова, с оскорбленным видом удалился. Ивану Егоровичу было ясно, что бригадир выдал се-

бя. Конечно, один злобный взгляд еще не доказательство, но Иван Егорович знал правду. Теперь он этого дела не оставит.

На другой день он появился на набережной, где работали девушки.

Но здесь его ждал новый удар.

Что бригадир! Тот хоть выдал себя взглядом. А девчата просто-напросто не пожелали разговаривать с Иваном Егоровичем. Они опасливо поглядывали на него и говорили, что не понимают его вопросов. Ничего они не слыхали, ничего не знают. Видно, он попал не туда.

Ирочки не было, она работала на Арбате, и про нее Иван Егорович не упоминал.

В состоянии полной растерянности он отправился домой. Что за чертовщина! Ведь дело, в которое он хотел вмешаться, было кровным делом этих девчат. Почему же они проявили такое безразличие? Что сие означает? Ведь они же явно ввали, будто ничего не знают. В чем же дело?

Он во всем винил себя. Надо было действовать через Ирочку. А он понадеялся на свое умение разговаривать с рабочим классом.

Иван Егорович был, как говорится, на вершок от истины, но главного все-таки не понял. Он хотел не прошено, со стороны вмешаться в жизнь рабочего коллектива. А этот коллектив дорожил своим достоинством. Девушки не любили дядю Дему и мечтали избавиться от него, но они чувствовали, что какая-то доля вины за его поступки лежит на них самих. Не в том была загвоздка, что они не хотели выносить сор из избы, нет, но они как бы предпочитали сделать это своими силами...

Кроме того, они, может быть, не понимали, что Дема не просто дурной человек, а самое настоящее социальное зло.

Потерпев поражение, Иван Егорович, однако, не хотел отступать. Решительный и скорый на поступки, он поспешил встретиться с Ирочкой и Володькой. С ними он надеялся поставить вопрос ребром, с их помощью он хотел прижать к стене бригадира и вытрясти из него душу...

Воодушевленный своей миссией, Иван Егорович пришел на Арбат и в переулке у ворот столкнулся с Володькой. Ирочки поблизости не было. Володька, сидя на ящике с инструментом, делал какие-то расчеты в клеенчатой тетради.

— Здорово, Володя!

— Здравствуйте, Иван Егорович!

— Чем занят?

— Писанина... А вы?.. Неужели к нам?

— Что за писанина? — не отвечая на вопрос, осведомился Иван Егорович. — Вижу, дело у тебя очень важное.

Володька был в плохом настроении.

— Мало того, что план на мне. Еще и считай за них!

Он по праву гордился своим положением в бригаде, но иногда мнил о себе несколько больше, чем следовало.

— За кого же ты считаешь?

— За кого... За бригадира, будь он... Вылез в начальнички, а считать не умеет. В рублях у него по зданию недоработка, а по метражу переработка. Надело, честное слово! Я один на семьдесят процентов программу тяну.

Иван Егорович видел, что у Володьки много истинных качеств, необходимых рабочему человеку: сметка, ловкость, сила, смелость. Он сразу определил Володьку, как живого и талантливого парня. Но то, что

Володька любит прихвастнуть, тоже было ясно Ивану Егоровичу.

— На семьдесят? — невольно улынулся он. — Ого!

— Что «ого», что «ого»! — Володька рассердился. — Пусть какой хотите контроль придет. Один тяну. Кто этот дом сделал? Я один сделал.

— Ты, ты, Володя! — рассмеялся Иван Егорович.

— Смеетесь?

— Смеюсь.

— Ну и смейтесь!

— Это, брат, старый разговор, — не меняя веселого тона, объяснил Иван Егорович. — Так и машинист на паровозе может сказать: я один весь поезд тяну.

— Машинист! — недовольно протянул Володька. — Машиниста самого паровоз тащит, а я что? Я свой снаряд должен сам таскать. Подымите-ка его, попробуйте!

Ивана Егоровича одолевало нетерпение объяснить с Володькой, чтобы сейчас же понять, почему девушки не захотели разговаривать о бригадире. Иван Егорович закинул две — три фразы, как ему казалось, очень тонкие. Володька дипломатических тонкостей не понимал и грубо сказал Ивану Егоровичу, чтобы тот не лез в дело, в котором как следует разобраться не может. Тогда Иван Егорович отбросил всякие тонкости и резко возразил, что тут и разбираться-то не в чем. Дело это простое, допотопное, гнилое, и как не стыдно Володьке выгораживать бригадира-взяточника.

Володька с пустыми глазами заявил Ивану Егоровичу, что он никого не выгораживает и никаких предосудительных поступков за бригадиром не знает. Ивану Егоровичу стало ясно, что вся его миссия доброй воли окончательно рушится. Он сердился, шел напролом, говорил Володьке о круговой поруке, о том, что бригадир запугал рабочих, о преступном потворстве, а Володька терпеливо молчал, и глаза его оставались пустыми.

Иван Егорович плюнул и ушел, не попрощавшись с Володькой.

Да, эта миссия была прекрасно задумана, но приходилось признать, что она решительно не удалась. Иван Егорович хотел довести дело до райкома партии, но с кем же идти в райком, если даже Володька уклонился от прямого разговора... Иван Егорович знал, что у этого парня честный ум и горячее сердце. Он не верил, что Володька боится бригадира. Тут было что-то другое.

Расстроенный до глубины души, Иван Егорович терялся в догадках и никак не мог понять, в чем же было дело.

А Володька и без Ивана Егоровича знал, что дядю Дему давно пора ударить по рукам, но все медлил, тянул, откладывал. Он все ждал какого-то толчка, который взорвал бы его терпение и заставил решительно действовать. Так же, как и девчатам, Володьке казалось, что дядя Дема, в сущности, свой парень и пользы от него в конечном счете больше, чем вреда.

После долгих размышлений Иван Егорович понял только одно: Нина Петровна была, как обычно, права, когда не советовала ему вмешиваться не в свое дело.

В тот момент, когда Иван Егорович удалился с Арбата, дядя Дема с дурацки-блаженным видом сидел в парикмахерской. Никто не знал, что он назначил Ирочке свидание в садике у Никитских ворот. Перед свиданием дядя Дема решил сбрить свои желтые усы.



Глава двадцатая

ДЯДЯ ДЕМА БЕЗ УСОВ

Когда лихая парикмахерша с космами, как у древней ведьмы, сделала свое черное дело и дядя Дема увидел себя в сияющем зеркале начисто без усов, на душе у него сделалось печально и пусто. Если наше повествование по многим признакам можно отнести к тысяча девятьсот пятьдесят восьмому году, то следует сказать, что сие таинство Дема откладывал тринадцать лет. Он считал, что именно благодаря своим усам он благополучно прошел сквозь все испытания войны. Он знал, что усы старили его, не любил их и все-таки щадил из-за этого тайного суеверия. Кроме того, он попросту привык к своим усам, и эта привычка была сильнее его намерений и решений.

Из всей бригады только один Володька своим проныцательным умом понимал, что дядя Дема рядится. Весь его внешний вид, включая усы, отражал заско-рузную деревенскую манеру держаться как бы наперекор городской среде. Люди, подобные дяде Де-ме, почему-то считают высшим шиком этак вот ря-диться под что-то, давно несвойственное современ-ной русской деревне. Роняя на пол свои желтые усы, дядя Дема как бы ронял свой шик, а вместе с этим шиком и нечто более существенное и важное, может быть, ту самую корявость, которая была ему так выгодна в общении с людьми.

— Ну вот, — сказала косматая парикмахерша, — на человека стал похож. Годов сто слетело.

Дема не стал с ней разговаривать. Пусть бреет молча. Без усов лицо стало постное, продолговатое, никудышное. В общем, неприемлемое лицо.

Но чего не делает любовь!

Он сбрил усы специально для Ирочки. Однажды Ирочка сказала ему, что они портят его вид. Он это запомнил. Ему очень хотелось понравиться Ирочке. Она нагоняла на его глухую душу смутную любов-ную тоску. Дядя Дема понимал, что в этом случае

корявость может ему помешать, и, не раздумывая долго, отправился в парикмахерскую.

Девушки давно пошучивали, будто дядя Дема вос-пылал к Ирочке нежными чувствами. Но она и во-образить не могла, чтобы этот старый, мусорный, со своими желтыми усами... А он воспылал и самым приличным образом назначил ей свидание. При этом говорил, что будет «очень рад» и тому подоб-ное.

Ирочка не любила дядю Дему люто, как может не любить негодяя честный и взыскательный к лю-дям человек. Но, как это ни странно, она решила пойти на свидание с ним. Ее вело любопытство не-приязни. Ей хотелось до конца понять дядю Дему и потом разоблачить его перед всей бригадой.

Насчет его намерений она не сомневалась, считая их гадкими, но ей хотелось увидеть, как он станет проявлять себя.

Единственно, что беспокоило Ирочку, — поймут ли девушки ее намерение? Они считают ее очень умной и передовой, но иногда прямо говорят ей, что она слишком умничают. А надо просто идти по жизни. Дядя Дема ясен им, как лопух. Если девушки узнают, что Ирочка вознамерилась что-то еще понять в нем, они засмеют ее...

Поколебавшись немного, Ирочка решила все-таки пойти в садик к Никитским воротам.

Ей чуть было не помешал Володька. Он загорелся желанием непременно встретиться сегодня и поехать купаться в Химки. Всеми правдами и неправдами она отделалась от него. Оставались Крохины. Нина Пет-ровна шла к ним вечером в гости и непременно хо-тела, чтобы Ирочка пошла вместе с ней и Иваном Егоровичем. Ирочка не придавала серьезного значе-ния этому приглашению. Можно опоздать, можно во-обще не прийти. Да и звали к девяти вечера. Ирочка надеялась, что к тому времени дядя Дема успеет

проявить свои скрытые намерения и она покинет его, торжествуя победу.

Когда Ирочка пришла в сквер у Никитских ворот, дядя Дема слонялся среди ребятшек, помогая им найти закатившийся мяч или поднять упавшую игрушку. Но что дети и игрушки! Ирочка узнала дядю Дему лишь по его костюму и шляпе. Костюм этот, грубошерстный, темно-коричневый, он надевал в дни получки, а шляпа была все та же — соломенная, выгоревшая, с грязно-черной лентой. Но лицо, лицо! Ирочка поперхнулась от подавленного возгласа удивления. Ей жалко улыбался не сам дядя Дема, а некто приблизительно похожий на него. Этот некто был моложе дяди Демы лет на пятнадцать. В конце концов Ирочка не удержалась от смеха.

— Смейтесь, — уныло сказал дядя Дема.

Ирочка хотела остановиться и не могла.

— Я ведь по-простецки. Неловко будет городской барышне с усами ходить. А вы смеетесь... Вот и угоди. Мне и самому смешно. Губы голые, даже закурить боюсь...

Ирочке стало смешно вдвойне. Совсем не случайно, а со смыслом он обращался к ней на «вы». То, что он называл ее старомодно «барышня», также свидетельствовало о серьезности его намерений.

«Все-таки, — подумала Ирочка, — он глупый человек». Но прежде чем дать ему отпор, она решила сделать вид, что ничего не понимает.

Когда дядя Дема говорил, а она смеялась, ей почудилось, что из-за решетки бульвара кто-то за ними наблюдает. Она так испугалась, что не посмела оглянуться. «Нервы», — решила Ирочка. Направляясь на это свидание, она и в самом деле очень нервничала.

Дядя Дема стоял рядом с Ирочкой, весь на виду. На нем были желтые туфли, грязные, стоптанные, совсем не чистенные, и пестрая ковбойка с открытым воротом. Он распространял вокруг себя густой запах лука, но водкой от него не пахло. Может быть, гречневой крупы наелся. Ирочка чувствовала, что дядя Дема держится необычно, и с нетерпеливым интересом ждала, как он будет вести себя дальше. Ей казалось, что весь бульвар наблюдает за ними. Она оглянулась к решетке, но там никого не было.

— Я не глупый, — неожиданно сказал дядя Дема. — Все понимаю.

«Если все — значит, глупый», — мелькнуло в голове у Ирочки.

— Понимаю все, что этого дела касается, — уточнил дядя Дема.

— Какого? — не поняла Ирочка.

— В залетки вам я теперь не гожусь.

Ирочка молча пошла к скамье. Дядя Дема последовал за ней. Его слова напомнили ей деревню, колхоз, куда она ездила «на картошку». Ирочка вспомнила улицу в лесном селе и парня в кепочке, который спросил ее: «Я тебе в залетки не гожусь?» Тогда она дичилась, была маленькой, слова этого не понимала. А «залетка» — это любовь и не любовь, жених и не жених, судьба и не судьба, избранный и неверный. Что было ответить дяде Деме? Ирочка смутилась. Они сели рядом. Ирочка покосилась на дядю Дему, и ей до ужаса захотелось щелкнуть его по носу. Лицо дяди Демы выражало истинную скорбь. Ирочке опять стало смешно.

— Вам без усов нельзя, — с трудом удерживаясь от смеха, сказала она.

Он это знал и без нее. Если он жил, рядясь, то усы придавали завершенность его корявому стилю. Теперь что-то надломилось. Теперь была беда. Но он, как человек, опасно раненный, еще не верил, что это настоящая беда.

— А что в них хорошего? — с кислой миной сказал дядя Дема. — Вы смеетесь, а я не серчаю, нет. Это молодость ваша. Я ведь для вас старался... Вдруг он огляделся по сторонам, заулыбался и торопливо проговорил: — Я сейчас! Только в одно место бегаю! Пусть тут никто не садится.

Он опрометью бросился к площади.

Ирочка почувствовала себя душой. Зачем она пришла? Какой бездарный, если вдуматься, поступок! Разоблачить хотела... Какая тупость! Сбежать теперь? Но это нелепо. Он ничего обидного не делает. Он хочет поговорить с ней. Ирочке начинает казаться, что-то неправдоподобное, дикое... Влюбился, может быть? Матерщинник, грубиян, заражающий своей развязной грубостью молодых ребят! Ах, да что там! Дядя Дема — и любовь! Нет, это невозможно!

Ирочка увидела, что он спешит к ней с какими-то покупками — в руках.

— Вот, — учтиво сказал дядя Дема, глядя на нее напряженным взглядом. — Забавляйтесь.

В одном кулке было развесное печенье, в другом — карамель-смесь, в коробке с золотым оленем — шоколадный набор.

— Что это вы? — спросила Ирочка без улыбки. — Чай пить собрались?

Дядя Дема не понял.

— Забавляйтесь, — повторил он. — Что ж так сидеть-то?

Ирочке вдруг все это надоело.

— Дядя Дема, зачем вы меня позвали?

Он молчал, держа свои покупки.

— Забавляйтесь, — третий раз повторил он, очевидно, полагая, что Ирочка стесняется. Он был по-своему радушен. Безразличие Ирочки обижало его. Но вместо того, чтобы сказать ей об этом, он сказал: — Для чего же я потратился?

Ирочка отвернулась. Как дядя Дема ни был «коряв», старая деревня еще никогда так ярко в нем не проступала.

— Не знаю, для чего вы потратились. Меня больше интересует, для чего вы меня позвали?

Ничуть не смутившись, дядя Дема стал накладывать печенье в карманы пиджака.

— Для того и позвал...

— Для чего?

— Познакомиться.

Ирочка решила, что настало время вывести его на чистую воду.

— Дядя Дема, — настойчиво сказала она, — давайте поговорим по-хорошему. Для чего вы назначили мне свидание?

— Освободите! — почти простонал он вместо ответа и протянул Ирочке коробку с шоколадом.

— Хорошо, — согласилась Ирочка. — Мы с девушками. Скажу, от вас.

Он тяжело задвинулся.

— Это вы напрасно. Их давайте не мешать.

— Почему?

— Вредные.

— Ну, что вы! Они? Ничуть!

— Они-то! Ого!.. — Он недобро смотрел вдаль, точно видел тех, о ком говорил. — Я давно бы от них отделился, кабы моя воля. Они... — с силой сказал он и не нашел нужных слов. Собственно, слова-то были, но для Ирочки не годились.

— А ведь когда-то, — смело начала Ирочка, — вы ухаживали за ними! За каждой из них по очереди.

Он оторопел.

— Сначала за Ксюшей, — продолжала Ирочка. — Затем за Клавой. Потом и к Римме в гости ходили. Что, не правда?

— Враки!

Ирочка тоже оторопела.

— Как?!

— За Ксенькой страдал. И то самую малость, временно. А насчет Клавки... Вот уж чистая небылица. Ни кожи, ни рожи. Ночью приснится — с койки полетишь! А к этой, как ее?... К Зарницыной я по делу, мириться ходил. Разругались насмерть. Вот и вся обедня.

Ирочка сознательно пересолила. Сердась на бригадира, девушки иногда говорили, что он ведет себя с ними непорядочно. В качестве примера они указывали на Ксюшу. Но сама Ксюша, между прочим, ничего дурного о нем не говорила.

— Не знаю, кому верить, — сказала Ирочка.

— За Ксюшкой страдал, — угрюмо повторил дядя Дема. — Как за вами.

Ирочка все время ждала объяснения в любви и, кажется, дождалась.

— Как за мной? — повторила она.

— Как за вами.

— Временно?

Он не ответил.

— Самую малость?

Темные глаза Ирочки сияли от веселого лукавства. Дядя Дема думал, что она все еще та робкая и тихая девушка, которую Володька рекомендовал ему как самостоятельную единицу. А она была уже совсем не та. Она стала расторопней в поступках и смелее с людьми — так образовал ее тот маленький коллектив, в котором она теперь находилась. Дема мечтал о девушке, пришедшей к нему сорок дней назад. «Неужели обработали?» — с опаской подумал он. Тогда прощай навеки все его мечты!

— И долго вы страдаете? — настаивала Ирочка. — Временно? Самую малость? Товарищ бригадир, что же вы на мои вопросы не отвечаете?

Он вздохнул протяжно, с горечью. Ирочка уловила острый запах водки и сообразила, куда он бежал. Кульки были маскировкой. Ей стало смешно: оказывается, дядя Дема ее боялся.

— Какой я человек? — сказал вдруг дядя Дема. — Я человек клейменный. На мне, ежели раздеться, живого места нету. С ног до головы на мне война. И на голове война. Если голову моешь и крепко потрешь, оттуда кровь бежит. Кругом война. — Он для того и выпил, чтоб, когда подействует, высказаться единым духом. — Я говорю, кругом война. Как призывали меня освобождать братьев-славян, так я и не выходил из войны до того дня, когда наши ворвались в рейхстаг. Чего вы от меня хотите? Напрасно.

Ирочка не могла понять, что «напрасно», но слушала его почти с испугом.

— Напрасно вы от меня хотите! Напрасно!

Он повысил голос. Люди, проходившие мимо, оглядывались в их сторону.

— Напрасно от меня требовать. Чего нет, того нет.

— Чего нет? — спросила Ирочка.

— Не знаю. Всего. Форсу...

— Форсу? — удивилась Ирочка.

— Форсу. Нету его во мне. Из деревни я ушел воевать, и живого места на мне нету. Такой я человек. Понятно?

— Понятно.

— Но я человек или не человек?

— Человек.

— Ладно. Теперь мы говорим: потребности... Да?

— Да.

— У человека должны быть потребности человеческие?

— Должны.

— Опять мы читаем: возросшие потребности. Да?

— Да.

— Ну вот...

— Что же именно?

— Завлекла ты меня, девушка! — с болью, упреком, страданием сказал дядя Дема. — Совсем ты меня завлекла. Понятно?

• Ирочка понимала только то, что рядом с ней сидел человек несчастливой жизни, одинокий, не любимый многими и в первую очередь ею самой...

— Дядя Дема... — сказала Ирочка и впервые взяла его за руку.

Рука у него была твердая и холодная, точно состояла из одних костей.

Ирочка старалась говорить как можно мягче:

— Вы же старше меня больше чем вдвое! И мы с вами до того разные, что даже выразить невозможно! Не стоит, дядя Дема, нехорошо. Потом я вам должна сказать всю правду. Меня любит Володька Левадов... Неужели вы не замечали?

— Левадов? — удивленно переспросил дядя Дема. — Он же тебя бросит! А я не брошу. Ты подумай... Я ведь на тебе первым делом женюсь. Не то чтобы баловство... У меня и деньги на семью есть.

Как ни жаль было Ирочке дядю Дему, все же она не могла сдержать улыбки. Глаза Демы помутнели, и он заплакал. Это были не то стариковские, не то детские слезы горя и обиды.

— Дни и ночи, — говорил он сквозь слезы, — думал... Ничего, что образованная. Не заносится, пошла к нам на улицу работать. Думал, сойдемся характерами. — Его слезы иссыхали, и он продолжал, заглядывая Ирочке в глаза: — И усы... Все для тебя! И не старый я. Меня война побила. Но я не старый. Выходи! Не пожалеешь.

Ирочка шла на свидание с намерением беспристрастно разоблачить дядю Дему. Теперь от этого намерения не осталось и следа. Может быть, он действительно полубил ее, этот побитый войной и несуразный человек?..

— Дядя Дема, — испуганно попросила она, — не надо, дядя Дема! Клянусь вам, я Володьку люблю!

От волнения она сама не слышала, что говорит. Впервые в жизни ей приходилось отстраняться от мужчины с его мольбой и горем. Отстраняясь, она не знала, что надо говорить. Когда Ирочка поняла, что поклялась любовью к Володьке, она невольно удивилась легкости, с какою дала эту клятву. Она никогда не думала, что в самом деле любит Володьку и ни на кого другого не променяет. Но изменить что-нибудь было уже невозможно. Володька появился неожиданно, как из-под земли.

С пепельными, пересохшими губами, которые дрожали так, что она видела это, Володька сказал: — Ты уйди, Ирина! Я знаю, ты не виновата.

Испуганная до тоски, Ирочка поднялась.

— А мы с ним посидим.

Уходя, она слышала беспомощно-просительные слова дяди Демы:

— Коробок оставили! Захватите... Для вас же куплено!

Потом она услышала хлесткий, противный звук пощечины. Оглянувшись, она увидела, как дядя Дема валился со скамейки на землю. Девочка с большим красным мячом бежала от скамейки. Володька медленными шагами уходил в другую сторону, прочь от Никитских ворот. Площадь с автомобилями и голубым троллейбусом на перекрестке качалась у Ирочки перед глазами.

Душила тоска, хотелось заплакать, а слезы не шли.

Глава двадцать первая

ИВАН ЕГОРОВИЧ ПОМАЛКИВАЛ...

Лежа на диване, Ростик читал книгу знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в оригинале. Ему нравилось читать с пропусками, и он скользил по поверхности, не вдаваясь в глубину содержания. Слова занимали его больше, чем мысли.

Американскую книгу в оригинале он читал неспроста. Ему предстояла поездка в Южную Америку, испанского языка он не знал, но в английском был силен и хотел стать еще сильнее. Чтение Хемингуэя давалось ему с трудом. Ростик в совершенстве владел лишь языком отелей и официальных приемов. К большому он, в сущности, и не стремился.

Вообще же он читал книги, как многие молодые люди, небрежно и самонадеянно. Писателей — в первую очередь современных, и в том числе Хемингуэя, — он ни в грош не ставил. Сочинения их он читал рассеянно и поэтому никогда не мог вникнуть в их внутреннее содержание. Вследствие своей рассеянности он был равнодушен и к искусству. Поэтому книги не доставляли ему никакого наслаждения. С самого раннего детства его испортили кинофильмы с дурными сюжетами, и он читал великие книги прошлого и настоящего так же, как смотрел кинофильмы. Внимание Ростика привлекала только канва содержания, то, что обычно называется сюжетом. Смысл произведения и тем более его поэзия были ему совершенно недоступны. Он следил за действием с мальчишеским интересом и давал оценки художественным образам с тем же непростительным мальчишеством. Таким путем великие черты реализма превращались у него в унылую будничность. Он знал, например, что солнце не может быть черным, и вся громадная шолоховская картина гибели Аксиньи для него сводилась к происшествию, в котором кончалась любовная связь Аксиньи с Григорием Мелеховым. Так и книга, которую он теперь читал. Отдельные слова и удачные выражения — другое дело, их Ростик запоминал: пригодятся.

Читать было скучно, Ростик поглядывал на небо. Смеркалось. Вечером будут гости. Сегодня мать начинает очередную кампанию. Старик, который должен был прийти сегодня, интересовал Ростика нисколько не больше, чем старик из книги Хемингуэя. Скучно все это, откровенно говоря. За версту видно, что эти соседи — люди устаревшей категории. Мудрая мамаша почти не говорит о них, а об этой девушке, дочери или племяннице, вообще не упоминает.

Да, в разговорах с Ростиком Елена Васильевна пока не упоминала Ирочку. Она не хотела заранее ее восхвалять. Потом Елена Васильевна объяснит Ростiku, в чем сила простоты и естественности, которые присущи этому прелестному юному существу. А пока пусть сын томится незнанием. Но тут мудрая Елена Васильевна ошибалась. Ростик нисколько не томился. Не умел.

Нина Петровна сердилась. Иван Егорович, видите ли, не желал идти в гости. Ему не понравился этот малый. Елена Васильевна тоже ему не нрави-

лась. Подумаешь, какая цаца! Ну, малый еще туда-сюда, но чем плоха Елена Васильевна?

— Почему она тебе не нравится? — в который раз спрашивала Нина Петровна.

А Иван Егорович и сам не знал почему. Он мог бы многое сказать против Елены Васильевны, но ничего определенного не было.

— Мамама! — буркнул он.

Для людей его поколения это слово было символом буржуазности — пусть мелкой, но все-таки буржуазности.

Нина Петровна, насмерть очарованная Еленой Васильевной, с негодованием отвергла это слово. Она повторила свой обычный тезис, что Иван Егорович безнадежно отстал от жизни, и в заключение с каким-то новым свистом в голосе заметила, что ему теперь вообще никто не нравится, кроме дачной соседки Иллирии Сергеевны.

Этот свист действовал на Ивана Егоровича ошеломляюще. Нина Петровна ревновала? Ничего подобного в его жизни никогда не было! Нина Петровна, с дорогих дней молодости державшая его в режиме равнодушия!.. Нина Петровна в очках, с голосом, как печная задвижка... Она ревновала! Какая небыхлица!

— А что? — сказал Иван Егорович. — Возьму и женью на дачной соседке! Она покрасивее тебя, мамаша.

Он думал пошутить, а вышло скверно. Нина Петровна с тем же свистом в голосе заявила, что ее молодость загублена, он никогда ее не любил, всю жизнь обманывал, волочился, за кем придется... Шли давно забытые имена соседок, приятельниц, знакомых. Иван Егорович мог бы гордиться таким количеством побед, но он ничего похожего не помнил, а некоторые из дам, названных его супругой, были ему в свое время даже ненавистны.

— Плюсуй! — весело и злорадно повторял он. — Плюсуй!

Надо было поскорее надеть выходную пару и таким образом прекратить неприятный разговор. Мамама не мадама, а пойти придется.

— Отвернись! — строго сказал он Нине Петровне. — Я переоденусь!

— Можешь выйти.

— Не желаю! Отвернись!

Она фыркнула с исконным презрением к его тощим красотам. Это значило, что наступил мир. Но про Иллирию Сергеевну она все-таки не забыла и сказала, что он смешон и жалок в своем неравнодушии к этой... Нина Петровна не нашла подходящего слова, ибо ничего плохого про Иллирию Сергеевну придумать не могла. А Иван Егорович тайно и зловеще подумал, с какой радостью он променял бы... И вовремя сдержался. Мысли, мысли буйные и пустые... Один горячий пепел, и больше ничего.

...Ирочка шла домой в прескверном настроении. Ей, как часто говорится в девятнадцать лет, не хотелось жить. Что она наделала! Зеленый ужас! Начать с того, что познакомилась с парнем где-то между небом и землей, когда он болтался в люльке перед ее окном. Потом, как ненормальная, воображала, будто он ей послан богом в придачу к

янтарному ожерелью, самому дорогому в ее жизни подарку. «Послан богом!» Откуда сие? Ирочка сразу вспомнила знаменитое письмо Татьяны. Она мысленно сравнила Володьку с Онегиным, и ей сделалось тошно...

С работой тоже получилось нескладно. Пошла бы работать умно, организовано, как все люди. Так нет же! Надо ей было завести ухажера. Что-то теперь будет! Ведь это из-за нее Володька кинулся на дядю Дему. Бедный дядя Дема! Пусть это кому-нибудь и не понравится, но Ирочке жаль его. У него голова пробита и кровь показывается во время мытья. А с Володькой надо решительно порвать, пусть это и не просто. Единственное средство — уйти из бригады. Но это тоже не просто. Любит она свою бригаду или нет? Нет, не любит. Труд ее не очень тяжелый, он не тренирует ее и ничего ей не дает. А уходить все-таки не хочется. Почему не хочется? Теперь непременно надо уйти.

Но почему все-таки не хочется уходить из бригады? Ирочка невольно вспомнила Римму Зарницину. У нее взгляд той девушки, что играла главную роль в кинофильме «Летят журавли». Ирочка давно это заметила. Девушки с ней согласились. Наконец Ирочка все поняла. Ей не хочется уходить из-за Риммы. Римма имеет на нее огромное влияние. Это знают все и, конечно, Володька. Они встречались мало, лишь изредка разговаривали, и то по делу. Римма Зарницина помогла Ирочке войти в тот мир, к которому не сумела подготовить ее школа, действительно оторванная от жизни, как это теперь поняла сама Ирочка.

Вот случай, который Ирочка запомнила навсегда. Ей было трудно привыкать к новым людям. Все ее чуждались, посмеивались над ней. Как-то рано утром, когда вокруг никого не было, к Ирочке подошла Римма, велела сменить шелковую голубую косынку на штапельный платок и посоветовала носить комбинезон не напоказ, с цветными пуговицами и платочком в грудном кармане, а как надо для работы.

— Ты пойми... — Римма старалась говорить как можно убедительнее. — Мы такие же, как ты. Тоже любим одеваться... Но, пойми, противно, когда на работе кто-то хочет выделиться.

Ирочка послушалась и вскоре убедилась, что отношение к ней стало меняться.

Незаметно для себя она успокоилась. В ушах уже не звучал больше противно-хлесткий звук пощечины. При мысли о Володьке на сердце уже не наваливалась безмерная тяжесть. Что ж поделаешь, видимо, надо расставаться...

Успокоившись, Ирочка вспомнила о том, что они сегодня приглашены в гости. Нина Петровна клятвенно обещала Елене Васильевне Крохиной, что придет вечером на чашку чая и непременно с Ирочкой. Елена Васильевна требовала, чтобы Ирочка пришла непременно. А ведь при первой встрече Ирочка могла произвести на соседку только самое отрицательное впечатление. Почему же она теперь так настойчиво ее приглашала? К врачихе — так она называла про себя Крохину — Ирочка относилась с инстинктивным недоверием. Если бы она хорошо помнила все, что прочла у Горького, — а она прочла много, — то ей, вероятно, вспомнилось бы, как он всегда старался понять, что нужно от него человеку, впервые пришедшему в его дом. К новым для него людям Горький относился настороженно. Это, разумеется, не значит, что он не любил людей. Горький очень любил людей. Но любил, зная. Не зная, любить нельзя.

Ирочка была человеком нравственно здоровым.

Это нравственное здоровье подсказало ей, как нужно относиться к Елене Васильевне. Конечно, Ирочка не знала, что Елена Васильевна готовит хищное и лукавое покушение на нее. Матери ведь только казалось, что она устраивает счастье сына. И действительно, она устраивала собственный идеал приличной семьи, которая должна была укрепить положение Ростика в служебном мире. Елена Васильевна не любила Ирочку и не могла любить, потому что не знала ее. Она полностью полагалась на свое тонкое чутье и думала, что все рассчитала точно.

Ровно в девять часов вечера Нина Петровна, Иван Егорович и Ирочка стояли на пороге квартиры Крохиных.

Нина Петровна в темно-сиреновом платье с пожелтевшими кружевами вошла первая, за нею Иван Егорович в черной паре и немного вылинявшем крахмальном воротничке. Последней вошла Ирочка. На ней была темно-синяя плиссированная юбка и украинская вышитая кофточка с длинными рукавами на завязках. Нина Петровна считала, что в этой кофточке Ирочка хороша необыкновенно, и приказала идти к соседям только в ней.

Гостей встречал Ростик. Взглянув на него и на мгновение внутренне застыв, Ирочка сразу же подумала, что именно этот неизвестный и угрожающе-красивый парень по-настоящему послан ей богом. Именно он, а вовсе не Володька. В своем небесно-голубом костюме, с мерцающими любопытством глазами Ростик, несомненно, был послан Ирочке тем же литературным богом, какого сотворил лукавый гений Пушкина. Сегодня она, кажется, в третий раз надела свое янтарное ожерелье. Пусть же дает себе волю поэзия молодости! Вот оно, ее янтарное ожерелье, — этот парень, бросающая красота которого ошеломила ее с первого взгляда.

Несколько лет тому назад Ирочке посчастливилось попасть на новогодний бал в Кремль. Оказавшись в Георгиевском зале, она почувствовала себя ослепленной и на какие-то секунды вдруг потеряла всякую связь с действительностью. Теперь это мучительно-острое состояние повторилось. Ирочка не видела комнат, через которые проходила, и не заметила, как очутилась в глубоком кресле с белым чехлом. Постепенно, как бы сам собой усиливаясь, до нее дошел разговор тетки с Еленой Васильевной.

О чем они говорили? О чем-то чрезвычайно умном. Кажется, о смысле жизни. Ростик курил и старательно улыбался. Между ним и Иваном Егоровичем не могло установиться никаких отношений по той простой причине, что Иван Егорович все время молчал. И молчал не просто, а всем своим видом давая понять, что молчит не зря. Ростика оставалось заговорить с Ирочкой, но он еще не успел разглядеть ее как следует, не знал, с чего начать разговор с ней, и снисходительно слушал женщин.

— Я всегда прививала Ростиславу реальные взгляды на жизнь, — с видимым увлечением сказала Елена Васильевна.

— Например, какие же? — с неподдельным интересом спросила Нина Петровна.

— Когда он учился в школе, я говорила ему: можешь не гоняться за отличниками и не приносить пятерок, но четверки ты должен приносить.

— А он все-таки приносил пятерки! — весело вставил Ростик.

— А он приносил пятерки! — победно повторила мать.

— А я не так. — Нина Петровна горько вздохнула. — Я требовала пятерок.

Ростик находчиво обратился к Ирочке:



«Прочка увидела какие-то страшные, малопонятные рисунки и на них не обратила никакого внимания» (стр. 72).

— И вы приносили пятерки?
Ирочка понимала и не понимала.
— Приносила,— совсем по-детски пролепетала она счастливым голосом.— Я училась хорошо.
— Да, она хорошо училась!— с сухой гордостью подтвердила Нина Петровна.

Елена Васильевна хотела быть понятной и понятной. Она сделала скорбное лицо.

— Я не против вечных истин,— убежденно сказала она.— Конечно, надо быть честным, жить идеями, ненавидеть мещанское болото. Но я против всего несбыточного, идеального. Я против вечных заблуждений, когда нормальный, земной человек витает неизвестно где. Выше дождевых облаков.

Ирочка очнулась от своего оцепенения и начала понимать смысл разговора. Она видела, что рассуждения Елены Васильевны очень нравятся тетке. Ей, Ирочке, они не нравились. Но сейчас она не могла бы возражать Елене Васильевне. Елена Васильевна была матерью Ростика, а Ростик... В Ростике как бы воплотился, возник наяву тот идеал, который она создала для себя когда-то очень давно, еще на школьной парте...

И вдруг этот идеал обратился к ней с той же мягкой улыбкой, с какою слушал весь разговор:

— Ну-с, отличница, чем же мы теперь занимаемся?

Ирочка не знала, что ответить. Сейчас она острее прежнего поняла, что не может сказать точно, чем занимается. У нее была работа без профессии.

— Я на простой работе,— покраснев, сказала она.— Без профессии.

На помощь Ирочке стремительно пришла Елена Васильевна. Она испугалась, как бы Ирочка не уронила себя в глазах Ростика. В то же время она хотела, чтобы он почувствовал себя принцем, спасающим Золушку из бедности и тьмы. Она решительно заявила, что Ирочка напустила на себя блажь и ей совершенно не к чему иметь дело с песком и наводить красоту на московские дома. У Ростика много друзей, и он должен помочь ей устроиться по-настоящему.

Ростик подсел к Ирочке поближе. В том, что она наводит красоту на московские дома, ему почувствовалось нечто оригинальное. Ему всегда хотелось познакомиться с оригинальной девушкой. Чтобы как-нибудь разговаривать с Ирочкой, он подал ей пачку иностранных спортивных журналов. В них были яркие цветные вкладки, на которых Ирочка увидела какие-то странные, малопонятные рисунки и на них не обратила никакого внимания.

Ростик беззвучно засмеялся.

— Ты что смеешься?— спросила мать, заметно следившая за ними.

— Вот это да!— Он все еще смеялся.— Отличница не обратила внимания на абстракционизм самой высшей марки.

Ирочка опять не знала, что сказать. Ей так нравился Ростик, его светлый взгляд был так неотразим, его смех был так приятен, что она просто не знала, как ей отнестись к абстракционизму. Вдруг эти странные рисунки в его вкусе? А она не обратила на них внимания. Надо обратить... Лишь бы вместе с ним...

— Значит, здоровое чутье,— выручила Ирочку все та же Елена Васильевна.— А ты как считаешь?— обратилась она к сыну.

Ирочка подняла глаза на Ростика. Сейчас он казался ей непререкаемым авторитетом.

— Согласен с тобой,— снисходительно сказал Ростик.— Здоровое чутье.

Иван Егорович помалкивал. Заложив руки за спину, он похаживал по комнате и, как на выставке, оглядывал стены.

Володька в это время звонил в квартиру к Ирочке. Ему не открывали. Он не мог поверить, что дома никого нет, и звонил много раз, подолгу. Он еще не пришел в себя после встречи на бульваре и очень страдал. Ему надо было дознаться, как могла Ирочка пойти на это... Если бригадир вынудил ее на это свидание, пусть пеняет на себя!

Володька долго звонил и ушел в тоскливом недоумении. Конечно, Ирочка не открыла ему дверь из-за того, что он не сдержался и ударил Дему по щеке. Теперь она опять будет игнорировать его. Опять придется оправдываться, доказывать, что он не в силах был сдержаться. Будущее казалось ему тоскливым и горьким.

А Ростик, когда над столом зажглись свечи большой чешской люстры, по-настоящему разглядел Ирочку. За столом они оказались друг против друга. И Ростик, так же, как Иван Егорович в памятное утро переезда, вдруг увидел, что Ирочка неотразимо хороша. В ее глазах была удивляющая глубина. Иван Егорович заметил, что с Ирочкой что-то случилось, но не догадался, что случилось самое важное... Догадался об этом Ростик. Ему помог опыт его многочисленных легких побед. Ростик часто нравился умным и проницательным женщинам, которые умели скрывать свои чувства. Что в сравнении с ними Ирочка! Отметив, что она отнюдь не дурна собой и, кажется, способна полюбить его, Ростик решил пустить в ход все свои чары. Он делал это не от души, а с пустым интересом бесцельной победы. Но он страшно удивился бы, если бы кто-нибудь сказал ему, что он действует нехорошо.

Свои чары Ростик пускал в ход не сразу. Сначала он завязывал содержательную беседу, которая должна была создать атмосферу отменной искренности, как бы раскрывающей душу. Затем он переходил к танцам, которые были его сильнейшим оружием. Он танцевал лениво и свободно, как великий артист балета, шаливший в экспромтах.

Для содержательной беседы он на этот раз выбрал абстракционизм. Ирочку он уже называл Иринушкой.

— Иринушка,— говорил он,— вы, конечно, недооцениваете абстракционизм.

Ирочка была убита и в то же время польщена.

— Я... Нет... Да... Недооцениваю...— лепетала она.

— Это очень жаль,— снисходительно продолжал Ростик.— Абстракционизм — опасное явление.

И он стал подробно рассказывать Ирочке, что такое абстракционизм и почему его надо опасаться.

Елена Васильевна слушала сына с восторгом. Нина Петровна завидовала ей, а Ирочка в эту необыкновенную минуту невольно сравнила Ростика с Володькой и почувствовала, что Володька совсем потускнел и, видимо, уже навсегда.

Ростик довольно толково говорил о том направлении в западной живописи, которое именуется абстракционизмом. Ирочка где-то все это читала, но позабыла, потому что абстракционизм ей в жизни не встречался и несколько ее не волновал.

— В Париже я видел молодых людей,— говорил Ростик,— которые ничего не хотят знать: ни родины, ни любви, ни политики, ни войны, ни смерти...

Он говорил очень гладко и восхитил всех, кроме Ивана Егоровича, который по-прежнему считал, что Ростик плоховат. Сегодня Иван Егорович проверил свое первое впечатление, и теперь уже ничто не

могло сбить его с толку. По мнению Ивана Егоровича, Ростик был пустым малым. Что бы он ни говорил, Иван Егорович не мог придавать его словам серьезного значения. Уютно пристроившись к зеленой бутылочке с красивыми наклейками, Иван Егорович потихоньку доил ее, невзирая на все опасности абстракционизма.

Нина Петровна могла раскусить Ростика не хуже, чем это сделал Иван Егорович, но она сама была крохинской породы. Ростик ей нравился, как может нравиться произведение искусства. На Елену Васильевну она смотрела, замирая от зависти и уважения.

Вот какой она всю жизнь мечтала стать!

Ирочке было еще очень далеко до той поры, когда жизненный опыт мог бы подсказать ей такие выводы, которые сделал для себя Иван Егорович. Она смотрела в глаза Ростика и видела в них любовь и нежность. Что-то влекуще-неизвестное было в этом ошеломительно красивом парне, успевшем так много увидеть и узнать. Подумать только, он был в Париже и сам видел людей, подверженных абстракционизму!..

На столе вкусно дышали пирожки. Чешская люстра излучала мерцающий свет. В его мерцании Ирочке казалось, что Иван Егорович уже полюбил Ростика и что Нина Петровна совсем разомлела от общения с такими замечательными людьми, как Елена Васильевна и ее красавец-сын.

Ростик передвинул стул и оказался рядом с Ирочкой. Елена Васильевна разливала кофе и угощала гостей домашним тортом, приготовленным по ее собственному рецепту. Радужно раскладывая по тарелкам цветные куски мудреного теста, Елена Васильевна с комическим ужасом сказала Ивану Егоровичу, что теперь он погиб... Он один выпил бутылку крепчайшего рому, привезенного сыном из-за границы в прошлом году.

Нина Петровна ужаснулась.

— Что ж ты думал, такой дорогой напиток для тебя берегли?—сердито сказала она мужу.

Иван Егорович тихонько посмеивался про себя. Ром был высшего качества и доставил ему истинное удовольствие. Иван Егорович помалкивал, но теперь уже не от презрения к Ростiku, а просто потому, что опьянел и боялся сказать что-нибудь лишнее. В голову сама собой лезла озорная чепуха. Ему хотелось, например, сказать «мадаме», что она еще ничего себе и вполне может пользоваться успехом...

Ростик решил, что атмосфера искренности уже создана и настала пора раскрыть душу. Склонясь к плечу Ирочки, он прошептал:

— Скажите, Иринushка, вы счастливы?

Ирочка вздрогнула. Неважно было, что он спросил.

Ирочку покорила искренность его голоса. Прекрасное лицо Ростика было так близко, что до него хотелось осторожно дотронуться.

Не дожидаясь ответа, Ростик стал говорить Ирочке, что он глубоко несчастен.

— Вам это может показаться смешным,—гово-

рил он.— Физически я сильный человек, спортсмен. Мне как будто не к лицу такие слова. Но поверьте, я говорю правду. Что такое человек, лишенный счастья? Все это,—он обвел рукой вокруг себя,—мертво без личного счастья.

— А как вы понимаете личное счастье?—робко спросила Ирочка.

Она искренне ждала от него откровения и верила, что он может открыть ей все тайны, мучившие ее. А у него для таких случаев была давно приготовлена дежурная, пустая фраза:

— Любовь двух сердец.

Но для Ирочки и эта пустая фраза прозвучала великой правдой жизни, ибо всей силой своего взбуряженного сердца Ирочка сейчас готова была верить, преклоняться, любить. Наконец-то явился герой ее романа, каким она его всегда воображала...

Теперь можно было переходить к танцам.

Ростик подошел к заметно разомлевшему Ивану Егоровичу и с почтительной улыбкой, весело и в то же время учтиво спросил:

— Вы не танцуете?

Иван Егорович понял, что с ним шутят, и серьезно ответил:

— Танцую. «Казачка».

Такого танца Ростик не знал. Ирочка повисла на дяде и впервые за весь вечер расхоталась. Ростик поставил пластинку, протянул Ирочке руку, и они прошли в другую комнату. Ирочке никогда не приходилось танцевать с настоящими мастерами, и ко всяческому стилям она относилась иронически. Но когда Ростик мягко и до изумления неслышно обнял ее и повел каким-то вкрадчивым, лисьим шагом, Ирочка с удовольствием покорилась ему. Он был вполне корректен и не допускал ничего такого, что позволяют себе танцующие мальчишки. С Ирочкой как бы прогуливался мужчина, полный чувства собственного достоинства, изящный, сильный. Он тихо говорил ей, делая паузы, когда этого требовал ритм танца:

— Я и мама живем скромно и тихо.—Пауза.— Мы очень дружны с мамой.—Пауза.— Она у меня молодая и красивая, правда?

— Правда,—ответила Ирочка, с радостью глядя на своего кавалера.

— Я часто бываю за границей.—Пауза.— Могу привезти вам что-нибудь. Пудру, например.—Пауза.— Эти поездки даются нелегко, но это моя работа.—Пауза.— Будем дружить? Хотите?

— Хочу!—радостно ответила Ирочка.

— Я очень люблю искусство.—Пауза.— Большой театр—мой второй дом.—Пауза.— Хотите, на той неделе пойдем в Большой театр?

— Очень хочу!

— Танцует Майя Плисецкая.

Пластинка кончилась. Ростик подошел к радиолу, склонился над ее приборами и повернул к Ирочке свое лицо.

— Будем продолжать? Хотите?

— Очень хочу,—покорно и радостно ответила Ирочка.

(Окончание следует).

КНИГА О БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ

Есть романы, которые показывают жизнь, как картины живописца: красочно, отчетливо и детально. Другие последовательно повествуют, рассказывают о жизни, рассуждают о ней, поучают. А есть и такие, которые написаны прозой, но звучат, как стихи, как песня.

Именно такой поэмой в прозе и является роман А. Авдеенко «Я люблю».

Это песня о людях труда. Она начинается в дореволюционное время мрачным звуком зовущего на работу гудка, от которого в испуге просыпается в рабочем «балагане», пронизанном сырым ветром, старый шахтер Никанор Голота.

«— Давно гудет?

— Не, только что завыл».

«Балаган только еще просыпался, еще стонал гудок, а Никанор уже был готов».

Гудет, воет и стонет сумрачное вступление к этой симфонии труда и любви. И вся первая часть ее «гудет» и «воет»; люди стонут под гнетом рабского труда на капиталиста, тяжелой, беспросветной нищеты, пьянства и мучительной безысходности.

Шахтер-холод, шахтер-голод,
Нет ни хлеба, ни воды.
Нет ни хлеба, ни воды,
Нету воли никомуды.

Вот она, старая, страшная и правдивая шахтерская песня, под звуки которой идет труд и «отдых», под звуки которой и под вой стонущих гудков живут Никанор Голота, жена его Марина, сын их Остап, невестка Горпина, внуки Кузьма, Варька, Нюрка, Митька и младший, Санька, главный герой романа.

Тяжка их жизнь и темна. Ворвался в нее было светлый лучик; прозвучала серебристая, радостная трель певучего голоса красивой шахтерской девушки Варьки, девушки-васильки. И — смолкла: оскорбили, смяли и задавили ясную песенку... И гинут, гинут герои этой поэмы один за другим, как герои древних трагедий, обреченные на гибель неумолимым велением жестоких богов, погибают надорвавшиеся, отчаявшиеся, спившиеся, обезумевшие, голодные, брошенные без поддержки, застреленные и зарубленные казаками, растоптанные... Страшно грохочет взрыв подземного «выпаала», и молчаливо теплятся четыреста восковых свечек, поставленных у изголодавшихся погибших собратьев дедом Никанором...

Нет ни хлеба, ни воды,
Нету воли никомуды...

Но вот сквозь все эти страшные звуки взвывается песня революции, слышатся звуки боя, треск пулеметов, грохот и лязг бронепоезда...

Однако не сразу и революция принесла исцеление смятой и растоптанной душе недавнего раба. Много, много оставалось еще в быту трясины, липкой и топкой мешанской грязи, которая засасывала человека, не пускала в новую жизнь...

Едва вышедший из раннего детского возраста, Санька попадает во власть вора и бандитов, отрывается старого, рабского мира. В кровавом поединке, один на один, со взрослым бандитом бандитским же ножом Санька добывает себе волю. Но победа смелого и отчаянного одиночки в этой схватке еще отнюдь не торжество человека, а всего-навсего бунт раба против насилия другого раба. На такое был еще много лет назад способен и отец Саньки, когда бил хозяйского подхалима, кровопийцу Бутылочкина.

Настоящая борьба за свободного человека, за повседневное, по выражению Чехова, «выдавливание из себя раба» капля за каплей, — такая борьба только и начинается на этой грани поэтического романа...

Героичные образы Санькиного брата Кузьмы, который гибнет, ведя рабочих на свержение власти капиталиста, образ шахтера Гарбуза, позже командира красного бронепоезда, потом инженера-металлурга. Но не менее поэтичной и романтической встает и фигура воспитателя бывших беспризорников Антоныча, прообразом которого, как может догадаться читатель, послужила гуманная и обаятельная личность А. С. Макаренки.

«Человек — это звучит гордо», — так гласит девиз, который, как герб, висит над входом в коммуны бывших беспризорников, где коллектив растит новых, смелых и волевых людей, вступающих в жизнь в эпоху борьбы за построение социализма.

Товарищ и друг Саньки, тоже бывший беспризорник, говорит: «До сегодняшнего дня я завидовал старым большевикам, революционерам и, скажу по совести, считал себя неполноценным гражданином Страны Советов: не расстреливали меня на Дворцовой площади в Кровавое воскресенье, не боролся я с царизмом на баррикадах в пятом году, не поливал своей кровью Сибирский тракт,

не штурмовал Зимнего в Октябрьскую революцию, не рубил головы денikinцам и врангелевцам в гражданскую войну... А вот теперь...

Что же теперь? Что открылось бывшему беспризорнику, который так «оноздal» родиться на свет: что открылось ему, когда он увидел новые домны «Магнитки», ее кипучую, полную напряжения жизнь, свободный труд, волю десятков тысяч людей, направленную к единой цели?

Оказывается, теперь, после победы пролетарской революции, идет не менее героическая, не менее романтическая борьба за те же самые светлые идеалы человечества — за коммунизм. Теперь нужно не меньше отваги, самоотвержения и воли, и борцов ждут не менее трудные и высокие подвиги.

«В жизни... всегда есть место подвигам, — говорил М. Горький. — И те, которые не находят их для себя, — те просто лентяи или трусы...»

Но не трусы и не лентяи коммунисты и комсомольцы, советские люди, рабочие, инженеры, собравшиеся создавать «Магнитку»! И не последнее место занимает среди них Санька Голота, сын донбасской душой и голодной шахтерской «Собачеевки».

Смелым и решительным шагом идет он в учении и труде, рука об руку с друзьями, с девушкой, которая так же, как он, любит знания, труд, любит жизнь и людей и полюбила его, бывшего беспризорника.

И в труде, в подвиге, в смертельной опасности, в борьбе со случайной или с подстроенной врагом аварией, в овладении машиной и самим собою — человеком — растет и зреет паровозный машинист, коммунист, гражданин Александр Голота. Победным торжеством, песней любви к женщине-подруге, к Родине, к партии завершается эта молодая и звенящая жизнью симфония.

А. Авдеенко умеет любить. Но кто сильно и чисто любит, тот умеет страстно и до конца ненавидеть. Ненависть к рабскому миру — это оборотная сторона столь же страстной любви к свободному труду, к свободному, творчески богатому и щедрому от своих богатств человеку.

Книга «Я люблю» написана четверть века назад. Ныне автор вписал в нее новые страницы, углубил образы, усилил звучание этой поэмы, одной из юношеских песен нашей страны. В новом издании она дышит прежней молодостью, но стало в ней еще больше страстности и веры в светлое будущее.

Люди, вошедшие в революцию в возрасте ранней юности, перелистывают в страницах этой книги свою собственную молодость, а новые читатели книги А. Авдеенко лучше прочувствуют и поймут героиню первых советских лет, научатся глубже смотреть на жизнь, горячее любить завоеванное отцами и то, что еще предстоит им самим завоевывать в мирных, но нелегких подвигах.

Читатель недоумевает

«Ах, зангезур-занзибар!»

«В горле появились судороги, рот непрерывно наполнялся слюной».

«С лысины Николая Николаевича лоскутьями слезает кожа, уши распухли и стали огромными...»

«Ноги отнялись, правая рука тоже... Все чаще наступают внезапные обмороки. Парализованный нищечник не принимает ни пищи, ни воды».

Это не выписки из истории болезни.

С такой клинической точностью рассказывает в повести Б. Фрадкина «Пленники пылающей бездны» о самочувствии людей, направляющихся на подземномходе к центру Земли.

Разумеется, в подобном путешествии могут встретиться разнообразные трудности и опасности, так же, как, снаем, в межпланетном перелете. Скрывать их нет никакой необходимости.

Но вряд ли правильно поступает Б. Фрадкин, который обрекает всех героев по очереди на мучительную смерть: одних — от лучевой болезни, других — от холода — и дотошно описывает их угасание.

Путь исследователя всегда тернист. Но представим себе, что во время оно кто-нибудь живописно изобразил бы, например, как дикири аппетитно хрустели косточками знаменитого капитана Кука. Хорошенькую услугу оказала бы подобная книжка развитию мореплавания!

«Но прочь уныние!» — как говорится в эпиграфе и «Пленникам пылающей бездны». Дело в том, что усилия автора обращаются против него же самого.

«...удивительное дело, — сказано про одного из героев, — трагизм положения во время его пространственных рассуждений как-то незаметно приобретал оттенок комизма».

Так и повесть Б. Фрадкина вдруг почему-то вызывает в памяти шутивную песенку о том, как двенадцать (или сколько угодно поющих) негрятя пошли купаться в море:

Один из них утоп.
Ему купили гроб.
И вот вам результат —
Одиннадцать негрятя.

И так до конца: что ни куплет, то негритенном меньше.

«Оттенок комизма» ложится и на некоторые «драматические» сцены. На огромной глубине подземногохода оказался не в состоянии развернуться, чтобы пуститься в обратный путь. Много дней не могли герои найти спасительный выход. Но...

«Однажды во время обеда Николай Николаевич застыл с поднесенной на рту ложкой, в сердцах швырнул ее на стол и обеими руками хлопнул себя по лысине».

— Ах, зангезур-занзибар! — ликующе вырвалось у него. — И как же мы этого сразу не сообразили... Да земля-то круглая, елки-палки! — заорал он. — Нам же не потребуется разворачивать подземныйход — дошло до вас это, дубины вы несчастные, или не дошло? Дуй вперед — и никаких гвоздей!»

Да! Недаром в аннотации, которую предположительно повесть Б. Фрадкина столичное издательство «Молодая гвардия», говорится, что ее герои «делают необычайные научные открытия»!

А. Т.

СПОР

Рисунки Г. Калининского.

— Едем сейчас в колхоз к нашим девчатам. Хотите? — сказал мне секретарь райкома комсомола Коршунов. И добавил с явной гордостью: — На своей машине. Только что из ремонта.

У крыльца райкома стоял маленький «ГАЗ-69А» с выцветшим брезентовым верхом. Так это, значит, и есть знаменитый райкомовский «козлик»!

— Не «козлик», а «бобик», — рассмеялся Коршунов и начал объяснять, что если бы это был «ГАЗ-69», то он был бы «козлик», а поскольку это «ГАЗ-69А», то это «бобик»...

Признаюсь, я не смогла уловить тонкости различия, но посмотрела на машину с почтением. Райком получил ее в премию за организацию и руководство кукурузоводческими звеньями, занявшими первое место по урожайности в Советском Союзе. Уже больше года «бобик» верой и правдой служит комсомолу. Вот и теперь, как говорит Коршунов в своей слегка иронической манере, мы едем «осуществлять необходимое руководство звеньями».

Одна из звеньевых, окончив весной заочно сельскохозяйственный техникум, выдержала экзамены в сельскохозяйственную академию и, наверно, уже уехала. Надо посмотреть, как идут дела у новой звеньевой, поговорить с нею; может, ей требуется помощь...

Коршунов сел за баранку «бобика», уже набитого до отказа попутчиками, и мы помчались сначала по зеленому, похожим на тенистые аллеи улицам города Черкассы, а затем вырвались на такой же зеленый и тенистый тракт. Мимо потекли желтые в щетине жнивья поля, изумрудные полотнища озимых, стеной встали побуревшие заросли кукурузы и конопля. Навстречу нам мчались машины, груженные конопляной трестой, кукурузными початками, ящиками с помидорами, с яблоками... Была осень. Колхозы везли свою продукцию государству.

Один за другим в окрестных селах покинули нас попутчики. В машине остались только Коршунов, молодая сотрудница районной газеты и я. Мы дер-

жали путь в село... Впрочем, пожалуй, я не назову это село. И людям, о которых пойдет речь, лучше дам вымышленные имена. Не потому, что я собираюсь что-то сочинять, нет, здесь все правда. Но мне придется коснуться их личной жизни, и я боюсь, что им это будет неприятно.

Мы свернули с тракта на проселок, и перед нами открылась широкая пойма Днепра. Белые мазанки села в пожелтевших вишневых садах были разбросаны по ней как попало, словно их вытряхнули из лукошка. Некоторые были заколочены, другие наполовину разобраны. Возле домов — ни души. Коршунов объяснил, что село это уже отжило свой век. Весной, когда будет закончено строительство плотины возле Кременчуга, вся эта пойма станет морским дном. Колхозники уже переселились в новое село, которое выстроили на берегу.

Дорога круто взяла вверх, и мы выехали, как сказал Коршунов, на берег. Много лет назад это был действительно берег Днепра, но теперь живое серебро реки поблескивало далеко-далеко в низине. Я поняла, что это не только бывший берег, но и будущий. Именно сюда, к этому высокому обрыву, подойдет вода, и белое село с прямыми, стройными улицами, которые теперь открылись перед нами, окажется на самом берегу нового моря.

Коршунов нарочно умерил резвый бег «бобика», чтобы и могла лучше рассмотреть новые, крытые шифером дома, двухэтажное здание десятилетки, белый с колоннами Дворец культуры.

Сразу же за селом начинались посевы кукурузы, и, как мне показалось, тянулись они до самого горизонта. Три комбайна двигались в их густых зарослях. Девушек нигде не было видно.

— А что им здесь делать? — пожал плечами Коршунов. — Теперь вручную у нас не убирать, все комбайнами. На будущий год вообще вся кукуруза перейдет к механизаторам. Девчата свое дело сделали. Сейчас они, верно, на помидорах.

Но и на помидорной плантации мы никого не нашли. Помидоры были вывезены, даже плети с поля убраны.

— Чисто подмели, — засмеялся Коршунов. — Ну, тогда они, наверно, на конопле.

Мы повернули назад и выехали к Днепру. Здесь, в мелкой воде, огороженной плетнем, была замочена конопля. Женщины в подоткнутых юбках и резиновых сапогах вытаскивали тресту из воды, связывали в снопы и расставляли их для просушки на лугу.

— Вот где нужна бы техника! — пробормотал Коршунов. — Но, ничего, когда-нибудь будет. — Он всматривался в лица женщин, но тех, кто нам были нужны, видимо, не нашел.

— Шукайте их в хате у Марии. Они сегодня отгул взяли! — крикнула нам одна из женщин.

Мария была новая звеньевая. Но почему отгул в страдное время?

У стены дома, возле которого мы остановились, стайкой стояли велосипеды. Из-за закрытых окон доносились нестройные голоса, звон гитары, чей-то смех. Мы просигналили, но никто, по видимому, не услышал нашего зова. Пришлось непрошеными идти в дом.

Посреди просторной горницы стоял длинный стол, уставленный тарелками, блюдами, бутылками. Вокруг стола тесно, чуть не в два ряда сидели разряженные девочки. На их разноцветных кофточках сверкали ордена и медали. Девчата дружно под гитару пели:

— Не забывай, не забывай
свою подругу...

У печки, подперев щеку рукой, стояла румяная старуха и смотрела на девчат. Мужчин в хате не было. Что это, девчонки, что ли?

При нашем появлении высокая, круглолицая и чернобровая девушка вскочила с места, девчата обернулись к двери. Послышались радостные возгласы, взвизги, приглашения. Коршунова подхватили под руки, и он мигом очутился во главе стола, нам с сотрудницей газеты тоже уступили места и заставили без отлагательства выпить «догоняющую».

Скоро все выяснилось. Занятия в академии уже давно начались, а бывшая звеньевая, круглолицая, чернобровая Валя, все не ехала: хотела помочь подругам управиться с коноплей. Но вчера пришла из академии телеграмма с требованием выехать немедленно. Валя собралась, и девчата всю ночь варили, пекли и жарили, чтобы

устроить ей достойные проводы. На эти проводы мы и попали.

С глазами веселыми и вместе с тем растроганными девушки снова запели «Не забывай». Когда песня была закончена, одна из девушек сказала:

— А помнишь, Валя, как мы в первый раз посадили кукурузу? — И, обернувшись к нам, она стала рассказывать: — Мы все по инструкции старались, там сказано: заделывать семена на глубину в 12 сантиметров. Заделали. Ждем всходов. Чуть развиднеется — бежим на участок. А всходов все нет и нет. Может, пропала кукуруза, кто ее знает? Тут еще забота: вдруг в Танином звене взойдет, а у нас нет. Стали мы тайком бегать к ней на участок, а ее девчата к нам. Они тоже боялись, что у нас взойдет, а у них нет. Вот раз, еще темно было, мы со спичками пошли на Танин участок, видим, чуть-чуть наклонились ростки. Мы кричим: «Таня, девчата, ваша кукуруза взошла». А они к нам навстречу с нашего участка: «Валя, девчата, ваша кукуруза взошла!» Смеху было. Потом мы стали заделывать не так глубоко.

— А все-таки нехорошо на другой год получилось, — сказала девушка, как я могла понять, из Таниного звена. — Мы первые тогда собрали сто центнеров зерна, а у тебя, Валя, было только девьиносто шесть. А в газете напечатали, что у тебя сто...

— Так ведь ошибка вышла, все знают, что ошибка! — завопили девчата из Валиного звена. — И в райкоме знают, что мы не виноваты, это ошибка...

— Странные вы люди! — заметил Коршунов. — Почему тогда молчали, неизвестно. Таня сразу должна была написать письмо в редакцию, наконец, позвонить в райком...

— Ей неудобно было, это Валя должна была написать.

— Я же ездила в район, говорила, — запротестовала Валя. — В редакции сказали, что это в сводке была ошибка, а не у них. Я в райисполком пошла, а там говорят: уже все подписано и в центр послано. Менять ничего нельзя.

— А нам, знаешь, как обидно было! Таня очень переживала. Может, если бы не это, она до сих пор с нами бы была...

— Ну уж не говори! Сама знаешь, что не из-за этого... — запротестовали девушки из Валиного звена.

— А все-таки...

— Ой, девчата! — перебила одна из девушек. — Я в воскресенье в городе была, Таню встретила!

Все головы мгновенно повернулись к девушке, сообщившей эту новость.

— Ну, как она? Как живет? Что делает?

— Вижу: идет, худая такая, бледная. Увидела меня, обрадовалась, поцеловала. Я спрашиваю: «Танечка, как же ты живешь?» «Ничего, — говорит, — живу». «Не скучаешь по нашему звену?» «Ой, скучаю! Ой, как скучаю...»

За столом наступило молчание. Я взглянула на Валу. Голова ее медленно, медленно опускалась, даже не видно стало черных бровей. Вдруг она тихонько запела. Я не могла разобрать слов, но песня была очень протяжная и очень грустная. Одна за другой стали ей вторить девчата, и мелодия заполнила горницу. Девушки пели о злосчастной любви, о разлуке, и слезы текли по их загорелым щекам на нарядные блузки, на ордена, на белую скатерть...

О чем они плакали? О том ли, что сегодня приходится расставаться со своим вожаком и подругой, о Тане ли, давно ушедшей от них, о том ли, что вообще в жизни есть горести и печали?

Коршунов, округлив глаза, смотрел на поющих и плачущих девушек и вдруг с таким отчаянием возопил: «Ой, девчата, я сейчас тоже заплачу!», — что песня оборвалась. Смеясь и вытирая слезы, девушки стали подкладывать на тарелки угощения. Мария, новая звеньевая, подняла стакан и пожелала отъезжающей счастья.

— Я уже выбрала свое счастье, — ответила Валя. Темные глаза ее были сухи.

Проводы шли своим чередом, песни и воспоминания сменяли друг друга, но какая-то недоговоренность была сейчас в словах девчат, какая-то надтреснутая нотка звучала в их голосах. Или мне это только показалось?

Вдруг за окном просигналила «Победа». Это председатель колхоза прислал свою машину, чтобы отвезти Валу в город. Поезд отходил вечером, но Вале надо было еще объехать все село, чтобы попрощаться с родней, в городе проститься с начальством и купить билет, на что тоже требуется немало времени.



Началось прощание. Валя обнимала и целовала каждую девушку и, низко поклонившись ей, говорила:

— Если обидела чем, не поминай лихом...

Та, в свою очередь, обнимала Валию и крепко ее целовала...

Обойдя всех девчат, Валя сделала общий поклон и пошла из горницы. Мы гурьбой двинулись за ней. У девчат заранее были приготовлены букеты, они передавали их Вале, и та клала цветы на сиденье в кузов. Вскоре машина была полна георгинов, золотых шаров, бархоток... Валя села рядом с шофером; девушки нестройно запели:

— Не забывай, не забывай
свою подругу...

Кто-то крикнул:

— Валя, пиши. Помни о нас...
«Победа» тронулась, в окне мелькнула машущая Валина рука, затем машина свернула в проулок...



Мы вернулись в горницу. Коршунов сел с Марией в сторонку: теперь ей предстояло руководить передовым звеном, и им нужно было поговорить. Девушки принялись

убирать со стола. Скоро тарелки были отставлены в сторону, все собралось вокруг Коршунова и Марии.

— Что же все-таки с Таней? Что у вас с ней произошло? — спросил Коршунов, обводя взглядом лица девчат. — Она же вышла замуж. Все, кажется, было хорошо...

Девчата мялись, отвечали уклончиво:

— Та ни, ничего не произошло... Вы б Валию лучше спросили...

Наконец Мария решительно сказала:

— Нет, произошло. И нехай лучше секретарь райкома об этом знает. Я расскажу.

Валя с Таней погодки. Дружить они начали с тех пор, как помнят себя, чуть не с пеленок. Вместе играли, вместе пошли в школу, всегда сидели на одной парте. Учились они одинаково хорошо, но Валя была бойкая, живая, заводиловка во всех делах, а Таня по характеру тихая, застенчивая. Она во всем слушалась подругу и старалась от нее не отставать. Когда обе окончили десятилетку, как раз начали создаваться комсомольские звенья по выращиванию высоких урожаев кукурузы. Подруги решили остаться работать в кол-

хозе. Подбили девчат и создали два звена. В одном стала звеньевой Валя, в другом Таня. Первое лето обе звеньевые ничего не делали друг без друга — вместе изучали агротехнику, вместе поступили на заочное отделение сельскохозяйственного техникума. А потом приехал Алексей.

Кто такой Алексей? Хлопец из их же села. Он служил на флоте, а когда приехал, его никто не узнал, такой стал высокий, красивый, в тельняшке, в бескозырке, брюки клеш. Все сразу заметили, что ему понравилась Валя. Да он и не скрывал. Танцевал на вечерах только с ней, провожал домой. Вале он, верно, тоже понравился, иначе она не стала бы с ним дружить.

Но вот зимою Валя с Таней поехали на зачетную сессию, потом Вали заезжала в два колхоза делиться опытом, а когда вернулась, видит: Алексей вечера проводит с Таней.

Все девчата в звеньях очень волновались: что-то будет. Но Валя и бровью не повела: не такой характер. В то время ее как раз выбрали секретарем комитета комсомола. Она вызвала к себе Алексея и говорит: «Почему нигде не работаешь?

Скоро свои брюки клеш протрешь». Алексей ответил ей, что он не комсомолец и пусть она в его дела не лезет. А по селу пустил слух, что она к нему придирается, потому что он не захотел с ней больше гулять.

Слух слухом, а в клубе все видят такую картину: Алексей приходит вместе с Таней, но как только появляется Валя, он садится возле нее. Валя переходит на другое место, но он идет за ней, приглашает танцевать. Один раз купил сидро и принес ей... И хотя Валя отказалась пить, бедная Таня заплакала и ушла из клуба.

Никто ничего не мог понять: Таня отбила Алексея, а сама плачет, Валя же и не смотрит на него. Девчата гадали: что все это значит? Потом решили спросить у Вали. Оказалось вот что. Когда Валя уезжала на заочную сессию, Алексей ей сказал: «Никуда не поедешь! Я не разрешаю!» «А я тебя и спрашивать не буду!» «Нет, будешь! Раз со мной дружишь, все должна делать по-моему. И когда поженится, знай, я не потерплю, чтобы жена дома верховодила! Я хозяин!»

Валя ничего ему не сказала, но, конечно, на зачетную сессию поехала. А пока съездила, все ду-

мала — и решила, что такой человек ей не подходит. Поэтому она ему даже письма не написала. Он разозлился и в отместку стал ухаживать за Таней.

Девчата сказали тогда Вале, что она обо всем должна рассказать Тане, а то получается нехорошо. Но, оказывается, Валя уже говорила, а Таня ей ответила: «Все это неправда. Ты так говоришь, потому что хочешь, чтобы Алексей к тебе вернулся».

Что тут можно было поделать? Девчата думали-думали и ничего не придумали.

А время шло. Таню послали в Москву, на совещание кукурузоводов. Другой бы радовался, что ей такой почет, а Алексей, когда она вернулась, при всех оскорбил ее в клубе, сказал: такие, что сидят на совещания, ему не нужны. А она плакала и просила у него прощения.

Вале Алексей говорил: «Вы с ней всю жизнь дружили, она тебя уважала, а теперь она будет делать все, что я захочу». И стал требовать от Тани, чтобы она ушла из звена. Ей не хотелось, она не понимала, зачем это нужно. Но как раз в это время произошла та ошибка в сводке, и он ей стал доказывать, что все это нарочно подстроила Валя. Он ей говорил: «Плюнь на них, бросай звено, бросай

техникум. Мы с тобой поженимся и уедем. Мне нужна жена, а не звеньевая и не агроном».

Когда Таня подала в правление колхоза заявление об уходе, девчата пришли к ней, стали уговаривать. Она им сказала: «Нет, девчата, это, видно, моя судьба. Я его люблю». Сыграли свадьбу и уехали.

Теперь он в Черкассах, работает на строительстве. Она сидит дома, у нее ребенок. Говорят, живут плохо, он пьет, ругается. Даже, говорят, бьет ее. Так он же просто так женился. Он перед свадьбой сказал Вале: «Хочешь, я все поломаю? Только ты должна мне покориться».

Мария подошла к стене, сняла прикрепленную кнопкой фотографию Тани. Со снимка смотрели доверчивые, ясные глаза, нежные губы были тронуты грустной улыбкой.

— Зря только дивчину загубил! А ведь у нас она знатным человеком была, — закончила Мария.

— Ну и что? Зато она все-таки вышла замуж! А Валя не вышла! — неожиданно прозвучал задиристый девичий голос.

Все посмотрели на маленькую востроносую дивчину; она покраснела, но глаз не опустила.

И у нее сейчас же нашлись единомышленницы:



— Она ж его любила. Сама же она сказала, что это ее судьба.

— А может, если бы она за Алексея не пошла, то вообще б вековушкой осталась...

— Какое-никакое, а все-таки счастье...

Мария возмущенно всплеснула руками и налетела на девушку:

— Счастье! Грош цена такому счастью! И любовь мне такая не нужна! Может, Валя его в десять раз больше любила! Только не захотела свое «я» ему под ноги кидать. А теперь вот куда наша Валя поехала... Могла бы и Таня вместе с нею...

— А если ей это не нужно? Если у нее характер другой?..

— Я понимаю так любовь, — вступила в спор еще одна девушка. — Чтоб он меня уважал... Чтоб я для него была человек... А так, зачем он мне нужен?

— Все-таки Таня вышла замуж, а Валя нет!.. — не унималась востроносенькая дивчина.

Я поняла, что этот спор возник не сейчас, он уже давно идет у девчат. Мало того, я поняла, что это, в сущности, тот самый спор, который постоянно волнует молодежь, но только принял он здесь особенно острую форму.

Молоденькая сотрудница районной газеты тоже не удержалась и приняла в нем участие, правда, для меня несколько неожиданное.

— Я понимаю Таню, — сказала она. — Она полюбила, а любовь требует жертв. По своему она, наверно, счастлива...

Коршунов все время молча слушал Марию и девчат, только лицо его все мрачнело и мрачнело. Теперь же он вскинул на сотрудницу газеты язвительный взгляд и резко спросил:

— Ты своего Володю любишь?

— Конечно, люблю!

— На жертвы для него пойдешь?

— Пойду!

— Сегодня вечером он решил потребовать от тебя, чтобы ты бросила работу. Он со мной вчера говорил.

— Он тебе так и сказал? Ты

не сочинишь? Тогда он просто сошел с ума!

— Ага, то-то же!.. Тебе бросить свою работу нельзя, а ей можно? Ты думаешь, звено чем-то ниже газеты? А Таня ниже тебя? Ошибаешься! — Он помолчал, потом мрачно сказал: — Проморгали дивчину. Прошляпили! Это я виноват, думал: просто вышла замуж. А Валя тоже хороша! Ничего не сказала! Ну, я ей напишу, я ей такое письмо напишу...

— Но как же она могла сказать? — заступилась за подругу Мария. — Это ж ее близко касалось, ей неловко было... Да и ничего бы все равно не помогло...

— То есть как это неловко? Она и секретарем комитета была, ей все должно быть ловко... Видеть, как подруга жизнь свою портит, идет за негодяя — и молчать?! Кричать ей надо было, вот что! А помогло бы или нет — это видно было бы.

Девушки сидели притихшие. Никто не возражал; видно, с этой стороны вопрос для них встал впервые.

— Мария, у тебя есть Танин адрес? — спросил Коршунов уже не так резко.

— Я достану, я достану! — обрадовалась Мария. — Поговорите с ней, обязательно!..

— Попробую! — буркнул Коршунов и пошел из хаты.

За всю обратную дорогу он не произнес ни слова. Я впервые видела его таким мрачным и молчаливым. Только когда мы приехали, он сказал, не столько нам, сколько самому себе:

— Попробуем, может быть, именно теперь что-нибудь выйдет...

...Через день я уезжала из Черкасс. Перед самым отъездом передали мне письмо. Торопливым почерком были списаны две странички, вырванные из тетрадки.

«Извините, что пишу я вам, хотя вы меня, наверно, не помните и, может быть, даже не приметили. На Валиных проводах и потом я сидела и молчала. Но я не знала, что сказать. А почему вы молчали? Писатели лучше других должны знать все про любовь.

Когда вы уехали, мы снова заспорили. Коршунов правильно

на нас рассердился, что мы не уберегли Таню. Но девчата говорили, что не он теперь должен ей помочь, а мы сами. Вы, наверно, читали роман «Война и мир» — произведение графа Л. Н. Толстого. Так там, когда Наташа влюбилась в князя Анатоля, ее спасла Соня, ее подруга. И было это когда — еще в прошлом веке! А мы, советские девчата, комсомолки, мы боремся за звание звена коммунистического труда. Кто же, как не мы, должен помочь своей подруге?

Умом я все хорошо постигаю. Но когда начинаю думать, что творится на душе у Тани, сердце у меня сжимается и болит. Я хочу открыть вам один секрет: у меня тоже есть хлопец, мы с ним дружим. Так он не хуже того князя Анатоля или нашего Алексея умеет выпить, и побужить, и показать свое «я». И все-таки, если он скажет: «Иди за меня», — я пойду за него, как в омут. Как все это понимать? Все вокруг нас новое: и село и наша работа, — и мы сами девчата молодые. А чувства наши — у меня, у Тани, может, и у других, — выходит, старые? Правильно ли это? И как быть? Скорее напишите мне ответ. Очень прошу. Можно передать Марии для Наташки».

В поезде я перечитала это письмо. За окном показались лента Днепра — мы подъезжали к мосту. На высоком берегу одно за другим открылись стройные новые села.

В одном из них девушка Наташка ждет ответа на свой вопрос о старых и вечных новых чувствах. А может быть, и не только Наташка? Может быть, многие девушки и юноши думают теперь о том, какой должны быть их любовь и дружба, их чувства в той новой жизни, которую они создают своими руками.

Я подумала, что тут нужен большой разговор по душам, в котором пусть примут участие все, кто пожелает, и, конечно, сами юноши и девушки.

Поэтому я и привела здесь это письмо.

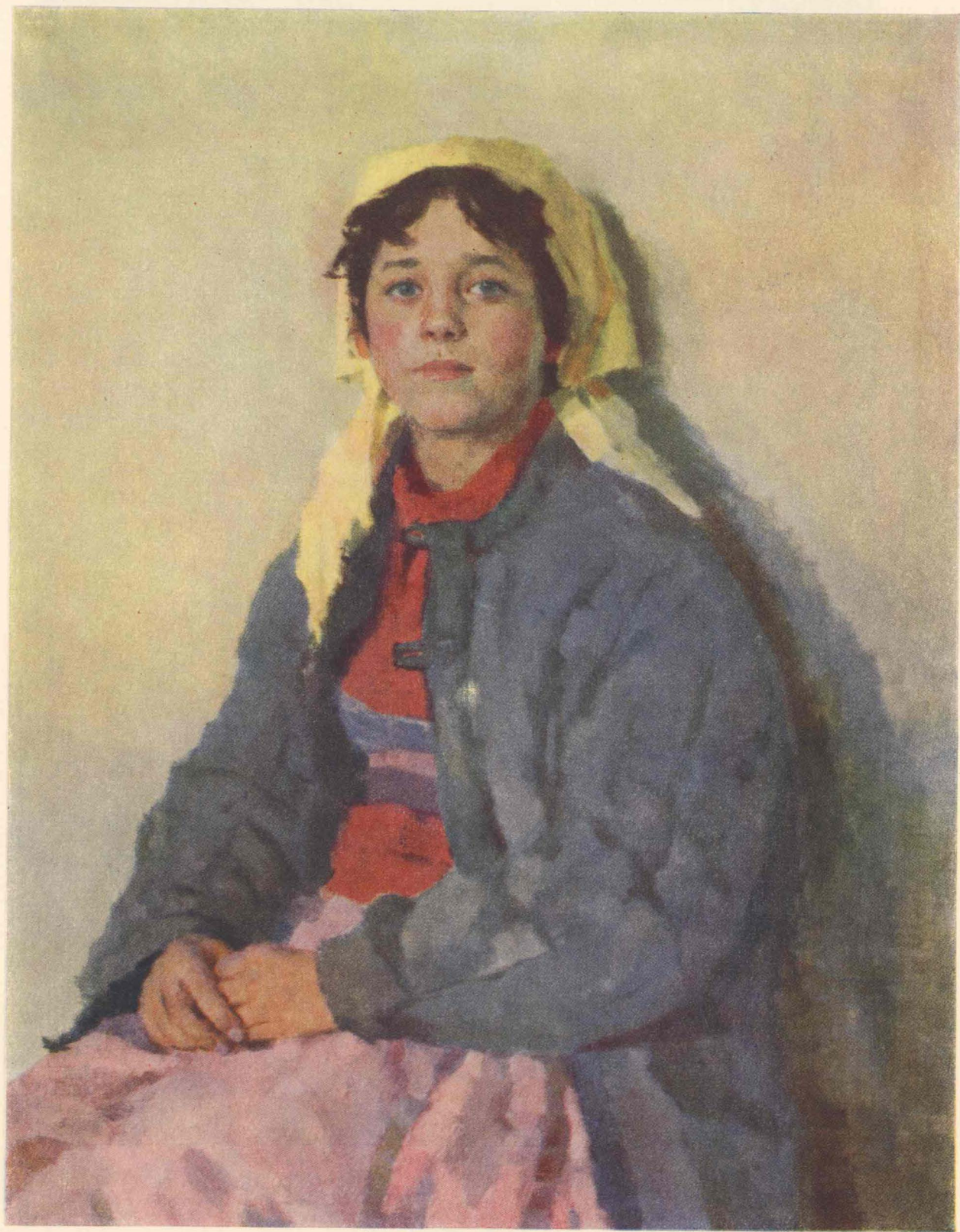




Л. ЩИПАЧЕВ

Жена приехала.

Из работ, готовящихся для выставки «Советская Россия».



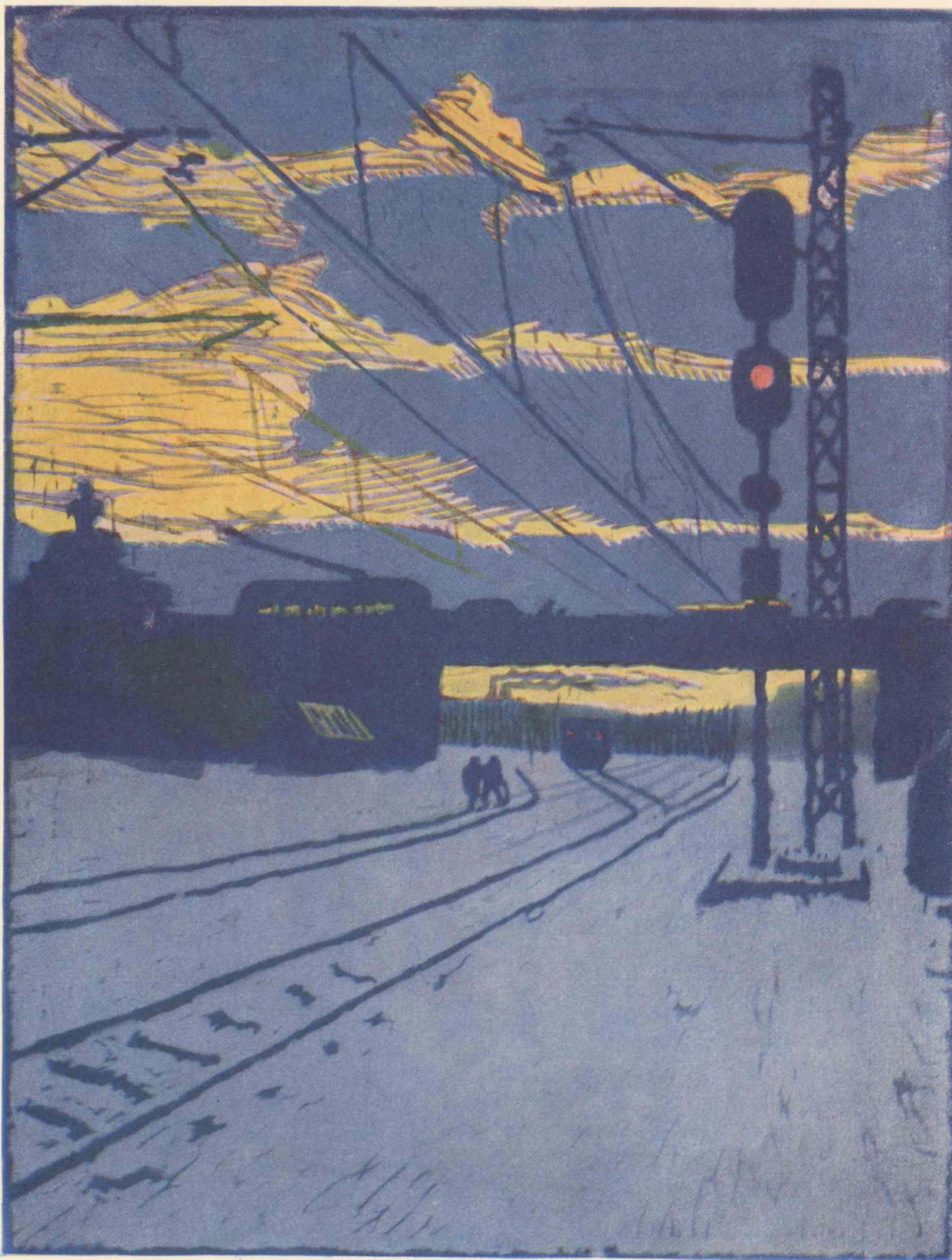
Г. ЦЕЙТЛИН

Портрет девушки.



М. НИКОНОВ

Смена.



Д. ДУБРОВИН

Поезд прошел. (Линогравюра).

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ...

В недалеком будущем в Москве, в Центральном выставочном зале откроется художественная выставка «Советская Россия», где будут представлены произведения живописцев, графиков и скульпторов РСФСР.

Работы, уже отобранные жюри, лежат в запасниках, а кое-что еще не снято с мольбертов, и художники, волнуясь, наносят, как говорят, последние удары кистью.

Какой будет выставка, что мы увидим, какие новые имена займут признание — обо всем этом пока трудно сказать. Придет время, откроются двери выставочного зала, и зрители шумной толпой заполнят его. Начнутся споры (начая же интересная выставка обходится без них!). Любители живописи будут состязаться со знатоками, в дискуссии будут врываться неуверенные голоса новичков...

Многотысячный судья — народ. Для него работают художники. И нет выше похвалы, нет в жизни художника счастья более желанного, чем признание народа.

Вспоминается московская молодая выставка прошлого года. Многим ее участникам нельзя было отказать в способностях и даже в мастерстве. Однако впечатление неудовлетворенности не покидало даже после ухода с вернисажа. В самом деле, пейзажи, портреты, картины, написанные в разной манере, но, тем не менее, одинаковые по духу, уводили в сторону от напряженности дня. А на улице, в большом городе и дальше — в целой стране — шла жизнь, полная дерзаний, переживаний, противоречий, радостей. Там люди строили дома, заводы, машины, пахали землю, сажали деревья, любили, страдали, веселились, думали. И все они вместе осуществляли грандиозный семилетний план. План, имеющий в виду и воспитание самого человека — человека высокой культуры, коммунистической нравственности. План, возлагающий на искусство большие задачи.

В наше время молодой человек, вступающий в искусство, отнюдь не Робинзон, которому приходится начинать заново, на пустом месте. Есть богатые демократические традиции, ведущие свое начало от прогрессивных художников прошлого. Есть немало произведений советских мастеров, проникнутых высоким пафосом, искренним гражданским чувством. А Дейнека писал свою знаменитую «Оборону Петрограда» по горячим следам событий. Революция была его

кровным делом. Разница между художником и красногвардейцем заключалась лишь в роде оружия: чувства ими руководили одни и те же. И потому напряженное эмоциональное воздействие картины сохранилось до сих пор.

Да, в произведении искусства отражается отношение художника к жизни, к действительности, да и к самому искусству! Это истина, которая теперь вряд ли кем-нибудь оспаривается, и оттого доказывать ее нет нужды. Но мне могут возразить, сказав, что, мол, сфера искусства — прекрасное. Однако что такое прекрасное? Прекрасными могут быть цветы, портрет красивой женщины, ласкающий глаз пейзаж... Но существует несравненно более высокий критерий прекрасного — поэзия борьбы и созидания. Разве не прекрасны портреты М. Нестерова, хотя изображенные им люди внешне, может быть, и некрасивы? Но художник через пластину, цвет, через ритмическое построение композиции раскрывает нам вдохновенные образы своих героев — наших современников. А пейзажи Г. Нисского? Разве можно назвать их картинами природы вне времени? Нет, Г. Нисский умеет найти в пейзаже черты современности и показать их нам поэтическим языком живописи. Разве это не прекрасно?

В современности, в жизни своего народа подлинны художники и находят истоки вдохновения — прекрасное. С борьбой народа связано все лучшее в прогрессивном искусстве мира. Вспомните имена таких мастеров, как мексиканский монументалист Диего Ривера, как Леопольдо Мендес и его друзья по «Мастерской народной графини». Их вдохновенные произведения отражают историю борьбы за свободу и независимость. А разве об Италии простых людей мы знаем только по кинофильмам? Нет — и по взволнованным картинам Ренато Гуттузо. Габриэля Мукки и многих, многих других мастеров итальянского неореализма. Можно составить длинный список художников разных стран, идущих по одному пути — пути прогрессивного, демократического искусства, прочно связавшего свое существование с требованиями времени, с жизнью простых людей. В этом списке почетное место заняли бы советские живописцы, скульпторы, графики.

Что же касается творческих устремлений большей части молодых советских художников,

проблемы современности их волнуют прежде всего. Незначительное исключение составляет лишь кучка внутренне опустошенных либо просто кривляющихся молодых людей, эдаких стилист от искусства.

Нам нужно искусство, воспеваящее героические дела наших современников, поэтизирующее лучшие черты советских людей, искусство боевое, наступательное, раскрывающее конфликты и противоречия нашей жизни и помогающее их преодолению.

Именно этого ждем мы от выставки «Советская Россия». Судя по темам уже отобранных работ, можно говорить о том, что она обещает быть интересной. Однако, как известно, дело не только в темах. Вполне приемлемая в тематическом отношении выставка может оказаться слабой, если скоро замыслы будут решены поверхностно и неумело. Дело в том, что мы встретим в залах работы тех мастеров старшего и младшего поколений, творчество которых всегда интересно, индивидуально.

Вот, например, старейший наш график А. Каневский, веселые и умные иллюстрации которого и «Золотому ключику» А. Толстого считаются образцовыми. На этой выставке мы увидим его рисунки к произведению Вл. Маяковского. Триумвират Кукрыниксы готовит серию сатирических листов о людях, с которыми нам не по пути к коммунизму. Свообразные работы молодого графика Ю. Коровина — на этот раз он показывает не иллюстрации, а зарисовки с Златоустовского завода.

В одной и той же, казалось бы, теме разные художники могут увидеть разное и рассказать об этом разном по-своему. Вот почему мы с интересом ждем и триптих Г. Сателля «Рабочие Сормова», и «Верхолазов» М. Суздальцева, и новое полотно Г. Корнеева «Рабочие поднимают знамя» (с творчеством этого художника мы познакомились сравнительно недавно, но уже успели крепко запомнить и его «Интернационал» и «Влюбленных»). Серию портретов людей труда готовит одаренный скульптор Э. Неизвестный.

Можно перечислить многих, чьи произведения будут экспонированы на выставке. Однако лучше попытаемся как бы приоткрыть дверь и заглянуть в зал будущей выставки.

Вот несколько работ, взятых, можно сказать, наугад. Мы публикуем их в этом номере. Вспомните в линогравюру Д. Дубровина «Поезд ушел». Не навеяла ли она что-то, романтического чувства странствий в неизведанное? Обыкновенный пейзаж городской окраины, пересеченный железнодорожными путями, художник сумел показать так, что за ним открываются дали юношеских мечтаний. Тема рабочего класса посвятил полотно М. Никонов. Без внешней патетики, без поз, смело и просто вводит он своего героя в новую для юноши жизнь большого завода. Как поэтичная новелла читается полотно Л. Щипачева «Жена приехала».

Можно спорить об этих произведениях и их авторах, отстаивая собственные склонности и вкусы, но всех художников объединяет чувство современности, всех их волнует жизнь народа, они ее поэты — хорошие и разные.

Виктор САЖИН



СОЛДАТСКИЙ ДНЕВНИК БУДУЩЕГО ПОЭТА

Разбирая архив поэта Семена Гудзенко, его товарищи нашли несколько старых записных книжек. Листки рассыпаются в потертых обложках, карандашные записи кое-где стерлись. Но страничка за страничкой приковывают внимание, заставляют вчитываться в неровные строки, на морозе или на ходу написанные девятнадцатилетним солдатом. Все это писалось для самого себя, не предназначалось для опубликования. Но время и судьба Семена Гудзенко сделали эти строки какой-то, пусть маленькой частичкой истории молодого человека нашего времени.

В наши годы современность быстрее, чем когда-либо, становится историей, и надо рассказать родившимся в сороковом году о том, какая тогда была молодежь, не затем, чтобы кого-либо упрекнуть, либо противопоставить одно поколение другому, а просто потому, что это может сейчас пригодиться вступающим в жизнь.

Был в предвоенные годы в Москве, в Сокольниках, Институт философии, литературы и языка, сокращенно называвшийся «ИФЛИ». Из дверей этого института выходило в жизнь немало высокообразованных людей, утвердивших себя славными делами, активно и плодотворно работающих сейчас.

Были у «ифлийцев» свои особенности. Как во всяком институте, образовалась в ИФЛИ небольшая группа собственных литераторов. В юношеском запале они производили, может быть, даже больше шума в ту пору, чем студенты Литературного института. Они дискутировали, что-то просто утверждали, что-то страстно отвергали; увлечения бросали их из стороны в сторону. Находясь в литературной обстановке, ничего еще не повидав в жизни, шумные «ифлийцы», начинающие поэты, не очень точно знали, чего они хотят, что ищут в жизни и поэзии.

Но жизнь, разворачивавшаяся вокруг, исподволь, непреклонно формировала этих людей, укрепила все чистое и светлое, чего неизмеримо больше таилось в душах этих молодых, родившихся тогда, когда кончалась или кончилась уже гражданская война.

Лютый зимой тридцать девятого — сорокового года вспыхнули бои на Карельском перешейке. Вместе с войсками, а иногда и впереди них двигались добровольцы-лыжники в белых маскировочных халатах. Немало «ифлийцев» встречали мы там, обветренных, мужественных, веселых.

В те времена приехал в Москву из Киева «провинциал в новобойке и широких парусиновых брюках» — Семен Гудзенко. «Он мечтает быть поэтом беспокойным и бушующим», — пишет он потом, где-то во фронтовой землянке, когда уже не мальчишеская мечта, а строгий товарищ — Жизнь делает его поэтом.

И беспокойство этого парня будет беспокойством о судьбах Родины и об однопольчанах, и бушевать он будет не на литературных дискуссиях, а бросая гранаты во врагов.

Началась Великая Отечественная война.

Так же, как и многие «ифлийцы», Семен Гудзенко ушел добровольцем в парашютно-десантную часть. Это была та самая часть, бойцы которой забрасывались мелкими группами, а иногда и в одиночку в тыл противника. На фронте эти юноши были красноармейцами, за линией фронта — партизанами. Короче говоря, Гудзенко был в одном боевом расчете с Зоей Космодемьянской и другими юношами и девушками, отобранными для трудного подвига Московским комитетом комсомола.

Условия партизанской борьбы да и просто фронтовая обстановка не позволяли бойцу делать подробные записи. Но это всегда разговор с самим собой, предельно открытый разговор. Как шелуха, отлетели прочь все литературные засконы, все пустяковые увлечения. Студент-литератор и боец-лыжник в одном лице не только стреляет из автомата, но продумывает весь свой жизненный опыт, сам с собою рассуждает о жизни и литературе.

На страничках записных книжек много имен и фамилий. По преимуществу все упомянутые — московские комсомольцы, бойцы, и Гудзенко по-мальчишески восторгается ими:

Сергея, Олег, Кондрашов — «крепкие люди, настоящие парни».

«Шершунов великолепный парень».

Но не только восторженность в этих заметках. Настоящую ненависть к врагу вырастил в себе солдат и глубокое презрение к трусам, к мелким людям, к любому, пусть даже бывшему товарищу, кто не все, не все до конца, до последней капли отдает и готов отдать в этой решающей битве. Сарказмом пронизаны строки о чистоплюях, эстетах. Их криволюбое племя и сейчас не вымерло. Гудзенко помогает их распознать.

Эти записки солдата, мечтающего быть поэтом, — хорошее пособие к науке ненависти.

Наука ненависти к врагу, к фашизму. Но не к немецкому народу.

Среди сдержанных, сквозь зубы прощенных проклятий, среди слов, чувствуется, написанных нарандашом, стиснутым в сжатом от ярости кулаке, несколько обжигающих душу строк:

«Шесть немцев жили в одной избе. Трое уехали. Трое пришли. Велели хозяйке закрыть плотно окна и двери. «Давай патефон». «Ну, погибла», — подумала старушка. Завели громкую пластинку. Они сели вокруг стола, вынули листочки бумаги и запели «Интернационал». Пропели весь. Один пожилой прослезился. Встали и ушли. Она их больше не видела».

Нет, ясно смотрели вперед, в даль времен, глаза солдата, не были они затуманены яростью. Судьбу человека нельзя рассматривать иной, чем она есть, никчемны рассуждения: «А что было бы, если бы Гудзенко не побывал на войне? Стал бы он поэтом? А если стал бы, то каким?»

Такие рассуждения всегда бесплодны.

Ведь мирная советская жизнь, комсомольское воспитание сделали Гудзенко солдатом тогда, когда это было необходимо. А солдатская судьба сделала его поэтом. Он прожил всего 29 лет и успел многое сказать в стихах и поэмах. Неправильно попрекать юношей мирного времени примерами героизма, возникшего в иных исторических условиях; и к ним приходит свой подвиг, неожиданный, но подготовленный воспитанием, всей жизнью.

Совсем недавно, летом 1959 года, на фестивале в Вене я был свидетелем схватки восемнадцати-девятнадцатилетних советских юношей и девушек с фашистами. Отщепенцы из бывших власовцев вылезли из своих нор, специально приехали в Вену для того, чтобы сорвать фестиваль. Они готовили нападение на колонну советской и венгерской молодежи, шествовавшую по венскому Рингу. Наши юноши поставили девушек в центр колонны, защищая их от возможного нападения, высоко подняли знамена. Они так шли, готовые ко всему, что бандиты не посмели пустить в ход приготовленные настеты и слезоточивые бомбы. Может быть, ребята наши и не заметили, что были они в этот момент Олегами и Зоями новых времен, но они были ими.

А подвиг Валентины Гагановой! Лишь по обстоятельствам и обстановке отличается он от военных подвигов предыдущего поколения, а характер один и тот же.

«Юноша, обдумывающий житье», многое почерпнет из записных книжек Семена Гудзенко. Я не хочу приводить много цитат, записи сами по себе отрывочны. Некоторые из них потрясают своей трагичностью, как записи о матери («стрижка — как у моего сына»).

Пусть же отрывочный рассказ о том, как мужали девятнадцатилетние в огне войны, подскажет юношам и девушкам новых поколений, как найти себя, как расти, как взрослеть. Сейчас есть все основания полагать, что новым поколениям не придется вынести таких испытаний огнем и кровью, какие выпали на долю Семена Гудзенко и его товарищей. Но черты характера, выработавшиеся у советских людей на войне, закрепятся и разовьются в условиях мира для мирного подвига.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ



ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

(1941—1942)



Темная Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами.

Осень 1941 г. На Садовом — баррикады. Мы поем песню о Москве. Авторы: я и Юрка. Авторы с гранатами ходят в мастерскую окон ТАСС. Веселые художники просят махорки. Работают трафаретчицы. Пахнет красками, клеем, бумагой. К-й с розовой рожой пишет тексты. Гордится, что не уехал на Урал.

Покупаем печенье. Очередь небольшая.

— Много вас, — недовольна девушка.

— А это хорошо, что их много. Берите, милые. Защитники, — говорит чистенькая старушка. Девушке стыдно. Улыбается.

У меня в противогазе «Английские баллады» Маршака. Купил по привычке. Читать уже не могу. Читаю только газеты, все, от доски до доски. Ждем, ждем. Ночью бомбят. В Институте бываем. Пусто. Люмкис собирается уезжать.

Москва, Москва, ты мне всего дороже.
Над милым краем вьется воронье.
И даже здесь, на снежном бездорожье,
Я чувствую дыхание твое...

Осень. Шоссе Энтузиастов. Идут старики и женщина с узлами на восток. Летит на восток трехтонка. В кузове стоит пианино.

Вечер, темно. На дверях Института листок бумаги: «Идите по шоссе Энтузиастов. Догоните. Деканат».

Осень 41 г. На Садовом — баррикады. Мы ходим с пулеметами.

Мы в Калининской обл[асти]... Дер[евня] Шестаково — ночуем. Утром марш... Бомбят. Убит командир. Утром Ямуга, потом село Вельгомово. Бошко остался караулить. Опять Ямуга, потом Покров через Клин. Дома целые, ни одного стекла, ни одного человека. Воронки от бомб. Домик Чайковского цел.

...Потом работа в с. Починки. Потом Мотовилово, переход 35 км.

...В Мотовилове — мальчик, сирота, пришел оттуда. Кормили. Красивый, 12 лет, лубочный. Взяли на машину. О, сколько сирот. Мстить за таких! Мстить.

Это было крещение. Первые убитые, первые раненые, первые брошенные бомбы, кони без се-

доков, патроны в канавах у шоссе. Бойцы, вышедшие из окружения, пикирующие гады, автоматная стрельба.

Погиб Игошин. На шоссе у Ямуги. Убит конник. Осколки разбили рот. Выпал синий язык...

Чтоб рану гнойную видали,
Те, кто пытались жить в тиши,
Ты вспомни все, бои и дали,
И кровью книгу напиши.

10 декабря

Бошко с группой ребят: Олег, Сергей, Лазарь, Гречаник и другие попали в окружение. К ним пристали политруки и лейтенанты. Бошко взял на себя команду. Ифлиец-солдат вывел ребят... Лазарь поймал коня и гарцевал на нем.

Пришло письмо от Нины. Пишет Юрке, а мне только привет. И сейчас такая же, чтоб я не забывался, а сама плакала, когда уходил. Гордая до смешного. Письмо носилось в кармане. Адрес стерся, и тогда захотелось написать. Была ранена в руку. Опять на фронте. Избалованная, красивая девушка. Ифлийка. Молодчина.

Снег, снег, леса и бездорожье. Горит деревня.

Отряд... Карабины, автоматы. Штатские куртки на меху, маскхалаты...

Шоссе. Едем на автомаш[инах]. Ночуем в Крапивне. Немцы повесили предколхоза и еще двоих. Они закололи свинью партизанам.

Днем остановка в Одоеве. Зашли с Паперником в дом. Жена арестованного. Ему немцы «повязку» одели, и он в управе работал. Это чтоб с голода не помереть. Сволочь. Городской голова — адвокат, сбежал с немцами...

Едем в Козельск.

г. Козельск. На вокзале уйма машин. Машины и по всей дороге. Козельск разрушен, не горел. Едем дальше.

Деревня Рядики.

Оставили машины. Немцы летают. Нагло низко и обстреливают. Ночью пошли на лыжах. Вел Лазарь. Бродили по снегу, по оврагам. Ночью пришли в Меховое. Здесь штаб армии. Собирается уезжать. Лежали на снегу. Потом ночью в дымной хате ели вкусно. Когда проезжали Тулу, за

машинами бежали ребята. Мы стали, было очень холодно.

— Дяденька! А ты руки в рукава. Теплее, чем в варежках, — советовали ребята.

Тула цела. Но за городом снежная поляна, торчат две — три трубы. Туляк Женя Демин говорит, что был здесь поселок с красивыми домиками.

В Щекине к машине подошел старик, закурил: — Немцы все забрали.

В глазах молчаливое оцепенение, одет в лохмотья овчины.

Идем на лыжах дальше. Деревня Ракитная.

Поехали в город Рождествено доставать лошадей... Предколхоза дал сани, сам повез, погонял коня выкриками: «Алло! Алло!»

Бой под Хлуднево.

Пошли опять 1 и 2-й [взводы]. Бой был сильный. Ворвались в село. Сапер Кругляков прот[анк]ово[вой] гранатой уложил около 12 гансов, в одном доме. Крепко дрался сам Лазюк в деревне. Лазарь застрелился. Был тяжело ранен. К нему ползли гансы. Перлин говорит, что он крикнул: «Я умер честным человеком». Какой парень?! Воля, воля! Егорцев ему кричал: «Не смей!» Утром вернулось человек 6, это из 33. Через день пришли Борис Перлин и Корольков. Борис пересидел в сарае. Потом вышел. Лежат разутые наши. Один поднялся. Корольков. Встретили низкорослого ганса, несет валенки. Отняли. Корольков обулся. Хотели пристрелить немца. Осечка карабина. Немец крикнул: «Зольдат идут». Обернулись, а он смылся. Это по рассказу Перлина.

Через два дня ночью пришел Лавров.

Три дня — и нет такого отряда.

Хлебников писал: «Когда умирают люди — плачут». Я бы плакал, но не умею. Мы не учились этому тяжелому, вернее трудному ремеслу: плакать. Гречаник растерялся. Жметесь к Васютину.

Ушли в разведку Сережа и Олег. Кондрашов вышел из леса. По нему выстрел. Пошли они. Шли, шли. Ураган свинца. Погибли. Крепкие люди, настоящие парни. Смирнов ходит, как прибитый, молчит. Они вместе спали, вместе ели. Три молодых.

Ходили в разведку в Кишеевку. Я с Шершуновым. Лезли глубоко в лес. Тишина. Шершунов великопленный парень. Тоже ифлиец, но без червоточинки богемы и интеллигенции.

Ранен. В живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Боборыка перевязал. Рана, аж видно нутро. Везут на санях. Потом доехал до Козельска. Там валяемся в соломе и вшах. [Неразборчиво — название населенного пункта]. Живу в квартире начальника госпиталя. Врачи типичные. Культурные, смешные в ремнях и когда говорят уставным языком.

Мудрость приходит к человеку с плечами, натертыми винтовочным ремнем, с ногами, сбитыми в походах, с обмороженными руками, с обветренным лицом.

Когда идешь в снегу по пояс,
о битвах не готовишь повесть.

Гречаник предложил представителю Штарма [Штаба армии] услуги переводчика. Гремели орудия. И тот сказал:

— Сейчас надо не с немецкого переводить, а немцев переводить.

Прав. Очень прав.

...Когда ползешь по снегу, когда пурга обжигает лицо и слепит глаза, но знаешь, что если станешь — погибнешь, замерзнешь, — вспоминаются северные ребята Джека Лондона. И они ползли в пургу в 50°, голодали, но не сдавались. И они победили.

Фронтовики в карманах гимнастерок носят странные вещи. Немецкие губные гармошки, трубки, офицерские нашивки (одна) или кусочки свинца, вынутые из собственных ран ловкими руками хирурга. Это не талисманы. Это вещи, которые, как искры, воспаляют память. И начинаются долгие правдивые истории.

5-я палата обкуривает трубку сержанта Вл. Она обходит 9 коек и появляется снова в зубах сержанта. Вл. начинает рассказ:

(Рассказ о трубке)... В великолепной коллекции И. Эренбурга это был бы прекрасный экспонат.

Э. Багрицкий:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Миша Молочко и Жора Стружко! Други, погибшие еще в финскую!

Война. Люди, которые писали раз в год письма тещам, начали вести дневники, [писать] статьи и газеты, подробные письма. Война рождает писателей и книги.

Это была мать. Она бежала за человеком. Потом извинялась: «Стрижка, как у моего сына. Сзади вылитый Вова. Извините».

Слышанное

Интернационал.

6 немцев жили в одной избе. Трое уехали. Трое пришли. Велели хозяйке закрыть плотно окно и двери. «Давай патефон». «Ну, погибла», — подумала старушка. Завели громкую пластинку. Они сели вокруг стола, вынули листочки бумаги и запели «Интернационал». Пропели весь. Один пожилой прослезился. Встали и ушли. Она их больше не видала.

Сибиряки

Он был ранен днем. Мина оторвала ему ногу, искалечила руку и лицо. Огромное тело истекало кровью. Мимо него бежали люди. Вперед — в бой, назад — вели раненых, бежали за патронами. Он молчал. К нему не подходили. Бой закончен. К нему подошли. Положили на плащ-палатку. Понесли. 2 часа он пролежал на морозе. Он не звал на помощь, он не хотел быть обузой. Но теперь: «Братцы, дайте закурить». Врач вздрог-

нул от сильного голоса этого изувеченного, обмороженного человека.

9 месяцев войны. Уже рождаются дети, зачатые в первые дни войны, в последнем страстном объятии уходящих на фронт добровольцев. Рождаются дети. Они не увидят своих отцов.

Трагедия искусства. Писатель вместе с читателем смотрели в одно окно. И после, когда читатель прочел описание этого факта, он сказал: — Ложь! Я там был и этого там нет. Ручаюсь головой.

Попробуй, докажи.

На станции Рязань II-я. Молодая москвичка. Мать уже. Спросила у меня: «Что значит — взято 3 населенных пункта? Города ли это?» И когда ей сказал, что в населенном пункте бывает и по 2 дома, она иронически улыбнулась.

Да где ей знать. Ей, уехавшей в октябре за Урал. Разве знает она, как умирают люди за эти 2 дома? Нет.

Мы стояли на перекрестке дорог. Со всех сторон хлестали ветра. Москва была очень далеко.

Железнодорожные рельсы засыпаны снегом. Поезда не ходят с лета. Люди отвыкли уже от гула. Тишина здесь, кажется, усилена этими рельсами.

4 марта

Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил ее начала.

Завтра мне 20 лет. А что?

Н. Тихонов.

Когда уйду, совсем сойдет мать.
Но говорить и думать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.
Из рук уронит быструю иглу,
И на щеках заволоняются пятна.
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.

Еще в Гульцово я видел у Гречаника пачку фото немецкого офицера. Среди снимков его жены, толстой middle и младенца, снятого 22 июня (!), есть два забавных фото:

1) Тип официанта. Угодлив. Зачес жидких волос. Чаплинские усики. Надпись гласит на языке французском: «От французского л'ами»¹.

2) Из сарая вылезает огромный автобус. Он грузнет в глубоком снегу. Двумя рядами стоят немцы. В руках у них лопаты. Они улыбаются в объектив.

Улыбайтесь. Этот снег многих из вас угробит.

Женщины-почтальоны

Они разносят сложенные вдвое, склеенные маркой извещения о гибели героев. Они первые видят безумные глаза жен, слезы матерей, закушенные губы и сжатые кулаки отцов и братьев.

Людей с железной дисциплиной, доходящей до аскетизма, очень уважаю, преклоняюсь, но не завижу.

¹ друга (франц.).

До войны мне нравились люди из «Хулио Хуренито», «Кола Брюньона», «Дон-Кихота», «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Похождения Швейка». Это здоровые, веселые, честные люди.

Тогда мне нравились люди из книг, а за 9 месяцев я увидел живых собратьев этих классических честных, здоровых весельчаков. Они, конечно, созвучны эпохе...

Студент-литератор. Всю войну проучился. Когда прочитывал фронтовые очерки и рассказы, обычно восклицал: «Какой сюжетик!» ...А в рассказах и снегах белорусских умирали его одноклассники...

Студент-искусствовед. Два дня мела метель. В воскресенье необходимо было чистить аэродром. Искусствовед заявил: «Работать не буду. У меня воспаление почечной лоханки...»

А с этого аэродрома поднимались ястребки, защищающие его теплую комнату с репродукциями Левитана...

Этот уже подлец.

Халтурщик не унывал. Он переписал Верещагина «Отступление Наполеона» (кажется, так) в «Разгром немцев под Москвой». Пушкин у него зазвучал так:

Собрал сотоварищей храбрый Олег,
Он мстит озверевшим тевтонам.
Их пушки и танки за дикий набег
Обрушил он в Днепр с понтонов.

Каменистые истины

Война — это пробный КАМЕНЬ всех свойств и качеств человека.

Война — это КАМЕНЬ преткновения, о который спотыкаются слабые.

Война — это КАМЕНЬ, на котором можно править привычки и волю людей. Много переродившихся, людей, ставших героями.

Наша сила в воле к жизни

Четвертые полосы газет в кратких заметках дают железную уверенность в завтрашнем дне:

1) Исторические раскопки в Подмосковье. Здесь были недавно бои, были противотанковые рвы. Найдена горсть древних монет.

2) Прием на курсы стенографии.
Это не безразлично, это — Спокойствие. Уверенность...

13 апреля

Слушал 7-ю симфонию Шостаковича. Дирижер Самосуд. Шостакович под овацию ждал руки скрипачам, кланялся. Зал неистовствовал.

7-я симфония

После вступления, в котором мне чудилось что-то пасторальное, милое, начинается основная тема. Тема — война. Настойчиво нарастает барабан-

ная дробь от тихой до грома меди и литавр. К дробь марша присоединяются однообразные звуки скрипки. Это солдатский марш. Это кип-лингоскок:

Пыль... пыль... пыль... пыль...
от шагающих сапог.
А отпуска нет на войне.

Марш нарастает до кульминации. Будто два танка поднялись на дыбы, сцепились передками. Лязг. «Кто—кого?» «Кто—кого?» И после этого реквием. Плач о погибших героях, горе, когда уже нету слез — так лишет и сам автор. Реквием кончен. Снова мотив войны. Не забывайте, война идет. Горе не должно сломить вашей силы и воли. Это (вся 1-я часть) самый сильный кусок симфонии. Потом идет мечтательная часть. Воспоминание хорошего. Я почему-то вспомнил. Киев. Летнее утро. После разлуки из Ленинграда приехала любимая девушка. Мы идем по Николаевскому парку. Скамейки пустые. Еще никого нет. По-летнему прохладно. И все. Я не пишу статьи и поэтому не говорю о всех частях. Я пишу о том, что я увидел ясно, ясно. Четко, как на экране; весомо, как в театре.

Капитан Гастелло любил рассказ Дж. Лондона «Воля к жизни». Ленин любил этот рассказ. Джек Лондон — писатель сильных...

Хорошее чувство, когда есть о чем писать, когда поиски героя увенчались успехом. Героя знаешь лучше, чем себя, видишь его ясно, ясно. Все, чего в «штатском» не видел, теперь зажглось для меня: **вся ифлийская жизнь**. Говорили с Юркой о будущей книге. В ней будет много стихов: новых и довоенных. Проза поэтов.

Испанцы 8/IV—42

Нары. На табурете аккуратная стопка книг. Сверху «Цыганские романсеро» Федерико Лорка на испанском языке. Здесь под Москвой живут испанские солдаты. Они мстят под Волоколамском за своего Лорку, за Мадрид. Смелые, веселые люди. Черные глаза, черные вьющиеся волосы, до блеска начищенные сапоги...

Далеко Мадрид. Они молча вспоминают расстрелянных жен, голодных детей в лачугах Бильбао. Рвутся в бой, мстят за своих детей, мстят за своего Лорку. Весенняя русская ночь. Из окопов несется звук гитар и пение непонятной, но родной песни.

Киев

Я вижу: каштаны улицы Короленко, тополя на бульваре, акации пробиваются над решетками Ботанического сада. На гранит Богдана влез пьяный офицер. Щелкает затвор лейки. Улыбается полковник. Щелкает затвор. Гремит выстрел. Офицер падает. Тонкая струйка крови на граните. Тишина.

Украина, моя Украина!

Николаевский парк. Обломки зеленых скамеек. С Днепра теплый весенний ветер. На фонарях перед исполкомом тела повешенных. Тишина. Город зелени, город веселых, энергичных людей замер, притаился. Скоро, очень скоро он зашумит, как в марте Днепр. Мы вернемся.

Провинциал в ковбойке и широких парусиновых брюках. Рукава закатаны выше локтя, обнажены крепкие, загорелые руки. Он приехал в Москву из теплого, зеленого Киева. Он мечтает быть поэтом беспокойным и бушующим. Таким я был в августе 1939 г. в Москве, у Киевского вокзала.

Двое говорили о любви. В разговоре было 30% иронии, 50% цинизма, 20% воспоминаний об окончательно утраченном.

А в сердцах у каждого была честная, настоящая, стопроцентно-юношеская любовь.

Они хотели быть взрослее. Ведь всего 21 год.

Пусть наши супы водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал.
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.

Это Тихонов. Это хорошо.

Мы лежим на снегу. «Ваше слово, товарищ маузер», — сказал, улыбаясь одними глазами, парень. Грянул выстрел. Маяковский воюет.

В стихах Юрки не хватает той плохо зарифмованной строки, той глагольной или очень посредственной рифмы и трудноваримого сочетания слов, которые показывают **МЫСЛЬ, ЧУВСТВО** в ущерб форме. Такие стихи — малого накала. Темы у него штатские, хотя на первый взгляд они все о войне.

Девушка учила Овидия и латинские глаголы. Потом села за руль трехтонки. Возила все. Молодчина.

13 мая

Женщина боялась своего почерка. Он напоминал ей почерк погибшего сына. Письма она отстукивала на машинке.

В Киеве целые сутки партизаны удерживали площадь Богдана Хмельницкого.

21 мая

Тишина в мире. Листья сле-сле колышутся...

3 июня

Мне рассказали о саперах
И минах, розовых полях,
О том, что был свинец и порох
У моего плеча в гостях.

Очнулся я. В крови подушка,
И голова лежит в крови...

...Сейчас я вспомнил тишину,
Разрывы мин и гул моторов.
Шли мальчиками на войну
И возмужали очень скоро...





Н О В Ъ

Репортаж

ЯМНОЕ

Из-за леса показалось село. Водонапорная башня, опрятные беленькие домики, яркое полотнище флага над зданием клуба.

Несмотря на ранний час, в правлении колхоза оживленно. Слышится пощелкивание костяшек счетов, говор. В передней топится печь. Дверь красного уголка открыта. Двое парней выносят оттуда только что написанный плакат: «Товарищи животноводы! Ответим на решения декабрьского Пленума ЦК КПСС досрочным выполнением принятых обязательств!».

— У себя ли председатель?

— Заходите! Заходите! — Батухтин открывает дверь своего кабинета; подождя, пока мы переступаем порог, добавляет: — Садитесь!

Председательский кабинет просторен, светел. Вдоль стен чинно расставлены стулья. Тепло. В простенках под стеклом почетные грамоты и дипломы ВСХВ с прикрепленными к ним золотыми и серебряными медалями. Над столом председателя большая фотография: Н. С. Хрущев беседует с колхозниками села Ямного. Никита Сергеевич посетил этот колхоз в апреле 1957 года.

Батухтин молод, высок ростом, подвижен. Говорит он быстро, ударяя на «о» (Михаил Вла-

димирович — уроженец Кировской области). На нем черный костюм; на груди депутатский значок.

Мы с Батухтиным знакомы давно, но мои товарищи — художник Алексей Паунов и поэт Семен Сорин — в Ямном впервые. Они знакомятся с председателем. Мы говорим о цели нашего приезда.

— Хотите, так сказать, воспеть нашу молодежь? Что ж, хорошо! У нас в колхозе молодежи много.

Михаил Владимирович на минуту вышел попросить, чтобы позвали секретаря комсомольской организации Алексея Масалова. Вскоре явился один из тех парней, что выносили плакат.

Батухтин перепоручил нас Масалову.

Вместе с ним мы отправились вдоль села.

Ямное раскинулось по-над Доном. По крутой, изрытому оврагами, просторно разбросаны хаты. Словно опасаясь свалиться, хаты протянули друг к другу цепкие плетни — схватились ими, как руками, и держатся над оврагом. Кое-где виднеются сады. Вишневые деревца, припорошенные снегом; наклонившиеся под гору коричневые стволы яблонь; поредевшая шетина акаций. Сады сбились в кучу и тоже, как и плетни, опасно смотрят на подступивший вплотную к ним овраг: не свалиться бы!

Овраги да пески — бедствие этих мест. Есть

тут и очень хорошие земли, в пойме Дона. Но до революции эти земли принадлежали помещику. А крохотные крестьянские полоски ютились наверху, на песчаниках. Много ли возьмешь с такой земли!

Бедно жил тут народ в старину. Малоземелье, примитивность орудий труда, невыносимые налоги, кулацкое засилье — и как результат всего этого безысходное нищенство. Многие крестьяне кормились тем, что брали детей из казенного приюта и воспитывали их до определенного возраста за



мизерную плату. Однако и это не спасало; доведенные до отчаяния, крестьяне придонских деревень покидали родные, обжитые места. Одни подавались в «яму» — на ломку камня; другие шли в лес гнать смолу.

Кадет Шингарев, работавший в соседнем селе врачом, писал об этих придонских селах: «Население здесь стоит на той последней грани *existenz minimum*¹, после которой начинается уже неуклонное его вымирание». Свою книгу, рассказывающую о жизни крестьян этих мест, изданную в 1901 году, Шингарев так и назвал: «Вымирающая деревня».

УЛИЦА МИРА

И вот мы идем вдоль села. Улицей Мира назвали колхозники новую улицу Ямного. Сорок домов, один другого лучше. Дома кирпичные, с верандами, с теплыми сенцами. Покрыты они шифером; над крышами антенны телевизоров.

Заходим в дом молодого колхозника комсомольца Алексея Парфенова. На крыльце нас встречает мать Алексея, Пелагея Андреевна.

Алексей только что пришел с работы. Он умылся на кухне. Пелагея Андреевна пригласила нас к столу, и пока мы выпили по чашке чая, Алексей успел умыться и переодеться.

За столом мы разговорились.

Алексей и его жена Татьяна — рядовые колхозники. Однако, имея хорошие заработки, они скопили деньги и построили себе благоустроенный дом.

— Наша старая хата, — рассказал Алексей, — стояла под горой, в пойме Дона. Перед самыми окнами — овраг. Весной или в дождь у всех ра-

дость, а мы день и ночь роем канавы, чтобы отвести от хаты воду. Заливало ее, как дырявую лодку.

— Ту хату, поди, еще прадед строил, — пояснила Пелагея Андреевна. — Сто лет, а то и больше стояла.

— Потолки низкие, стены всегда мокрые, — продолжал Алексей. — Оконца крохотные, и те упираются в гору.

— Зато там огороды больно хороши...

— Ох, уж эти огороды! — Алексей отставил чашку, взял на руки крохотную большеглазую дочурку. — Некоторые и сейчас еще держатся за эти самые приусадебные участки, не хотят переезжать сюда, где по плану должен быть центр нового села. А мы так с жинкой решили: хватит жить в потемках, надо перебраться на улицу Мира. Посмотрите, как теперь живем!

Мы поднимаемся из-за стола, и Алексей показывает нам свой дом. Дом действительно замечательный. Из передней дверь ведет в столовую. В комнате три окна. Световая площадь каждого окна — не менее двух квадратных метров. Потолки высокие. Представьте себе, сколько в комнате света, воздуха!

И невольно вспоминаются слова из книги Шингарева. Анализируя причины частых заболеваний крестьян, и особенно детей, он писал о том, что на каждого обитателя крестьянской избы «приходится гробовое количество воздуха, в шесть раз меньше, чем полагается».

Новый дом Алексея Парфенова ничем не напоминает старую деревенскую избу. В доме три комнаты: столовая, спальня, детская. Кроме того, есть передняя и кухня. Полы в комнатах покрашены масляной краской; перегородки и потолки штукатурены, побелены так, что все в доме светится. Над абажуром лепные украшения, у вытяжных труб решетки. Чем не городская квартира? К тому же и соответствующая обстановка. В столовой круглый стол, накрытый льняной скатертью, горка с посудой, радиоприемник «Балтика», цветы. Цветов очень много: на подоконниках, закрыв горшки расписными, красивыми листьями, стоят бегонии; на столике, где радиоприемник, распустил свои пушистые побеги аспрагус.

В углу, там, где обычно в деревенских избах божница, во всю стену большой плакат: «Молодежь! На стройки семилетки!». На плакате группа юношей и девушек. Они смотрят на нас из окна вагона. Их путь — в Сибирь, в Казахстан...

— Ишь, повесил! Всю комнату хотел плакатами увешать, да я не дала, — ворчит мать.

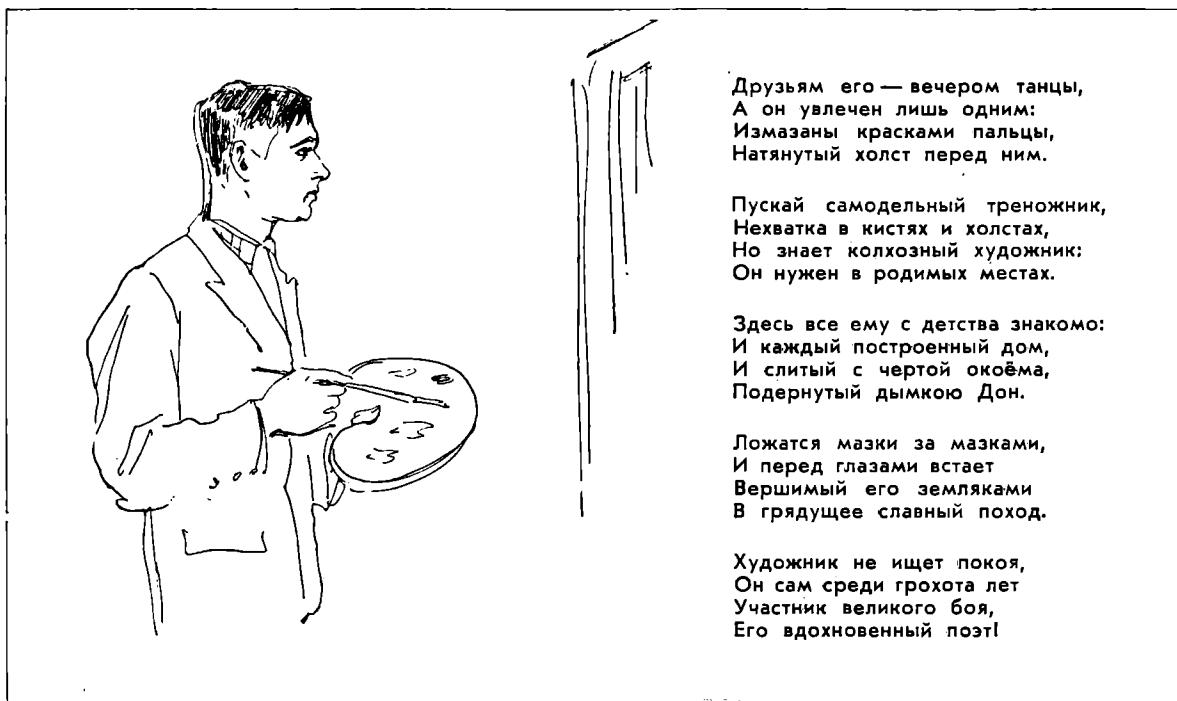
Алексей улыбнулся, посмотрел на жену.

— Я был на целине, — сказал он, — и не раз. Служил в армии. Приходилось помогать новоселам в уборке хлеба. Там, в Актюбинской области, мы с Таней и познакомились. Махнули бы и опять куда-нибудь, да вот семья!

Мы побывали во многих домах у новоселов на улице Мира. Все дома хороши: и у тракториста однофамильца комсорга Алексея Масалова и у молодого колхозника Николая Латушкина. Многие колхозники уже успели насадить молодые сады. Весною улицу предполагается заасфальтировать. В дома будет проведен водопровод. Таким образом, улица Мира станет частью того нового поселка, который решили построить колхозники.

Исчезнет старое Ямное. Не будет кривых, узеньких улиц, растянутых на несколько километров. На месте еще оставшихся кое-где хат с подслепо-

¹ Жизненного минимума.



Друзьям его — вечером танцы,
А он увлечен лишь одним:
Измазаны красками пальцы,
Натянутый холст перед ним.

Пускай самодельный треножник,
Нехватка в кистях и холстах,
Но знает колхозный художник:
Он нужен в родимых местах.

Здесь все ему с детства знакомо:
И каждый построенный дом,
И слитый с чертой окоёма,
Подернутый дымкою Дон.

Ложатся мазки за мазками,
И перед глазами встает
Вершинный его земляками
В грядущее славный поход.

Художник не ищет покоя,
Он сам среди грохота лет
Участник великого боя,
Его вдохновенный поэт!

ватыми оконцами вырастет новый, благоустроенный поселок. Поселок, несомненно, городского типа. В нем будут клуб, школа-восьмилетка, дома специалистов, столовая, больница, родильный дом, баня. Центр поселка переместится подальше от оврагов, а их змеинные изгибы будут приостановлены: все прибрежное крутоярье Дона покроется насаждениями декоративных и плодовых деревьев.

Навсегда исчезло с лица советской земли даже понятие «вымирающая деревня».

ТРУД, ПРИНОСЯЩИЙ РАДОСТЬ

Председатель правления колхоза Батухтин встает чуть свет. Умоется, наскоро позавтракает и спешит на баз. Перво-наперво надо проверить, как выполняется наряд, выданный бригадирам с вечера. Убедившись, что трудовой день всюду начался слаженно, Михаил Владимирович отправляется в «главный цех».

Таким цехом в хозяйстве является сейчас животноводство.

Мы вместе идем на свиноводческую ферму. СТФ — в соседнем селе, в Ново-Подклетном. От Ямного километра два, не больше. Дорога петляет лесом. Припорошенные снегом сосенки тянут кверху свои побеги. Лесопосадки эти производил Батухтин: до того, как прийти три-

дцатитысячником в колхоз, Михаил Владимирович был директором лесомелиоративной станции.

— Ишь, вымахали! — радостно говорит он. У свинофермы нас встретил заведующий Федор Сергеевич Дегтев. Был час утреннего корма. В это время на ферме всегда суетно. Слышится окрики свинарок, повизгивание поросят.

Проходя от станка к станку, Батухтин здоровается со свинарками, расспрашивает о кормах, о времени опороса отдельных маток.

Мы решили побеседовать с одной из самых молодых свинарок, Ниной Востриловой. Она комсомолка. На ферме работает Нина давно, более семи лет.

От восьми свиноматок, закрепленных за ней, из года в год она вырашивает по сто тринадцать, а то и больше поросят.

— О, они у меня голосистые! — весело говорит Нина. На ней чистый халат, надетый поверх телогрейки. Она выливает из ведра корм. Выхоленные поросята (а их целая дюжина) атакуют корытце. — Мы их выхаживаем до двух месяцев. Рождаются они такими маленькими и беспомощными... — И Нина рассказывает, как их выхаживает, чем кормит, с какой периодичностью их взвешивает. Говорит она увлеченно, горячо, как это может только человек, глубоко знающий и любящий свое дело.

Нас интересовало и другое: что делает Нина по вечерам, придя с фермы, учится ли, как отдыхает...

— Честно говоря, для от-

Электрик

Строится, растет село колхозное,
Люди с электричеством — друзья,
Потому ни в зной, ни в ночь
морозную
Людам без электрика нельзя.

Колет щеки ледяное крошево,
На руках — морозная печать.
А ему не надо счастья большего,
Чем дороги людям освещать.



Поросенок родился плохонький.
Нина рядом вторую ночь:
Ведь не аханьки и не охоньки
Могут плохонькому помочь.

Ночь пути замедляет выюгою.
Нину теплый заждался дом.
Поросенок, тихонько хрюкая,
В руки тычется пятачком.

Нет, недаром с ним Нина возится,
Двое суток подряд не спит.
Розовой, поросычья кожа,
И прорезывайся, аппетит!

А ведь он не один — их дюжины,
Накорми-ка всех, напои!
Так от ведер руки натружены,
Часто кажется — не свои.

Что скрывать, велики усилия,
Но у Нины счастливый взгляд:
Доказательством изобилия
Поросята ее лежат.

Ей не нужно хвалы
растроганной.
Вдаль глядит из-под строгих век,
В сапогах, в телогрейке стеганой,
Государственный человек.

дыха времени остается мало. — Заметив, что художник раскрыл альбом, Нина смутилась: — И зачем вы меня рисовать собираетесь? У нас есть девушки и получше меня.

Но он уже делал наброски. А мы спросили:

— Почему же мало времени для отдыха? Фермы у вас хорошие, механизированные.

— Потому что, кроме работы, я еще учусь.

— В кружке или в вечерней школе?

— Нет. В университете сельскохозяйственной культуры.

Мы попросили Нину рассказать о своей учебе как можно подробнее. Оказывается, двенадцать молодых колхозников и колхозниц, в том числе и Нина, занимаются в районном университете сельскохозяйственной культуры. Колхозники, слушатели университета, регулярно съезжаются на занятия, делятся опытом своей работы; им читают лекции по специальным предметам и общественным наукам.

— К занятиям надо подготовиться, — говорит Нина. — Приходится много читать. Недавно, например, у нас зашел спор о наследственности у животных. Пришлось к следующему занятию читать не только брошюры, но и познакомиться с работами академика Иванова. Письма еще надо читать. Я депутат областного Совета. Обращаются избиратели с разными вопросами, им тоже надо вовремя ответить.

Пройдя по свинарнику, Батухтин собрал всех работников фермы на короткое собрание, где рассказал о том, как выполняются обязательства. Год наступил боевой. В ответ на решения декабрьского Пленума ЦК КПСС колхозники артели обязались за год удвоить производство мяса и довести выход его до 174 центнеров на каждые сто гектаров.

Эка куда махнули!

Батухтин и Дегтев подсчитывают, сколько поросят на ферме, сколько свиней на откорме, каких оставить для увеличения маточ-

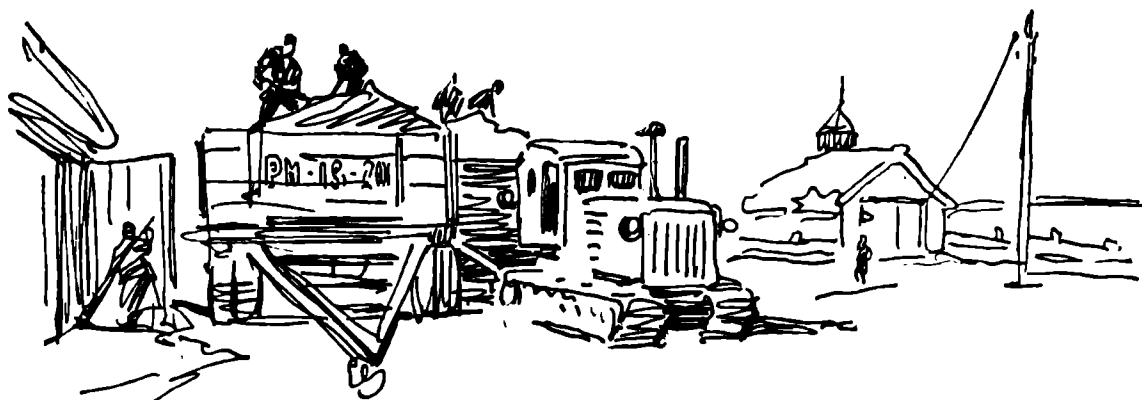
ного поголовья, а каких продать государству.

— Мы не подведем! — уверяет председателя Нина Востроилова. — Но мы как бы второй эшелон. Надо больше сдавать телятины, уток, кур — одним словом, «благородного» мяса.

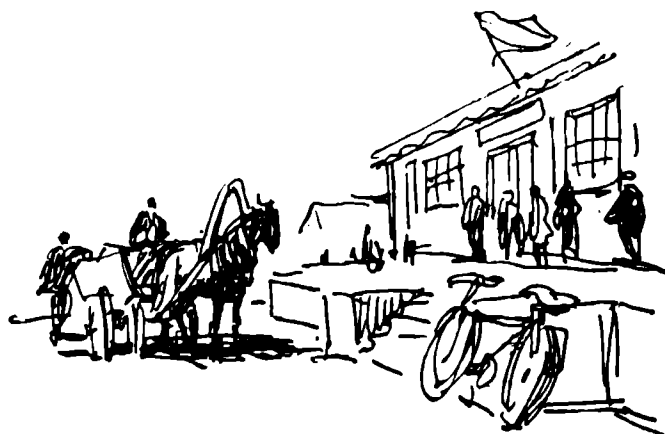
— Это замечание члена сельскохозяйственной секции областного Совета? — шутит Батухтин.

— Нет, Никиты Сергеевича и лично мое, — в тон ему отвечает Нина.

Батухтин прощается со свинарками и спешит на молочнотоварную ферму.



Разгрузка корабля на причале



У сельно



Дети до 16 лет
смотреть не разрешается...



Передача из Москвы

Шестирядные железобетонные коровники снаружи похожи на заводские цехи. Стоят на взгорке новые корпуса; в стеклах фрамуг весело поблескивает солнце.

Гулко отдаются под сводами блочных перекрытий звонкие голоса доярок. Светло. Сухо. Художник спешит набросать этюд. Коровы косятся на его широкий планшет. Однако это нисколько не мешает им с независимым видом пережевывать вкусную жвачку из кукурузного силоса.

Батухтина окружают доярки. Среди них немало девушек.

— Михаил Владимирович, у кого за декаду самые большие показатели?

— Михаил Владимирович, в театр сегодня поедем?

— Поедем, поедем, девчата!.. Алла! — Батухтин подозвал к себе одну из доярок. — Вот тут товарищи тобой интересуются.

— Кто это мной интересуется? — Девушка вышла вперед.

— Знакомьтесь: наша лучшая доярка, Алла Фурсова, — сказал Батухтин.

— Так уж и лучшая? — смущается она.

Алла маленькая, смешливая; рассказывая, она все время поправляет платок, прихорашивается. На ферму пришла сразу после семилетки. Закрепили за ней группу первотелок. Коровки молодые, никак не слушаются, к тому же у нее не было привычки: подоишь, а вечером руки болят. Теперь привыкла, ничего.

Правда, и условия работы другие стали. Разве можно новые коровники сравнить со старыми? Вода, корм — все подается и подвозится. А скоро вступает в строй электродоильный зал — тогда еще легче будет. Больше появится свободного времени.

О том, что с ростом производительности труда увеличивается свободное время, говорили почти все молодые колхозники.

Чем же они занимают это время?

Большинство молодежи учится: в университете сельскохозяйственной культуры, в различных кружках, в вечерней школе. Колхозники мечтают о том, чтобы университет культуры был создан непосредственно в Ямном.

Меняется характер сельского труда — меняется и весь уклад колхозной жизни, приближаясь к городскому.

Уже год, как в артели покончили с выплатой натурой на трудодни. Теперь за все работы колхозники получают исключительно деньгами. Животноводы и механизаторы при выполнении нор-

мы зарабатывают по сорок рублей в день. Хорошо получают также и все остальные колхозники.

Лет семь назад всех беспокоил уход молодежи из колхозов в город, из стройки. Теперь наблюдается обратный процесс: молодежь возвращается в колхозы. Так, например, строительная бригада в артели наполовину состоит из таких «возвращенцев».

Мы наблюдали такую сцену.

За селом, вблизи старицы, строится новый утятник. Сооружение не ахти какое великое, железобетонные коровники куда внушительнее по своему виду. Но, подходя к утятнику, мы еще издали увидели: у строящейся стены стояло по меньшей мере полтора десятка велосипедов.

Строители работали дружно, слаженно. В полдень каждый из них сел на свой велосипед, и все разъехались по домам обедать. Зима этому не помеха. Сегодня они разъезжают на велосипедах, но, как нам рассказали, многие из них уже подали в магазин сельпо заявки на приобретение мотоциклов.

Доярка

Припоминаешь: трудно было,
Порой намаешься до слез,
Но электрическая сила
Спешит на выручку в колхоз.

Ты смотришь пристально —
морщина

Высокий лоб пересекала.
Когда б доильная машина —
Повеселей пошли б дела!

Она придумана толково,
Но есть серьезный недочет:
Коровам не промолвит слова,
По имени не назовет.

Вот почему с такой любовью
Ты их зовешь по именам,
Вот почему глаза коровы
Не так грустны по временам.

Рогатые смешные морды...
Как любо видеть их тебе!
Не просто ставятся рекорды —
Они рождаются в борьбе.

И кажется, течет в бидоны,
Густой, дымящийся чуть-чуть,
Сквозь окна крыши застекленной
Необозримый Млечный Путь.

РАЗУМНЫЙ И ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

На селе вечер.

Кто не знает, как бывают скучны зимние деревенские вечера! Завоженные снегом избы. Робко мерцает в одиноком окошке соседней хаты огонек керосиновой лампы. Лишь где-то на околице тихо пилит гармоника: это молодежь возвращается с «посиделок».

Не похожа эта картина на вечер в селе Ямном!

Морозно. Вокруг фонарей уличного освещения большие оранжевые круги. В их свете, переливаясь, падают на землю снежинки. Четкими рядами светятся окна домов. На улице смех, говор. Одни спешат на «наряд» — так в колхозе называют производственные совещания; другие — в красный уголок, в читальню, в клуб.

Мы заходим в правление. У Батухтина идет совещание.

Совещаются больше пожилые колхозники, а молодежь в красном уголке. Парни и девушки из полеводческих бригад сидят рядками, слушают лекцию по гибридизации кукурузы. Лекцию читает агроном Алексей Подковыров.

В медпункте врач Александра Маликова рассказывает, как ухаживать за грудными детьми.

В клубе шахматный турнир. Арбитр матча, который должен выявить лучшего шахматиста колхоза, — техник-строитель Иван Поленов...

И так всюду, куда бы мы ни пришли. Молодежь отдыхает, учится. Как правило, организатором отдыха молодежи на селе выступает интеллигенция. Численность ее за последние годы значительно возросла. Перед началом коллективизации, лет тридцать назад, в Ямном не было ни агронома, ни зоотехника. Два учителя — вот и вся сельская интеллигенция того времени.

Ныне же каждый десятый житель Ямного — человек интеллигентного труда! В Ямном три агронома, два зоотехника, ветврач, два фельдшера, тринадцать учителей, техник-строитель, библиотекарь, заведующий клубом... Да разве всех перечтешь! В колхозе работает опорный пункт сельскохозяйственного института, есть своя лаборатория. Бывшие ученики местной школы, ныне молодые агротехники и лаборантки, имеют дело с микроскопами и другой научной аппаратурой.

Даже продавщицы сельмага в Ямном, и те девушки с образованием. Продавщица промтоварного отделения Тамара Парфенова год назад окончила Воронежский товароведческий техникум, а ее подруга Нина Пономарева — студентка-заочница того же техникума.

С передачей техники МТС колхозам на селе появился большой отряд механизаторов. В колхозе теперь свои трактористы, шоферы, комбайнеры, электрики, механики и слесари по ремонту машин. Это, по сути дела, рабочие. У большинства из них среднее образование. Молодые механизаторы учатся и в том же университете сельскохозяйственной культуры и в средней школе.

Нельзя себе и представить сельских жителей с таким общим культурным уровнем в те времена, о которых писал Шингарев.

Здание колхозного клуба еще не достроено. В зрительном зале и в фойе ведутся лепные работы. Отделано пока только помещение, предназначенное для читального зала библиотеки. Здесь и проводятся все мероприятия.

Шахматисты расположились на сцене. Столики с шахматными досками стоят впритык один к одному. Тут же, на сцене, телевизор. Группа парней смотрит фильм о пограничниках.

— Тося, включай радиолу! — просят девушки заведующую клубом Таисию Черношинцеву.

Девушкам хочется танцевать. Парни уступают: телевизор выключен, доигрывание неоконченных партий переносится на завтра.

То и дело распахивается дверь, и, постукивая каблучками, входят парни и девчата. Среди них немало и наших знакомых. Пришла доярка Алла Фурсова, продавщица магазина Нина Пономарева, техник Зина Власова.

— А где же Эмма и Аля? — спрашиваем мы у девушек.

— Они, небось, письма читают!

Эмма и Алевтина Пушкины — сестры. Они окончили десятилетку и работают сейчас в садоводческой бригаде. Недавно их портреты были напечатаны в газете, и теперь сестры получают много писем. Пишут им молодые колхозники из Молдавии и Грузии, спрашивают, как они ухаживают за садом, что у них выращивается, не надо ли им каких-нибудь саженцев южных плодовых деревьев... Но больше всего писем от моряков, солдат, ремесленников. Парни тоже интересуются делами в колхозе, и только в самом конце, после всех приветов и извинений за отнятое время, скрытый вопросик: дескать, как вы живете, да не занято ли ваше сердце...



Про Пушкиных Алю и Эмму
И сад их на Верхнем Дону
Сложить не одну бы поэму
И песню бы спеть не одну.

Пусть знают о сестрах повсюду,
Пусть письма им в руки летят.
Подобно зеленому чуду,
Поднялся на пустоши сад.

Окуренный ранней весной,
Укутанный снежной зимой,
Село украшая родное,
Он ветви вознес над землей.

Ни ветром, ни вьюгой, ни градом
Его не придавит к земле.
Теперь его «Пушкинским садом»
По праву зовут на селе!

Вот над этим и посмеивались теперь подруги. ...Шумной ватагой ввалились трактористы. Механизаторы — народ дружный, скоро два года, как из МТС они навсегда перешли в колхоз, а по-прежнему держатся вместе, кучкой.

С радиолой что-то не ладилось, они быстро осмотрели ее, исправили.

Полились звуки вальса. Легко закружились пары.

Колхоз «Заря социализма».
Семилукский район, Воронежской области.



А ТАКТ ЕСТЬ?

Рисунки К. Багровой.

Проливной дождь. Автобус, которым мы с Женькой добираемся до завода, напоминает моторную лодку: он мчит, покачиваясь и фырча, из-под колес — брызги, а за «кормой» — водяной хвост... Меня укачивает, клонит ко сну, а Женьке хоть бы что: стреляет по сторонам черными живыми глазами и ведет для собственного удовольствия «репортаж»:

— Фезеушники опять дурят. Собирают между собой деньги на проезд одинокопесчными монетами. Интересно, что им кондуктор скажет?... Вот женщина вошла. Симпатичная... Пальто полосатое, модное. Спinoй повернулась. Глянь, Ирка, у нее чулок сзади разорван, — кошмар!

Я приоткрыла глаза и еще слова сказать не успела, как Женька выкрикнула своим звонким, сильным голосом:

— Гражданка в полосатом! У вас чулок сзади распорвался!

Женщина обернулась. На ее миловидном лице промелькнули смущение и досада. Несколько голов повернулось в ее сторону, и женщина совсем смутилась. Она даже съежилась немного и вышла, по-моему, не на своей остановке, а раньше...

— Ты видела? — обиженно сказала Женька. — Даже не поблагодарила. Вот люди, честное слово!

— Ну, знаешь, — не выдержала я, — это уж слишком! Осрамил человека при народе, в краску вогнала и еще благодарности ждешь... Неужели ты не могла к ней подойти и потихоньку ска-

зать, так, чтоб никто не заметил?

— Ну да! — ответила Женька сердито. — Выдумала! Я бы к ней побежала, а мое место тем временем заняли бы.

Я промолчала. А она через несколько мгновений сказала:

— Вообще не понимаю: чего ты всегда делаешь из мухи слона и обращаешь внимание на всякую ерунду?

Может, Женька права, не нужно кипятиваться? Может, это действительно пустяки? И не стоит останавливаться на них, тратить силы и нервы?

Нет, стоит, стоит!



Я убедилась в этом, услышав от Оли, моей подруги по заводу, о таком неприятном случае...

— Я отправилась в гости к своей приятельнице Вале, — рассказывала она. — На мой звонок выбежала она сама, румяная, веселая, в новом платье. Она обрадовалась мне. Из комнаты неслись запахи сдобы, шум голосов, звуки проигрывателя. Я поздравила подругу с днем рождения и стала расстегивать пальто, ища глазами, куда бы положить пакет — подарок для Вали.

— Гошка, поухаживай, — распорядилась Ва-

ля. — а я на кухню: как бы пирожки не подгорели!

Ко мне подошел упитанный, кругленький и розовый юноша, такая морковина «каротель».

— Что-то тяжелое, — сказал он, взвешивая в руке принесенный мною пакет. — Я посмотрю? — И, не дожидаясь ответа, сорвал обертку.

На нас смотрели со всех сторон любопытные глаза девочек и мальчишек — Валиных гостей. Среди них присутствовало двое наших — заводских, а остальных я видела впервые. И мне не очень-то было ловко стоять под их взглядами, рядом с этим юнцом, бесцеремонно вертевшим в руках мой подарок — вазу, на которую я истратила чуть не половину своей зарплаты. Гошка бегло осмотрел вазу и постучал по узорчатой стенке узким, аккуратно подрезанным ногтем.

— Нет, не поет! — разочарованно протянул он. — Обыкновенное прессованное стекло! Но общий вид ничего — сойдет... Нет, ребята, вот я видел раз в комиссионке штучку! Настоящий хрусталь, без дураков...

Он поставил мою вазу куда-то на окно и продолжал расписывать этот самый «хрусталь без дураков», а я стояла рядом и была готова сквозь землю провалиться! Уши мои горели. Мне казалось, что все глядят на меня по-особому.

Ты знаешь (говорю тебе это по секрету, как близкой подруге), мне казалось, они видят штолку на моем «парадном» платье, хотя я стояла ко всем лицом, а штопка была на спине, возле шеи, и притом художественная; и знают, сколько я возилась, начищая туфли, чтоб они выглядели так, словно я ношу их не второй год, а всего месяц; и даже догадываются о том, что мне пришлось долго канючить, уговаривая маму дать разрешение на покупку этого «прессованного стекла», потому что у нас четверо детишек, а работаем только мы с мамой (отец, ты ведь знаешь, погиб на войне), и с деньгами у нас туго...

А ведь дома эта злосчастная ваза казалась мне красивой и, по правде говоря, не такой уж дешевой... Я люблю Вальку, и мне хотелось сделать ей приятно. Целую неделю бегала по магазинам, выбирала — и вот тебе, пожалуйста!

Когда Валя вернулась в комнату и увидела вазу, она расцеловала меня, стала восхищаться подарком, и многие из гостей поддержали ее. Может быть, ваза и в самом деле нравилась им, но только мне казалось, что все говорится, просто чтобы утешить меня. Я не могла дожидаться, когда кончится этот вечер. От праздничного, приподнятого настроения, с которым я спешила сюда из дальнего конца города, не осталось и следа. Девчонки с нашего завода поглядывали на меня с явным сочувствием, и это только ухудшало дело.

Я держалась как-то напряженно, неловко, выглядела неуклюжей, может быть, даже смешной. Постепенно и другим стало передаваться мое чувство неловкости. Веселье начало угасать, несмотря на отчаянные Валины усилия. Гошка заскучал первым.

— Ну, я пойду, — сказал он Вале. — А то с вами, пожалуй, уснешь со скуки.

Моя товарка по цеху Зина Демидова возмущалась:

— До чего же ты некультурный, Гошка, просто стыдно за тебя!

Но Гошка не смутился.

— Покультурней тебя! — огрызнулся он. — Я рабочий, и ты работница. Только ты еще в вечерней школе киснешь, а я уже техникум кончаю, ясно?

Зина начала было объяснять, что не в этом дело, что речь идет не о том, какие отметки он получает по математике или сопротивлению материалов, а о той внутренней культуре, которая подсказывается чутким человеческим сердцем...

— Чего, чего? — насмешливо переспросил Гошка.

— А вот того! — уже совсем сердито закричала Зина. — Сердце надо иметь, а у тебя, видать, вместо него резиновая груша от пульверизатора!

Но тут вмешалась Валя, которой было очень неприятно, что на ее дне рождения между гостями вспыхнула ссора:

— Да будет вам, ребята, ссориться! Гошка просто неудачно пошутил, вот и все.

Зина замолчала, а Гошка оделся и ушел — розовый, благополучный, абсолютно не подозревавший о том, что это по его вине расстроилось веселье, что из-за него

упало настроение у Вали, у меня, у Зины, у всех ребят, что он в конце концов испортил нам несколько часов жизни...



Очень жаль, что на этом вечере не была Женька. Может, она поняла бы, пустяки или не пустяки — человеческая чуткость!

Впрочем, мне кажется, ее заставили задуматься неожиданные события, сопровождавшие одно наше производственное совещание.

Степанный, седой мастер Федечкин вел себя на совещании, как школьник, который не знает урока и боится, что его-то именно сейчас и вызовут к доске. Он даже как-то сгорбился, стараясь стать совсем незаметным и, видимо, всей душой желая, чтоб о нем забыли на эти сорок — пятьдесят минут... Мы понимали, в чем дело. Два дня назад на участке Федечкина, проработавшего в

нашем цехе лет двадцать и нажившего добрую славу на заводе, произошла неприятная история: он недоглядел, и один из новеньких учеников вывел из строя дорогой, важный станок.

Конечно, мастер ждал «грозы» и боялся ее. Гроза грянула тогда, когда Федечкин уже почти успокоился: к концу совещания. Поднялся со своего места один из молодых поммастеров, Николаев, и пошел «честить» Федечкина. Все, что он говорил, было как будто правильно: и следить за новенькими нужно внимательней, и учить их лучше, и не доверять им дорогого оборудования, пока не убедишься, что они уже «по-настоящему» умеют обращаться с ним... Но послушали бы вы, как все это говорилось!



— Если товарищу Федечкину уже тяжело работать, — пожалуйста, пусть идет на отдых. Пенсия ему полагается, отдых он заслужил. А на его место найдутся люди и помоложе и с более свежей головой, — рубил Николаев.

А мне казалось, он бьет Федечкина по лицу. И Федечкин, видимо, чувствовал то же: он вздрагивал и морщился, как от боли. Трудно сказать, о чем он думал в те минуты. Может, о том, как ему теперь жить среди людей, которые, видимо, считают, что он свое отработал и больше не нужен; может быть, о том, как он будет смотреть в глаза своим ученикам, которые присутствуют здесь, все слышат и, кажется, перешептываются... Не знаю. Я не стала тратить время на угадывание, привстала и крикнула.

— Лишить Николаева слова!

— Лишить, лишить! — поддержали меня ребята.

А наш комсорг, токарь Маметкулов, убежденно прибавил:

— Категорически лишить!

Николаев замолчал, но не сел. Он, видимо, был поражен.

— Это что же, зажим критики? — зловеще произнес он. — И кто же зажимает? Члены бригады коммунистического труда! Очень интересно получается! Нет, товарищи, при таком отношении к людям мы с вами к коммунизму не придем!

— Ты, Николаев, думаешь, что говоришь? — возмутились ребята. — Коммунизм для кого строим? Для людей, ясное дело! Все для них: и станки, и машины разные, и ракеты, и спутники... А у тебя все как-то навыворот выходит. Ты критиковать критикуй, ты с каждого строго спросить умеи, но помни: для человека стараешься, а не против него.

— Надень на свое сердце очки, критик, прочишь ему оба уха, — посоветовал насмешливый Маметкулов, — а то оно у тебя глухое и слепое.

Но тут неожиданно вмешалась Женька:

— У нас производственное совещание, деловые вопросы на повестке, а вы в сторону куда-то тянете. Заладили: «тактичность», «бестактность», «чуткость»! Хотите все свести к житейским мелочам? Времени рабочего не жалеете — вот что!

Ох, и дали же мы ей! Маметкулов опять встал и говорит:

— Книжку недавно одну читал — воспоминания о Ленине Владимире Ильиче. Так там рассказывается, как одному заслуженному работнику поручили важное административно-хозяйственное дело. Ну, а он его завалил, не справился. Докладывают про это Ленину. У него, сами понимаете, времени тоже не шибко много было. Однако Ильич не приказал: снять его, такого-сякого, и баста! Некогда нам возиться. Он велел все как следует выяснить. Возник вопрос: кто выяснить будет? Называют Ленину одного человека — он не соглашается: «Суховат». Называют другого, а он говорит: «Юрист — все запутает». Называют, наконец, большевика Милютину (он-то и написал эти воспоминания). Тогда Ленин согласился и наказал ему: «Поезжайте, проверьте, но сделайте так, чтоб его не обидеть». Вы слышали. Женька и Николаев? «Не обидеть!» Ленин хорошо понимал, как глубоко может ранить человека бестактность, как страшно она умеет отравить жизнь. И всегда предостерегал от нее, не пренебрегая даже маленькими, на первый взгляд чисто житейскими случаями. Считался Ильич с людьми, уважал их не на словах — на деле... Нам этому учиться вот как надо и спрашивать друг с друга: «А так есть?» Время для этого вполне подходящее...

Мы горячо захлопали Маметкулову.

А что? Комсорг прав: время для этого самое подходящее.



МОСКВА,

ПЛОЩАДЬ КОММУНЫ...

Пробитые пулями полковые знамена и поверженные вражеские штандарты, оружие и вещи, принадлежавшие героям гражданской и Отечественной войн, листовки партизан, портреты, документы и письма — немые свидетели славной боевой истории — хранятся в Центральном музее Советской Армии. В адрес музея на площади Коммуны приходит много писем и посылок со всех концов Советского Союза: люди охотно передают сюда реликвии, воскрешающие память о днях борьбы и побед армии-освободительницы.

Экспонаты, о которых мы хотим вам рассказать, пополнили коллекции музея совсем недавно. Недалек день, когда они займут свое место под стеклом витрин и на стендах музейных залов.

ФОТОГРАФИЯ ГЕРОЯ

...Из конверта на стол сотрудника музея выпали пожелтевшая от времени фотография и листок бумаги, исписанный неровным почерком.

«Во время первой мировой войны я работала в херсонском госпитале санитаркой. Один раненый фельдфебель подарил мне свою фотокарточку. Его все у нас очень уважали. Говорили, что он большой герой, имел даже несколько георгиевских крестов. Сорок три года я хранила карточку, но сейчас мне уже много лет. Я одинокая, боюсь, умру, и карточка валяться будет. Очень прошу вас: сберегите фотографию героя. Может, я и путаю, но кажется мне, фамилия раненого была Чапаев», — писала Марфа Семеновна Апина из Запорожья.

Фотографией заинтересовались в музее. Научные сотрудники тщательно сличили присланный снимок со всеми известными фотографиями Чапаева. На одной из них, хранившейся в музее, герой снят вместе с женой в 1916 году.

Та же гимнастерка, фуражка, те же регалии: два георгиевских креста, медаль «За храбрость», что на присланной карточке.

В фондах музея хранится личное дело слушателя Академии Генерального штаба Василия Ивановича Чапаева.

В автобиографии Чапаев пишет, что во время службы в царской армии, после ранения на юго-за-



падном фронте, он был направлен на лечение в лазарет в Херсон.

После тщательной экспертизы было окончательно установлено, что на присланном снимке изображен Василий Иванович Чапаев.

Подобный снимок героя до сего дня был неизвестен.

ИСТОРИЯ КОРИЧНЕВОЙ КОФТОЧКИ

А о войны Зина Ломакова училась в Клетнянской средней школе (Брянская область).

В первые месяцы фашистской оккупации почти все взрослые ушли из Клетни в непроходимые леса. Вокруг Клетни раскинулся обширный партизанский край.

А в городе хозяйничали немцы. Угоняли население на запад. Расстреливали. За каждый взорванный партизанами эшелон, за каждого убитого фашистского солдата или офицера уничтожали десятки заложников. Но эшелоны с оружием продолжали взлетать в воздух. В самых как будто безопасных местах партизанские пули настигали фашистов.

Казалось, ничего не сохранилось от прежней жизни в маленьком, затерянном в лесах городке. Однако жившие здесь люди оставались верными патриотами. Они вели беспощадную войну с оккупантами, наносили им удары в их собственном тылу.

Не забыли, чему их учили в советской школе, и клетнянские старшеклассники. Не забыли, как еще совсем недавно торжественно вручали им в райкоме комсомольские билеты. И вот в ночь под новый, сорок второй год бывшие девятиклассники написали свою первую листовку. Наутро на базаре жители прочли на вырванном из школьной тетради листочке:

«К гражданам города Клетни! Ко всем советским людям! Не слушайте фашистскую брехню. Красная Армия бьет и гонит немцев от Москвы и скоро освободит нашу родную Клетню. Не покоряйтесь врагам!»



За первой листовкой последовали другие. Они начали появляться в соседних деревнях, где теперь жили бывшие ученики клетнянской школы. А одна из листовок была даже наклеена рядом с объявлением о награде в 5 тысяч марок, обещанной за поимку подпольщика.

Комсомольцы не ограничились расклеиванием листовок. Они установили связь с партизанами и стали передавать им нужные сведения, собирать оружие, патроны, гранаты.

Зина Ломакова была одним из самых активных членов подпольной комсомольской организации. Ей всегда удавалось добыть наиболее ценные сведения. Через нее шло снабжение организации газетами, листовками.

— Мне везет, потому что я в счастливой кофточке хожу! — говорила, смеясь, Зина. И в самом деле, от-

правляясь на задание, она неизменно надевала свою шелковую коричневую кофточку — ту самую «счастливую», в которой обычно ходила на экзамены в школу.

Однажды два члена подпольной организации, Максимов и Щепетов, решили подбросить свежий номер газеты «Партизанская правда» в казарму, где расположились только что прибывшие гитлеровские части. Газету очень быстро подняли два немецких солдата.

— Эй, друзья! — вдруг на русском языке окликнул, догоняя юношей, один из солдат. — Вы не бойтесь, мы не немцы. Наш легион немцы из пленных сформировали. Помогите нам с партизанами связь установить. Вы ведь от них газеты получаете?

Отвечать или не отвечать? Может быть, провокация? Щепетов, разведчик более опытный, приказал Максиму глазами: молчи! Проскочив в какую-то калитку, ребята бросились бежать.

О встрече около казармы Щепетов доложил партизанскому штабу. Проверить, правду ли говорили солдаты, и выяснить настроения в казарме было поручено Зине Ломаковой.

...Девушка в коричневой кофточке несколько раз прошла мимо казармы. О чем беседовала она с солдатами, как удалось ей выяснить, что встретившие Максимовым и Щепетовым легионеры говорили правду, сейчас установить невозможно. Зины нет в живых, а при выполнении этого задания ее никто не сопровождал. Известно одно: Зинаида Ломакова выяснила, что весь легион ждет возможности перейти на сторону советских войск. Зина помогла легионерам связаться с первой партизанской бригадой Данченкова. Однако гестапо узнало о готовящейся операции. Карательный отряд гитлеровцев опередил партизан. Из тысячи легионеров спаслось и ушло в леса только семьдесят человек: остальные были арестованы и казнены.

Нашелся предатель, который выдал Зину и ее товарищей. Почти три месяца мучили их фашисты в застенке, но так ничего и не узнали о связи комсомольцев с партизанами. Шестого июля 1943 года Зину Ломакову и других подпольщиков расстреляли.

Историю подпольной молодежной организации в Клетне восстановили сейчас члены исторического кружка 2-й клетнянской средней школы, которым руководит учитель истории Коробцев. В классе, где некогда за партами сидели комсомольцы, сложившие свои головы в борьбе с врагами, сегодня устроен маленький музей. Здесь собраны партизанские газеты, листовки, личные вещи подпольщиков. А «счастливую» кофточку и бинокль Зины Ломаковой школьники передали музею Советской Армии.

КОНСЕРВНАЯ БАНКА

Может быть, вы помните такой эпизод в кинофильме «Судьба человека»: фашистский концлагерь, снаружи доносятся крики и песни пьяных немцев, а в бараке под заунывное дребезжание струн пленные ведут свой разговор. Но вы, конечно, не знаете, что в руках артиста Виктора Волкова не бутяфорский предмет, а настоящий музыкальный инструмент с удивительной историей.

...Великая Отечественная война. Фашистский лагерь для советских военнопленных Винцендорф. Три ряда колючей проволоки. Голод. Побои. Собираться группами нельзя. Подходить к проволоке нельзя. Жаловаться нельзя. Так просто, между делом, часовые стреляют в людей: «Убит при попытке к бегству»... Как-то часовой, размахнувшись, запустил с вышки в

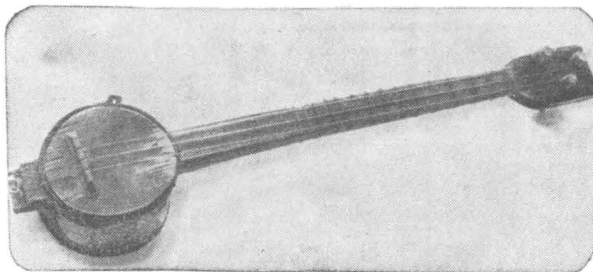
проходившего пленного пустой консервной банкой. Но разве могло прийти фашисту в голову, что пленный Виктор Волков спрячет банку. Спрячет, потому что по гулкой жести хорошо выбивать знакомые такты родных песен.

До войны Волков окончил техникум циркового искусства. В армии он всегда принимал участие в вечерах самодеятельности, играл на разнообразных инструментах, пел, подражал голосам животных и птиц. В плену любимые песни и музыка оказались тоже в заточении. Но вот появилась банка, и на душе стало легче. Дно и бока банки резонируют по-разному — все-таки какое-то подобие аккомпанемента! Под него можно вполголоса, нет, в четверть голоса спеть. Пожалуй, можно и еще что-нибудь придумать...

Между вторым и третьим рядами проволоки лежит кусок телефонного кабеля. Волков знает: в его оболочке спрятаны тонкие стальные жилки — как раз такие, какие нужны для струн. Но к проволоке не подойдешь: часовой скосит автоматной очередью. Все-таки решил попробовать. Когда часовой повернулся в его сторону, Волков сделал два кульбита. Потом изобразил, как отходит поезд от станции, как петух созывает кур... Немец захохотал: «Август!» Августом в Германии зовут всех клоунов. «Я, я Август!» — Волков жестами показал, что ему нужна проволока для «музыки». Часовой кивнул головой. Ползи за кабелем было страшно, но немец не выстрелил. Мертвых он видел сколько угодно, а живой клоун — редкость!

Железку, с помощью которой вытаскивались деревянные части, каждый кусочек дерева, каждый гвоздь приходилось добывать с огромным трудом, часто с риском для жизни. Но когда маленькая же-

стяная балалайка, родившаяся из пустой консервной банки, была готова, в длинном ободранном сарае легче стало дышать. Обступив Волкова кольцом, свесившись с нар, пленные слушали настоящий концерт из родных песен и даже спели тихо-тихо «Сулико».



Из лагеря в лагерь перебрасывали Волкова, и всюду с ним кочевала «банка» — так он называл свой инструмент...

Когда создавался фильм «Судьба человека», режиссер Сергей Бондарчук пригласил артиста Московской эстрады звукоподражателя Виктора Волкова записать на пленку пение жаворонка. Разговор о «банке» зашел случайно, и Бондарчук решил ввести в фильм эпизод, который вы увидели на экране. А самодельный музыкальный инструмент, скрасивший в страшные годы плена не одну человеческую судьбу, можно посмотреть в Музее Советской Армии.

Н. ПРУДКОВА

АВТОГРАФ ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ

В течение многих лет я изучаю жизнь и деятельность народного героя Италии Джузеппе Гарибальди. Недавно в одном архиве я обнаружил фотографию Гарибальди с его автографом, подаренную русской детской писательнице А. Н. Толливеровой-Якоби. Еще ранее мною были найдены также два письма Гарибальди к этой женщине, в которых он выражает ей свои симпатии и благодарность. Когда же и как завязалось их знакомство?

Джузеппе Гарибальди (1807—1882 годы) с юных лет боролся за создание единого итальянского демократического государства. Италия в то время была раздроблена на восемь мелких государств, большинство которых находилось под австрийским господством или влиянием.

Самоотверженная борьба Гарибальди за свободу и независи-



мость Италии снискала ему любовь и симпатии народных масс многих стран мира, в том числе и России. Гарибальди стал особенно популярным с 1860 года, когда с отрядом храбрых волонтеров-краснорубашечников в тысячу с небольшим человек он разбил сотысячную королевскую армию и навсегда уничтожил иноземную династию Бурбонов на юге Италии. Революционная молодежь многих стран Европы стала собираться под его знамена. В отрядах Гарибальди сражалась польская молодежь, русская, украинская, венгерская и многих других европейских стран.

Гарибальди был знаком с ответственными деятелями России. Ши-

Александра Николаевна Толливерова-Якоби. (С портрета работы художника В. Верещагина, написанного в 1867 году в Риме.)



Приводим полный перевод надписи, сделанной на этом портрете:
«Дорогой и уважаемой госпоже Александре Якоби. Капрера, 24 июля 1872 года. Дж. Гарибальди».

роко известна его дружба с А. И. Герценом. Одним из выдающихся русских гарибальдийцев был Л. И. Мечников, известный ученый-географ и общественный деятель, ставший в 1860 году адъютантом великого партизанского вождя.

В отрядах Гарибальди были и русские женщины. Особенно выделялась среди них А. Н. Толиверова-Якоби (1842—1918 годы). В 1867 году, во время последнего похода Гарибальди, написавшего на своем знамени «Рим или смерть!», она, находясь в Риме, вела активную работу среди местных гарибальдийцев. С глубоким волнением следила она за борьбой гарибальдийцев с папской властью за освобождение Рима и регулярно вела дневник событий. Она собирала для раненых волонтеров белье, одежду, продовольствие и деньги. Затем ей удалось поступить на работу в один из военных госпиталей, где в качестве сестры милосердия она посвятила себя уходу за ранеными гарибальдийцами.

Большую роль сыграла Толиверова-Якоби в спасении приговоренного папистами к смерти адъютанта Гарибальди Луиджи Кастеллаццо. Под видом его невесты она проникла в тюрьму и передала ему план побега, разработанный Гарибальди.

Побег Кастеллаццо удался.

Гарибальди высоко ценил роль этой отважной русской женщины и до конца жизни был ей благодарен.

В 1872 году она осуществила свое заветное желание: лично познакомилась с Гарибальди. С письмом спасенного ею Л. Кастеллаццо она направилась на островок Капреру, где была радушно встречена Гарибальди, и гостила у него целую неделю. Русская гарибальдийка передала вождю славных краснорубашечников подарок из России: две красные рубашки.

Вернувшись на родину, Толиверова-Якоби никогда не забывала гарибальдийцев. Она сохранила на всю жизнь некоторые реликвии, привезенные из Италии. У нее на стенах висели портреты Гарибальди и подаренная ей раненым гарибальдийцем красная рубашка, залитая кровью.

Во время пребывания Толиверовой-Якоби на Капрере Гарибальди написал ей письмо, содержание которого он просил сообщить ее соотечественникам. В этом письме он предвидел великую будущность народов нашей страны:

«...Через Вас я шлю сердечный и искренний привет вашему храброму народу, который будет играть столь большую роль в грядущих судьбах мира.

Всегда Ваш Дж. Гарибальди».

В тот же день он подарил Толиверовой-Якоби фотографию со своим автографом, которая здесь публикуется впервые.

В. ВИЛИН,
кандидат исторических наук

ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА

— Воздушные гимнасты Ирина и Петр Шетинины! — торжественно объявил ведущий программу.

Оркестр грянул марш. Ослепительно вспыхнули прожекторы, и Ирина, как обычно в эту минуту, на мгновение зажмурила глаза.

Она опять в воздухе! Руки и ноги прекрасно слушаются ее, словно с ней ничего не произошло. Точно птица, летает она на большой высоте, заставляя публику то затаить дыхание, то разразиться громом аплодисментов.

Но что это? Сквозь их шум где-

то совсем рядом раздается мужской голос:

— Как ты себя чувствуешь? Пора спать, Ирина!

Это голос врача Григория Ивановича Кузанова. И тотчас же куда-то исчез цирк, а вместо него снова давно надоевшая больнич-

ная палата со столиком для лекаря, вытяжным аппаратом и кроватью, на которой она лежит в гипсе.

...Цирк! Он с детских лет прочно вошел в жизнь Ирины. Дочь циркового артиста, она рано полюбила это трудное и яркое искусство. Ирина решила стать артисткой цирка.

На цирковой арене имеется много различных жанров, но девушка избрала, как некогда и ее отец, заслуженный артист Армянской республики Петр Павлович Щетинин, профессию воздушного гимнаста. Ежедневно с утра до обеда она упорно тренировалась на манеже, а после обеда, взяв тетради и книжки, бежала в школу.

После окончания десятилетия Ирина впервые как полноправная актриса вышла на арену Казанского цирка. Девушка сразу же нашла свое место в дружном коллективе. Ирину полюбили за веселый нрав, общительность, за преданность своему искусству. Комсомольцы избрали ее своим комсоргом.

Подошло время, когда она вместе с отцом стала задумываться о создании нового, более сложного воздушного номера. Но несчастный случай нарушил все планы.

Это случилось на арене Тбилисского цирка. В тот момент, когда Ирина заканчивала свое выступление, оборка ее костюма случайно попала под предохранительное устройство — лонжу. Лонжа не сработала, и актриса, потеряв равновесие, упала с пятнадцатиметровой высоты.

В сознание она пришла уже в больнице. Превозмогая острую боль, Ирина спросила склонившихся над ней врачей:

— Скажите, смогу ли я снова выступать?

Но что могли ответить они девушке, в истории болезни которой было записано: «Ирина Петровна Щетинина, 18 лет, артистка цирка. Открытый перелом левого бедра с разрывом ткани, двухсторонний перелом голеностопного сустава правой ноги. Перелом двух ребер левой стороны с повреждением плевры легкого. Разрыв печени. Общая контузия от ушиба».

Была сделана операция. Но состояние больной продолжало оставаться серьезным. На седьмые сутки Ирине стало еще хуже. Ей сделали переливание крови. Но и это не помогло. Упал пульс. Наступала клиническая смерть. И вот под утро, когда казалось, что все кончено, у Ирины неожиданно

стал прослушиваться пульс, начали постепенно розоветь щеки. Ее плотно сомкнутые ресницы дрогнули, и она открыла глаза.

Собравшиеся врачи были удивлены случившимся.

— Поразительно! Просто какое-то чудо! Единственный случай за всю мою многолетнюю практику, — говорил профессор Иоселиани.

— Это «чудо» связано с крепкими нервами, с волевыми качествами девушки, — ответил академик Эристави. — Организм борол-



ся со смертью и вышел победителем. Эта девушка родилась вновь.

С этого часа здоровье Ирины стало улучшаться с каждым днем.

— О цирке все же придется вам забыть, — заявили врачи.

Но разве можно заставить себя не думать о том, что любишь? И Ирина по-прежнему видела перед собой переполненный народом цирк и себя, работающей под куполом.

Мечта о возвращении к любимому делу была для нее лучшим лекарством. Она помогла ей стойко переносить операции и боль. Правда, Ирину угнетало слишком долгое пребывание в гипсе. Однажды, не вытерпев, она обратилась к доктору Кузанову:

— Григорий Иванович, мне бы хоть одну минутку побыть в цир-

ке. После этого я могла бы лежать в гипсе, сколько вам хочется. Свезите меня в цирк.

Вечером после ужина Иру положили на носилки и отвезли в цирк. Он был все такой же, как и два месяца назад. Так же весело переговаривалась и громко хлопала заполнившая весь зал публика и так же, как всегда, с подъемом выступали на манеже ее друзья-артисты. В цирке стоял все тот же знакомый с детства запах, а под самым куполом, блестя в лучах прожекторов, продолжал висеть ее аппарат.

Веселая и возбужденная, возвратилась Ирина в больницу.

Теперь Ира тайно от врачей стала заниматься гимнастикой. Она готовилась к возвращению в цирк. Вскоре ей разрешили встать с постели и пройтись по палате на костылях. Это было очень трудно. Все тело сковала ужасная боль. Кружилась голова. Но Ира все же сделала первые шаги.

Прошло еще несколько месяцев. Остались позади больница, ортопедический институт, санаторий. И наконец Ирина снова в цирке. Ее не смутило, что все опять пришлось начинать с азав — с упражнений на кольцах. Главное, она вернулась к любимому делу. Ежедневно утром и вечером девушка упорно тренировалась на манеже, а в полдень ходила заниматься лечебной гимнастикой в диспансер: у нее еще плохо сгибалось колено.

После упражнений на кольцах она стала репетировать на новом аппарате, сконструированном ее отцом. Работала медленно, не в темпе. Ужасно болела спина, плохо слушались ноги. Но девушка продолжала настойчиво тренироваться.

И вот пришел тот день, о котором Ирина так страстно мечтала долгими зимними вечерами, лежа в гипсе на больничной койке.

Вместе с отцом Ирина вышла работать на манеж Саратовского цирка. Номером «Полет за спутником» начиналось представление. Она взлетела с отцом под самый купол вслед за поднимающимся из-за кулис переливающимся хрустальными бликами шаром-спутником и стала демонстрировать свое смелое и красивое искусство.

Работая на большой высоте, Ира чувствовала себя, как никогда, счастливой. А внизу весь цирк громко и продолжительно аплодировал мастерству девятнадцатилетней девушки.

Е. МАРКОВ

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ И ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА

Группа десятиклассников из школы № 73 города Куйбышева (снимок внизу) решила и окончательно школы научиться водить электровоз. Пройдет несколько месяцев, и Герой Социалистического Труда Ф. А. Креков, который сегодня ведет занятия со школьниками, поздравит их с первым самостоятельным рейсом. После окончания школы каждый из них вместе с аттестатом зрелости получит диплом помощника машиниста электровоза.



ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ

В наших газетах и журналах уже писалось о том, что в Ленинграде на набережной Невы, в одном из старинных особняков, открылся Дворец бракосочетания. Эти сообщения вызвали у молодежи большой интерес.

Молодые ленинградцы приходят сюда, чтобы зарегистрировать свой брак в торжественной и праздничной обстановке. Вот молодые рабочие Ленинградского завода подъемно-транспортного оборудования Люба Федорова и Михаил Назаров, проследовав из уютной гостиной в беломраморный зал, ставят подписи в книге регистрации браков. Надо думать, что вскоре такие дворцы откроются и в других городах страны.

МОЛОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

В огромном доильном зале, где находится множество коров, всего-навсего две доярки. В чем дело? Неужели они могут обслужить целое стадо? Да, могут. В доильном зале колхоза имени Сталина, Краснодарского края, работают именно два человека.

Тут установлен оригинальный молочный конвейер. Коровы попадают на карусельный круг, где их выдают автоматы.

Новый доильный конвейер построен под руководством молодого инженера Ивана Тесленко, бывшего радиотехника колхоза:





ДЕВУШКА ИЗ РЯЗАНИ ↓

На снимке внизу — комсомолка Валя Гусева, бригадир монтажниц Рязанского электролампового завода. Ее бригада первой на производстве завоевала право именоваться коллентивом коммунистического труда. Бригада регулярно перевыполняет план и выпускает продукцию только хорошего качества. Каждая из монтажниц может выполнять до десятка производственных операций. Все восемнадцать девушек этой бригады учатся: в вечерних школах, техникумах, на заочных отделениях институтов.



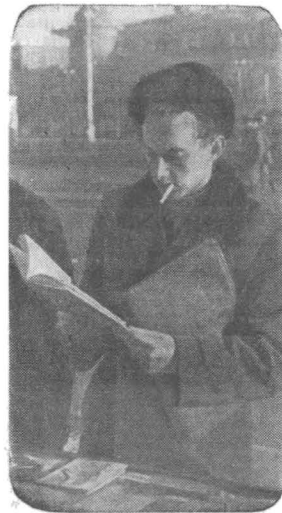
← РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

Первая получка... Кто не мечтает о ней, сидя еще на школьной скамье! Подарки матери, отцу, сестренке, братишке, а иногда и любимой девушке! И куплены эти подарки на первый самостоятельный заработок!

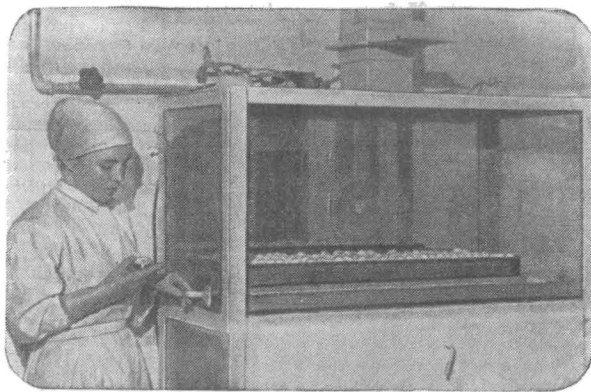
Корреспондент Н. Максимов сфотографировал бывших десятиклассников, а ныне молодых рабочих автозавода имени Лихачева в тот момент, когда они получают свою первую заработную плату (снимок слева).

ПЬЕСА СТУДЕНТА →

Студенческий театр Московского государственного университета хорошо известен жителям многих городов страны. Сто с лишним раз в Москве и на гастролях показал театр пьесу Когоута «Такая любовь». Сейчас студенты готовят новый спектакль: о молодежи, о наших днях, о жизни и работе на целинных землях. Автор пьесы «Сердце у меня одно» — студент III курса филологического факультета Московского областного педагогического института Георгий Полонский. Наш фотокорреспондент заснял молодого драматурга у книжного киоска.



АППАРАТ ЛИДЫ ШЕРШУНОВОЙ ↓



Обычно из ста яиц, помещенных в инкубатор, вылупливаются девяносто цыплят. А если эти яйца подвергнуть гаммаоблучению, то проклевываются девяносто восемь. В масштабе Томилинской фабрики, под Москвой, это дает дополнительно тысячи цыплят ежемесячно.

Комсомолка Лиды Шершунова работает на фабрике в атомной лаборатории. Она не только лаборантка, но и рационализатор.

Аппарат, которым раньше облучали яйца, страдал техническими изъянами. Лиды значительно его усовершенствовала. Теперь на этом аппарате можно облучать значительно больше яиц, чем раньше. И самое главное, он очень прост в обращении.

Во время праздничной демонстрации 7 ноября портрет Лиды Шершуновой был выставлен на Манежной площади среди портретов других знатных тружеников Москвы.

Панорама Юности

С ПУТЕВКОЙ БОЛГАРСКОГО КОМСОМОЛА →

Слав Македонский приехал в Темир-Тау по путевке болгарского комсомола. Третий год работает он плотником на строительстве Казахстанской Магнитки. Слав никогда раньше не писал стихов, но кипучая жизнь молодежной стройки породила у него желание стихами рассказать о своей работе, о новых друзьях. Мы публикуем его стихотворение из цикла «Стихи о Казахстане» (перевод Виктора Парфентьева):

Разбудит утреннюю
сонь
Неторопливый бас гудка,



И ляжет сменщику
В ладонь
Моя уставшая рука.
Ей, чистой, силу
передаст.
Тверда, шершава,
словно сук...
Начнется смена, как
всегда,
С пожатия рабочих
рук.

← СОВСЕМ КАК НА СПУТНИКЕ

В руках у Аллы Звездиной какой-то маленький непонятный прибор. В 70-й московской школе ученики 10-го класса «А» сами сконструировали миниатюрный приемник на полупроводниках. Он работает, когда на его кремниевую батарею падают солнечные лучи. По такому же принципу сделана гелиобатарея, установленная на советском искусственном спутнике Земли. Поэтому юные конструкторы радиоприемника и назвали его «Спутник».



КОГДА НЕ НУЖЕН ОПЕРАТОР ↓

На первый взгляд это обыкновенный мостовой кран. Сотни таких кранов установлены на заводах нашей страны.

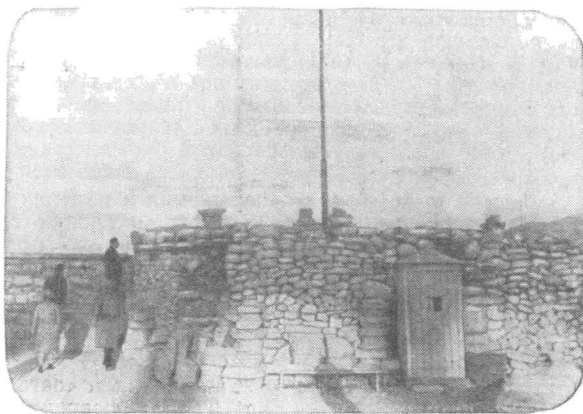
А кто эта девушка? Такелажница? Нет, это студентка Рита Бодоченкова. У нее в руках какой-то прибор. Стоит только ей нажать кнопку, как стрела с грузом поднимается вверх или опускается вниз.

Это пульт управления, а кран, установленный в лаборатории Московского высшего технического училища имени Баумана, управляется по радио. Оснастили его радиоприборами сами студенты.



← ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК, АРТИСТ

Молодой писатель Евгений Шатко — постоянный автор «Юности». Его рассказы неоднократно печатались в журнале. Но он не только писатель. Не так давно он выступал в печати как художник: проиллюстрировал свой рассказ «Федька — веселый малый» («Юность» № 11 за 1959 год). А совсем недавно московские телезрители могли видеть дебют Е. Шатко в качестве молодого артиста: он выступил в телевизионной постановке своего рассказа «Вера». Слева на снимке вы видите сцену исключения Вальки из комсомола. Сидит справа артист Андреев, играющий Вальку. В центре — Евгений Шатко, он исполняет роль ночегара.



← ФЛАГШТОК
НАД АКРОПОЛЕМ

ПАНОРАМА
"Юности"

Этот флагшток на афинском Акрополе стал памятником борьбы греческого народа с фашистскими оккупантами. Темной ночью 30 мая 1941 года отважный греческий юноша пробрался на охраняемый гитлеровцами Акрополь, поднялся на этот десятиметровый флагшток и сорвал флаг с фашистской свастики. Имя этого юноши-героя — Манолис Глезос.

Ныне национальный герой Греции упрятан реакционерами в тюрьму. В защиту Манолиса выступили все прогрессивные люди мира. И в общем хоре громко звучат голоса молодых борцов за мир. Юноши и девушки всех континентов выступают с требованием: «Свободу Манолису Глезосу!»

В КРЫМ НА СОБСТВЕННЫХ АВТОБУСАХ ↓

У школьников, которых вы видите на этом снимке, есть очень веские причины для радостных улыбок. Автобус, из окна которого они выглядывают, принадлежит им лично. Да, да, этот и еще один такой же автобус приобретены на деньги, заработанные самими ребятами.

Учащиеся московской школы-интерната № 19 оборудовали у себя небольшую типографию для производственного обучения. Директор, калькулятор, печатник, наборщик — все должности в этом миниатюрном предприятии занимают сами ребята. Со временем типография разрослась и стала выполнять заказы столичного совнархоза. На деньги, полученные за выполненную работу, и были куплены автобусы. Летом прошлого года лучшие ученики совершили на своих автобусах экскурсию в Крым. А постоянно автобусы используются для поездок школьников целыми классами в Лужники на спортивные занятия.



ШОФЕР-МУЗЫКАНТ ↑

Час назад эти руки сжимали баранку руля, а сейчас гибкие пальцы легко скользят по грифу. Из-под послушного смычка полилась мелодия танца из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Житель города Кургана молодой шофер Николай Богомолов серьезно увлекается музыкой. После работы он занимается в вечерней музыкальной школе.

ФИЗИКИ-ЛИРИКИ

В прошлом месяце Издательство МГУ выпустило новый поэтический сборник «Открытая земля». Около сорока студентов и выпускников университета делятся с читателями своими раздумьями о жизни, о любви, о будущей профессии, рассказывают о первых преодоленных трудностях. И хорошо, что в этой книжке стихов значительное место занимают произведения студентов — физиков, химиков, математиков, биологов... «Открытая земля» — убедительный ответ людям, считающим искусство бесполезным в эпоху покорения космоса: будущие ученые не только любят и понимают поэзию, но и сами создают ее!



Выпускники МГУ, как и в прошлом году, увлекут стихи своих товарищей в самые дальние уголки нашей Родины.

**«НА ОДНОЙ
СТРУНЕ...»**

«ЗАГАДКА

Если не считать почти таинственного американца Морфи, который яркой, но быстро погасшей кометой промелькнул на шахматном небосклоне, ни один шахматист не будоражил так воображение современников, не вызывал столько ярых споров, как Михаил Таль. Его стремительный взлет, фейерверк блистательных побед в крупнейших турнирах, побед, которых другому гроссмейстеру хватило бы на всю жизнь (Талю на них потребовалось всего три года); наконец (и это едва ли не самое главное) стиль его игры — предельно агрессивный, беспощадный и безудержно смелый — все это ошеломило не только шахматных болельщиков, которые, вообще говоря, легко приходят в возбуждение, но и некоторых гроссмейстеров и мастеров, отнюдь не склонных легко раздавать комплименты.

Зарубежная пресса не замедлила отметить сенсационный характер выступлений Талья. Его стали называть «демоном», «черной пантерой» и даже «Паганини», подразумевая виртуозное умение Талья играть «на одной струне», то есть создавать позиции, где все висит на тончайшей струнке, и стоит ей лопнуть, как наступает катастрофа. Только струна почему-то ломается редко...

Дошло до того, что стали даже поговаривать, будто Таль обладает способностью гипнотизировать своих противников, заставляя их с помощью каких-то неведомых магнетических чар избирать неверные планы. Не подумайте, что это анекдот. Фоторепортер запечатлел момент игры, когда Бенко — партнер Талья — глядит на доску сквозь... темные очки. Да, да, всерьез решив, что его



ТАЛЯ»

поражения в партиях с Талем объясняются гипнозом, Бенко прибег к темным очкам. Нужно ли напоминать, что эта своеобразная «защита» ему не помогла?

Так возникла «загадка Талья», разрешить которую пробовали без особого успеха многие знатоки. Так вспыхнули споры о том, объясняются ли его победы появлением нового стиля в шахматах или просто силой и своеобразием таланта. Так шахматный мир разделился на тех, кто с восторгом принял триумфы Талья, и на тех, кто отнесся к этим триумфам настороженно, кого смутил и даже встревожил беспокойный, творческий дух молодого гроссмейстера.

Дискуссии о Тале будут продолжаться еще долго, независимо от того, сумеет ли он завладеть шахматной короной. Да и сам Таль, как молодое вино, все еще в стадии брожения. Он напоминает ученого, одержимого страстью к исследованиям, заставляющего своих ассистентов — фигуры и пешки — выполнять один эксперимент за другим. И все-таки мне кажется, что в сложном творческом облике Талья, отмеченного печатью гениальности (давайте не по-

боимся хоть раз сказать так о шахматисте — нашем современнике!), явственно проступают черты, которые позволяют назвать его Моцартом шахматных полей. Каждая комбинация, каждая атака Талья пронизаны глубочайшим оптимизмом, верой в неисчерпаемые возможности шахматного искусства, в силу творческого духа.

На снимке: М. Ботвинник и М. Таль (справа) договариваются об условиях матча на звание чемпиона мира.

Фото Н. Волкова.

Почему же все-таки игра Талья стала предметом ожесточенных дискуссий? Почему его победы, блестящие и бесспорные для одних, у других, пусть и немногих, вызывают недоверчивое, чтобы не сказать отрицательное, отношение? Почему, наконец, одни признают Талья великим шахматистом, другие же считают его чуть ли не шахматным выскочкой?

ОТ САЙГИНА ДО БОТВИННИКА

В 1954 году юный рижанин Миша Таль, выиграв матч у В. Сайгина, стал мастером по шахматам. У многих победа юного шахматиста вызвала недоверие.

Правда, еще за несколько лет до того поговаривали, что, дескать, в Риге живет талантливый мальчик, который подает очень большие надежды, но первый успех Талья был взят под сомнение. Так, увы, будет всегда: Таль станет одерживать одну победу за другой, а знатоки будут только недоверчиво пожимать плечами.

Но вот спустя два года Миша Таль выступил в XXIII чемпионате страны и набрал всего на очко меньше, чем победители турнира Тайманов, Авербах и Спасский. Для дебютанта великолепный результат! Но дело не только в результате — уже тогда Таль продемонстрировал силу и своеобразие своего стиля, который быстро завоевывал ему многочисленных поклонников. Вот, например, что писали о Тале после турнира:

«Отличительной чертой творчества Талья является его безграничный оптимизм. Он играет быстро, порывисто, отдается полностью своему вдохновению, которое у него полноценно и снабжает его великолепной тактической зоркостью.

Даже в совершенно безнадежных положениях Таль не перестает верить в свою удачу, утомляет противников изворотливостью в защите».

Но тут же следовала оговорка:

«Бросается в глаза ограниченность творческого кругозора Талья. Это смелые атаки, остроумные выдумки, ловушки. В игре Талья много риска, но часто необоснованного, атаки его порой не вытекают из требований позиций».

Требования позиции... Их Таль действительно иногда игнорирует. Но подождем осуждать его.

Прошел еще год, и юный мастер стал чемпионом СССР! Это был, конечно, поразительный успех, но опять-таки дело было не только в чисто спортивных итогах. Таль в этом турнире встретился с восемью гроссмейстерами (вспомним, что победа в чемпионате давала ему право на это звание). И вот, по остроумному выражению одного из обозревателей, пятеро из них — Бронштейн, Керес, Петросян, Тайманов, Толуш (какое великолепное созвездие имен!) — потерпели поражение и тем самым «проголосовали» за допуск Талья в семью гроссмейстеров. Двое — Спасский и Корчной — «воздержались», то есть сыграли вничью. И только один Болеславский проголосовал против. 6 очков из 8 — вот каков был результат встреч Талья с прославленными гроссмейстерами!

И все-таки кое-кто из знатоков был по-прежнему настроен скептически. Зрители в зале восторженным гулом встречали каждую победу Талья, а скептики только иронически усмехались. Лед не растаял даже тогда, когда Таль заставил капитулировать Кереса, причем произошло это в эндшпиле, где комбинационные ловушки безро-

потно уступают место глубокому стратегическому расчету. Тогда впервые заговорили о «загадке Талья».

В следующем чемпионате СССР, в 1958 году, Таль выступал уже не мальчиком, но мужем. Месяц дебютантства прошел безвозвратно: с чемпионом страны играли особенно осторожно и старательно.

Начало турнира (который проходил на этот раз в его родной Риге) заставляло вспомнить разговоры о том, что Таль случайно завоевал свой титул. После девяти туров Таль имел всего 4½ очка, вдобавок он прихворнул. Лежа в постели, Таль прочел в газете, что занимает тринадцатое место. Это его огорчило и... чуточку обрадовало: беспокоиться уже не о чем, можно просто поиграть в свое удовольствие.

И он играет и в самом деле в свое удовольствие! Играет так, что в девяти турах набирает восемь очков! К концу выясняется, что еще не все потеряно.

К последнему туру, как это часто бывает, сложилась запутанная ситуация. Осложнялась она тем, что участники, занимавшие четыре первых места, попадали в межзональный турнир кандидатов на матч с чемпионом мира, начинавшийся осенью 1958 года. Впереди шли Петросян и Таль, на пол-очка отставал от них Бронштейн, еще на пол-очка меньше имели Спасский и Авербах.

В последнем туре Петросян сыграл вничью с Авербахом, а Бронштейн — с Корчным. Теперь все зависело от партии Спасский — Таль. В равной позиции Таль предлагает сопернику ничью, но Спасский далек от миролюбия и отклоняет предложение. Таль сердится; это мешает ему; он допускает неточность и откладывает партию в опасном положении.

Вернувшись в гостиницу вместе со своим тренером А. Кобленцом, Таль пытался сесть за анализ, но тут выяснилось, что дома стены иногда мешают; то и дело звонит телефон и тревожные голоса спрашивают: «Миша, а вы готовы к тому, что Спасский пойдет так?», «Миша, а что вы будете делать, если Спасский сыграет эдак?». В конце концов телефон пришлось отключить. Анализ был прерван часов в пять утра: Кобленц уснул за столом...

Когда утром Таль пришел на доигрывание, он увидел Спасского со стаканом кефира в руках: ага, тот тоже бесконечно анализировал позицию! Тем лучше. И вот они вновь сели друг против друга с усталыми, измученными лицами. Игра возобновилась. Поначалу Талю пришлось худо: на протяжении многих ходов его король гулял под непрерывным огнем батарей противника.

Но вот одна — две малозаметных ошибки Спасского, и позиция становится обоюдоострой. Теперь уже и белый король чувствует себя не очень уютно в своих апартаментах. И тут Спасский странно изменившимся голосом предлагает ничью.

Таль очень устал, в глубине души ему было жаль Спасского, который в случае проигрыша не попадал в турнир претендентов. Но борьба есть борьба. И Таль решил продолжать игру. Растерявшись от внезапной перемены декораций, Спасский заволновался и вскоре вынужден был сдаться.

Дважды подряд стать чемпионом страны — это удавалось только Ботвиннику и Кересу. И все-таки опять пополз шепот: Талю везет! Разве за-

кономерен его выигрыш у Спасского? Разве в партии с ним не сделал грубой ошибки Геллер? Разве, разве... Много еще можно было бы перечислить этих «разве»...

Но вот в югославском городе Портороже начинается турнир кандидатов. Таль и там умудряется взять первое место! Потом он добивается абсолютно лучшего результата на XIII Олимпиаде в Мюнхене: набирает 13,5 очка из 15. Когда Олимпиада закончилась, бывший чемпион мира Макс Эйве сказал: «Таль — выдающееся явление в шахматах. Можете мне верить: я видел на своем веку очень много талантливых шахматистов». Затем Таль разделит второе — третье места на очередном чемпионате страны в начале 1959 года (первая «неудача»!). После этого — первый приз на международном турнире в Цюрихе. И, наконец, победа в турнире претендентов, дающая право посягнуть на корону Ботвинника!

Перед началом турнира претендентов одна югославская газета предложила участникам и их секундантам высказать свое мнение о том, как будут окончательно распределены места. Как же были оценены шансы Талья? Петросян отвел ему второе место, Глигорич — четвертое, Бенко — четвертое, Олафссон — третье, Авербах (секундант Талья) — первое — второе, Матанович (секундант Глигорича) — второе — четвертое, Бондаревский (секундант Смыслова), Болеславский (секундант Петросяна), Ларсен (секундант Бенко) и Дарга (секундант Олафссона), назвав первых двух призеров, Талья не упомянули.

И это несмотря на его непрерывные победы! Вот, оказывается, насколько сильной была уверенность в том, что шпага Талья окажется слишком тонкой, чтобы пробить кольчугу маститых гроссмейстеров.

В турнире претендентов участникам предстояло сыграть по семь матчей из четырех партий — итого, стало быть, 28 партий. Ни о какой случайности на такой длинной дистанции не могло быть и речи. Но и после этого труднейшего состязания мнения об игре Талья разделились. Одни говорили, что победа Талья вполне заслуженна, что он добился не только спортивных, но и чисто творческих достижений. Другие утверждали, что при бесспорных спортивных успехах Талья многие его партии не отличаются цельностью, что жертвы его часто не корректны, что в некоторых встречах ему просто повезло.

ЛОГИКА ПОЗИЦИИ И ЛОГИКА БОРЬБЫ

Кто же прав? Как ни парадоксально, правы и те и другие! Да, Таль, бесспорно, достиг в турнире претендентов творческих высот, но его жертвы фигур и пешек очень часто выглядели действительно малообоснованными. Помните: «...атаки его порой не вытекают из требований позиций»?

На первый взгляд получается какая-то путаница, но это только на первый взгляд. На самом деле никакого противоречия тут нет. Скажу больше: победы Талья внешне должны выглядеть спорными, а иногда даже и неубедительными, ибо таков его стиль.

Что же это такое — стиль? Ответить на этот вопрос не так легко. Иногда про шахматистов говорят, что они играют в остром стиле, в комбинационном, в позиционном, в строго позиционном, в стиле Алехина, в стиле Капабланки, в сти-

ле Ботвинника и т. д. Есть и такие шахматисты, как, например, гроссмейстер Керес, которого трудно отнести к какому-нибудь определенному стилю, так как в его партиях комбинационные замыслы гармонично сочетаются с трезвой позиционной оценкой.

Если не стараться быть скрупулезно точным в формулировках, то под стилем можно понимать подход шахматиста к оценке позиции, излюбленную манеру решения возникающих в ходе борьбы проблем. Один шахматист больше тяготеет к тому, чтобы разрубить узел комбинационным ударом; он старается при первом удобном случае заложить мину и взорвать позицию противника с помощью жертвы пешек или даже фигур. Другой готов терпеливо распутывать ниточки, усердно накапливать мелкие преимущества, чтобы потом в удобный момент добиться решающего материального или позиционного перевеса.

Таль, несомненно, склонен решать возникающие проблемы комбинационным путем. Но ведь любят и умеют великолепно комбинировать десятки других мастеров и гроссмейстеров, и все-таки мы чувствуем, что Таль чем-то неуловимо отличен от них, что его стиль, его манера своеобразны, не похожи на стиль других виртуозов атаки. Таких, скажем, как гроссмейстеры Бронштейн или Геллер.

Все дело в особом, сугубо психологическом подходе Талья к шахматной борьбе. Таль не внес особых идей в теорию дебюта или, скажем, в разыгрывание эндшпиля, и все же он истинный пионер, отыскивающий и прокладывающий новые пути в шахматном искусстве. Новаторство Талья заключается прежде всего в том, что он в каждой партии, против каждого партнера, намечая план действий, непременно учитывает целый комплекс чисто психологических деталей: как себя чувствует противник в позициях такого типа, любит ли он защищаться или нападать, каково его турнирное положение, сколько ему осталось времени на обдумывание ходов и т. д.

Разумеется, каждый мастер, а тем более гроссмейстер тоже старается учитывать все эти обстоятельства, но не каждый ради них готов пожертвовать своим благополучием! Таль же с его непокорным темпераментом, с его верой в себя всегда готов пойти на жертвы — и в прямом и в переносном смысле. Именно поэтому он иногда действует вопреки абстрактной логике позиции, но всегда — в точном соответствии с конкретной логикой борьбы. Логике борьбы Таль служит преданно, верно и не изменяет ей никогда!

Шахматисты имеют счастливую привилегию — следить по записи партии о том, как развивались события в той или иной встрече. Но как высохший цветок может дать лишь самое отдаленное представление о том, каким душистым и ярким был он на лугу, так и запись партии не более как анемичный суррогат полнокровной, горячей и часто ожесточенной шахматной борьбы.

Отсюда и многие недоразумения с партиями Талья. Вы разыгрываете его партию и вдруг замечаете, что он предпринимает явно необоснованную жертву, за которую, казалось бы, не получает никакого возмещения. Но ведь истина, в том числе и шахматная, всегда конкретна! По записи партии можно видеть только ходы, но нельзя почувствовать состояние противников в то время, когда они делали эти ходы. А Таль, предпринимая свой рискованный шаг, уже чуял, что сопер-

ник утомлен предшествовавшей борьбой, где ему приходилось на каждом шагу отыскивать щупом расставленные то тут, то там мины. От Талья не ускользнуло, что противник нет-нет да и взглянет беспокойно на часы, где стрелка неумолимо подползает к роковой черте. Наконец, он считается и с тем фактом, что противнику не по душе такие позиции, которые таят в себе скрытые угрозы, что он в таких ситуациях теряет уверенность.

И вот в результате — «необоснованная» жертва, а на самом деле — глубоко продуманное решение. В итоге — «не цельная партия», а на самом деле — подлинный шедевр, красивая борьба, логично завершенная тонким психологическим ударом. Наконец, упрек в «везении», а на самом деле — победа, отнюдь не подаренная фортуной, а заработанная потом и кровью.

Шахматная борьба — это не только состязание двух людей в умении, в голом мастерстве. Если бы это было так, шахматы не волновали бы воображение миллионов людей, были бы просто игрой, возможно, и увлекательной, но не способной затрагивать ум и душу. В действительности же игра в шахматы — это всегда борьба умов, характеров, темпераментов.

Хорошо известно, что одни шахматисты, даже мастера, отличаются осторожностью, а иногда и просто робостью. Разыгрывая дебют, они стараются прежде всего обеспечить себе безопасную позицию и, только добившись этого, начинают проявлять активность. Другие, напротив, бесшабашны, всегда готовы пойти на риск. Одни коварны. Другие не хитры на выдумку, но зато очень упрямы в осуществлении своего плана и всеми силами стараются навязать его противнику. Одни сохраняют хладнокровие, когда лавина неприятельских пешек и фигур движется на их ферзевый фланг, но быстро впадают в панику, когда одиночные кавалерийские разъезды противника появляются у стен крепости, где обитает король. Другие равнодушно взирают на то, как рушится пешечная стена, за которой укрывается король, и спокойно уводят его в безопасное место.

В этой глубокой психологической насыщенности, в драматизме борьбы и таится секрет необыкновенного обаяния и чарующей силы шахмат, которую испытывают на себе многие.

Само собой понятно, что если из двух равных по силе шахматистов один будет постоянно учитывать фактор психологии, он получит решающее преимущество. Кстати сказать, один из великих шахматистов прошлого, второй чемпион мира Эммануил Ласкер, был необычайно тонким и глубоким психологом, умело использовавшим в игре чисто человеческие слабости и особенности характера своих противников. Любопытно, что один из его соперников, доктор Тарраш, был уверен, что Ласкер во время партии прибегает к гипнозу...

Не менее любопытно и другое. Ласкер иной раз сознательно шел на создание слабостей в своей позиции, лишь бы поставить противника в непривычные для того условия. Именно к такой психологической стратегии прибегал Ласкер, отстаивая свой титул в матче против Шлехтера. Зная, что Шлехтер необыкновенно силен и упорен в обороне, Ласкер иной раз добровольно уступал сопернику инициативу, тоже нарушая логику позиции и тоже оставаясь верным логике борьбы...

Нечто подобное делает и Таль с той, однако, разницей, что он в еще большей степени игнорирует иногда позиционный кодекс, идет часто на огромный риск, чего другой шахматист на его месте никогда бы себе не позволил, и балансирует, что называется, на острие ножа.

В XXV чемпионате страны Таль в партии с Авербахом неожиданно пожертвовал на двенадцатом ходу фигуру за две пешки, причем в награду за это получил только инициативу. Быть может, если взвешивать эту жертву на воображаемых аналитических весах, она покажется необоснованной, а значит, и неверной. Но к такому выводу можно прийти только в том случае, если подходить к оценке создавшейся ситуации сугубо теоретически. Между тем вот что пишет по этому поводу гроссмейстер Бронштейн:

«В партии против Авербаха Таль играл черными и к 12-му ходу получил позицию, которую по общим признакам не назовешь иначе, как стратегически трудной. Черные продолжают 12... K1:e4!! — я не могу дать другой оценки плана черных, как поставить два восклицательных знака, хотя сам Таль ставит к этому ходу знаки «!?» — дело здесь не в том, верна эта жертва или неверна, а в том, что Авербах — яркий представитель позиционного типа шахматистов — вынужден сделать резкий поворот на совершенно новые рельсы... Истина заключается в том, что позиции такого типа нельзя исчерпать вариантами, а практические шансы в партии на стороне того, кому такая позиция по душе, кто быстрее и лучше ведет расчет».

Получившаяся острая позиция Талю была по душе, Авербах же был выбит из седла и вскоре окончательно растерялся.

Итак, не очень обоснованная жертва — значит, нарушение «требований позиций», значит, победу можно считать везением, удачей — вот примерно ход мыслей строгих критиков Талья. А в действительности — прекрасная победа.

А можно ли, кстати, считать «везением» для Талья, что Геллер в том же турнире подставил ему ладью? Уж тут-то ведь фортуна, бесспорно, улыбнулась Талю! Так-то оно так, да не совсем. Да, Геллер действительно «зевнул» ладью, тут спорить не приходится, но прежде чем потерпеть кораблекрушение на хорошо видимых рифах, Геллер искусно избежал множество подводных камней.

Вот он разгадал одну ловушку Талья, другую, вот он разглядел еще один коварный замысел, нашел и обезвредил еще одну мину. А напряжение не ослабевает, Таль не дает передышки, замышляет новые козни. Геллер вытирает пот со лба, опять вглядывается в доску и вдруг с ужасом видит, что отброшенные враги снова ползут, ползут. И, наконец, совершенно измученный, шатаясь под непосильной ношей, он спотыкается на ровном месте. И тут же в кулуарах кто-то спешит сообщить: «Счастливчику опять повезло!»

Активно пользуясь в шахматной борьбе психологическим оружием, Таль всегда готов к тому, что это оружие может быть применено и против него самого. В четвертом круге турнира претендентов он оказался в партии с Фишером в почти безнадежной позиции.

В один из моментов Таль, сделав ход, прогуливался по сцене. Несмотря на внешне спокойный вид, он был взволнован. Стоило Фишеру сделать правильный ход — и положение становилось опасным. И вдруг краем глаза Таль заметил, что Фи-

шер с какой-то непонятной настойчивостью старается, чтобы его соперник увидел бланк, где, увы, был записан тот самый ход, которого Таль опасался. Что это могло значить?

И вдруг Талю все стало ясно! Фишер испытывал его! Он хотел проверить на самом Тале, правилен ли ход, который он собирался сделать. Конечно, это было мальчишеством, не более чем ловким трюком шестнадцатилетнего Бобби. И все-таки Талю пришлось пережить несколько очень неприятных минут.

Что делать? Нахмуриться? Но это только укрепит Фишера в задуманном. Улыбнуться? Хитрец может разгадать маневр. Все эти мысли вихрем пронесли в его сознании. И когда Фишер так и впился в него взглядом, Таль с каменным лицом, на котором не шевельнулся ни один мускул, как ни в чем не бывало продолжал свою прогулку. И тогда, сбитый с толку невозмутимостью противника, Фишер сам попал в свою хитро поставленную западню.

Только убедившись, что Фишер наконец сделал ход, Таль позволил себе улыбнуться и совершенно искренне: Фишер решил, что его первоначальный план ошибочен, и пошел другой фигурой... Таль вскоре отбил атаку и отложил партию в выигранном положении. Вот, оказывается, в каких молчаливых психологических дуэлях приходится сражаться Талю, а ведь если рассматривать партию только по записи, можно и здесь сказать: «Опять повезло».

«ГВАРДИЯ УМИРАЕТ, НО НЕ СДАЕТСЯ»

Такой подход к шахматной борьбе возможен только при большом таланте. Так оно и есть. Михаил Таль необычайно талантлив. Он обладает шахматной дальнзоркостью, позволяющей «видеть» сквозь такую даль вариантов, которая для его противников подернута туманной дымкой. По всеобщему признанию, Таль не имеет себе равных в мире по искусству расчета вариантов. Это значит, что, начиная комбинацию, он рассчитывает возможные продолжения на большее количество ходов, чем его противники.

Но шахматы не были бы шахматами, если бы человек даже со способностями Таля мог без ошибочно видеть конец комбинации или маневра, который он начинает. Таль только человек, и он тоже далеко не всегда видит последствия своих жертв. Однако в том-то все и дело, что, затевав свою очередную «авантюру», Таль безгранично верит в то, что шахматная позиция непременно таит в себе скрытые от взора комбинационные сокровища и что тот смельчак, который не побоится пожертвовать одну, а то и две фигуры, отыщет эти сокровища и сумеет ими воспользоваться. Проще говоря, Таль интуитивно, всем своим существом чувствует, что его комбинация позволит открыть в позиции новые возможности, новые, скрытые пока ресурсы, с помощью которых он и нанесет последний удар.

Так чаще всего и бывает. Ну, а если Таль ошибается? Если он делает оплошность в расчетах, или позиция вдруг оскудевает комбинационными возможностями, либо противник ведет партию так же хорошо или даже лучше и жертва оказывается напрасной? Что тогда? Очень просто: тогда Таль проигрывает... Ведь, повторяю, шахматы не были бы шахматами, если бы нашелся человек, который не делал бы ошибок.

Но ошибки Таля подчас так же прекрасны, как и его победы. Потому что Таль, если и погибает, то только в борьбе, потому что до последнего хода он яростно сопротивляется, он выжимает из своих фигур все, что они могут дать. Таль ставит противнику одну ловушку, другую, он ищет (и находит!) самые незаметные лазейки, он отступает, нанося удары, готовый в любой момент начать стремительную контратаку. «Гвардия умирает, но не сдается!»

Далеко не каждый из его противников выдерживает этот изнурительный психологический искуc. Если бы, например, до турнира претендентов кто-нибудь сказал, что против экс-чемпиона мира Василия Смыслова с его прославленной техникой и великолепным хладнокровием можно с успехом играть, имея на фигуру меньше, это выглядело бы просто кощунством!

Таль в двух таких партиях не сдался и... набрал полтора очка! Гипноз? Везение? Полно, мы это уже слышали! Нет, дело, конечно, серьезнее. И здесь вновь не обошлось без психологических нюансов. Продолжая безнадежное, казалось бы, сопротивление, Таль прекрасно учитывал, что Смыслов, имеющий фигурой больше, ожидает немедленной капитуляции и совершенно не подготовлен к тому, что противник будет ожесточенно и находчиво обороняться. И вдруг Смыслов натолкнулся на дьявольскую изворотливость, на упрямую волю, на хитрость и коварство, для борьбы с которыми надо было «свистать наверх» такое же упорство, такое же желание победить, такое же мастерство. Все это у Смыслова, конечно, было, но он, считая, что игра сделана, поспешил с демобилизацией. И вот Таль в одной партии спасся с помощью вечного шаха, а в другой сумел завести своего противника в лабиринт комбинационных угроз и не только вывернулся, но даже вопреки, казалось бы, здравому смыслу выиграл!..

Я хочу верить, что будущий историк шахмат по достоинству оценит эти два успеха Таля. И не потому, что они отмечены особой глубиной или красотой комбинаций, нет! Но всех тех, кто действительно любит шахматы, эти две партии не могут оставить равнодушными. Ибо Таль, сделав ничью в одной и победив в другой партии при почти безнадежных позициях, показал могучую силу творческого духа, развенчал мнимое величие материального преимущества, еще раз доказал, что шахматы обладают неисчерпаемыми возможностями борьбы.

Было время, когда гениальный Капабланка, изверившись в творческом богатстве шахмат, предсказал им близкую «ничейную смерть». К счастью, целая плеяда шахматистов, в первую очередь советских, опровергла это мрачное предсказание. И все-таки обильные ничьи без какого-либо намека на борьбу нет-нет, да и заставляли вспомнить слова Капабланки.

Таль поставил на них крест! В пору, когда техника защиты неизмеримо возросла и когда выигрывать у шахматистов высокого класса стало куда труднее, он почти не делает ничьих! И это настолько непривычно, что один гротескист, отмечая чередование побед и проигрышей Таля в начале турнира претендентов, даже призвал его «остепениться». Надо ли называть стиль Таля «новым» или «старым» — это в конце концов не так уж важно! Куда важнее другое: своей игрой, в которой почетное место отводится фантазии, воображению, риску, Таль вдохнул в шах-

маты новую жизнь, изгнал из них шаблон и рутину, смелых окрылил, а робких заставил призадуматься.

Чтобы совершить такое, только таланта, даже самого яркого, мало — нужно еще, конечно, трудолюбие. Таль не просто трудолюбив, он готов сидеть за доской каждую свободную минуту. Именно это позволило ему быстро овладеть сложными теоретическими познаниями и еще в юном возрасте сравняться с умудренными опытом корифеями.

БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ

Имея в виду писателей, говорят: «Стиль — это человек». Эти слова можно целиком применить и к шахматистам.

Партии Талья пронизаны молниеносной быстротой, оптимизмом, верой в свой талант, в красоту шахмат. Таков и сам Таль — веселый, остроумный, чуть лукавый, самоуверенный, может быть, даже немножко больше, чем этого хотели бы его друзья и почитатели, и все-таки умеющий самокритично оценивать себя, свои достоинства и недостатки, а также и достоинства своих соперников.

После того как Таль в 1957 году впервые стал чемпионом страны, я разговаривал с ним, собирая материалы для очерка. И сейчас я позволю себе кое-что повторить из этого очерка: мне кажется, это будет небезынтересно.

Я побывал у Талья на другое утро после победы, после того незабываемого, бурного, суматошного вечера, когда на протяжении пяти часов не только сами участники турнира, но и зрители жили в каком-то нервном возбуждении.

Утро победы!.. Представьте себе юношу, еще сохранившего в своем облике черты подростка, слегка беззаботного, насмешливого, чуть наивно-го, но уже почувствовавшего свою силу.

В минуты обдумывания Таль нахмурен, он выглядит угрюмым, даже мрачным. Но когда партия кончается, молчаливая сосредоточенность уступает место неистощимой веселости. Кажется, что юноша всем своим видом так и говорит: «Ну, спросите меня о чем-нибудь, ну, поспорьте со мной, ну, дайте же я вам докажу, что вы ошибаетесь в этом варианте».

Сейчас, в это торжественное и вместе с тем суматошное утро, этот юноша был необычайно занят: визиты, письма, телеграммы. Одна от дяди: «Поздравляю тчк целую тчк благодарю излбавление от инфаркта...»

Звонит телефон. Одна из рижских газет спешит опередить конкурентов.

- Как настроение?
- Солнцем полна голова!
- Очень устали?
- Готов все начать снова!
- Что будете делать в ближайшее время?

Вопрос серьезный, и Таль отвечает серьезно: «Буду писать диплом. Тема? «Сатира в романе Ильфа и Петрова «12 стульев»».

Вот какой он был тогда: счастливый, удачливый, жадный к жизни, к учению и, конечно, к шахматам. С каким упоением отдавался он игре! В последнем туре чемпионата Таль готов был удовлетвориться ничьей. Она почти наверняка обеспечивала дежес первого места и гроссмейстерское звание. Так подсказывал здравый смысл, так совествовал осторожный Кобленц — его тренер

и наставник. Наверное, против такого исхода не возражал и противник Талья — гроссмейстер Толуш: еще не развеялся пороховой дым на полях сражений, где Таль учинил разгром целому гроссмейстерскому легиону.

Словом, все гороскопы предсказывали ничью. Но... аппетит приходит во время игры! После первых же ходов рухнуло здание, так старательно воздвигнутое Кобленцом на безупречных доводах рассудка. Едва фигуры вышли на рекогносцировку, как Таль ринулся в бой, оказавшись во власти непередаваемого ощущения, в котором слились воедино упоение битвой, горячий азарт, манящая и в то же время слегка пугающая жажда риска. Схватившись в железные тиски, Толуш, как ни пытался, не мог вырваться из них до конца встречи. Безумство храбрых — это высшая мудрость и в шахматах.

В то утро среди многих гостей Талья были и студенты Московского строительного института. Они пригласили его выступить с сеансом одновременной игры. Таль устал от турнира, у него было много неотложных дел, но он немедленно принял предложение. Когда Кобленц узнал об этом, он в ужасе схватился за голову.

— Поймите же, неудобно, — оправдывался Таль. — Ведь это студенты, мои товарищи!

Он слегка лукавил: помимо всего прочего, ему хотелось и поиграть тоже... Так бывало не раз. Однажды Кобленц и Таль прогуливались по рижским улицам. Когда они нагулялись, Кобленц сказал внушительно, глядя Мише в глаза:

— Ну, а теперь спать.

Таль кивнул головой:

— Конечно! Не на танцы же идти.

Успокоенный Кобленц вернулся домой. Но спустя некоторое время позвонила мать Талья и спросила, где Миша: он еще не возвращался.

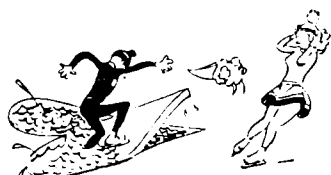
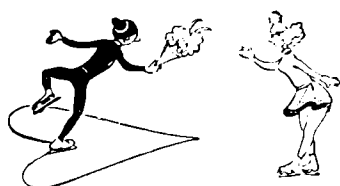
Кобленц отправился на поиски. По дороге зашел в шахматный клуб, но там происходил молниеносный турнир шашкистов, и, значит, Талья быть не могло. Уже собираясь уходить, Кобленц вдруг обратил внимание, что столпившиеся возле одного столика зрители явно пытались почему-то загородить играющих. В душу Кобленца закралось подозрение. Он решительно пробрался сквозь толпу, и... Да, да! Таль виновато глядел на него, смущенно улыбаясь! Пусть не в шахматы — хоть в шашки, он все равно готов играть... Вот какой он был тогда, юный чемпион СССР Миша Таль.

Прошло меньше трех лет, и шахматная Москва собралась в Доме ученых, чтобы послужить победителя турнира претендентов. Он возмужал, заметно возмужал, буяа аплодисментов его ничуть не смущает, только руки неестественно долго поправляют манжеты, выдавая легкое волнение.

Он, оказывается, не только шахматист, не только способный журналист, но и прекрасный лектор: находчивый, остроумный, быстрый. Вопросы, даже самые щекотливые, не заставляют его задумываться над ответами. Он, пожалуй, чуть-чуть позирует — ну, что же, ведь ему всего двадцать три, это пройдет, он умный, он все поймет. Я слушаю его и думаю: «Как хорошо, что ты не «остепенился», что ты все тот же жизнелюбец и оптимист Миша Таль! Как хорошо, что ты, не сворачивая, идешь извечно трудным путем первооткрывателей, путем отважных духом, путем неутомимых искателей красоты! И пусть твоя игра будет вечной загадкой, разгадывать которую любителям шахмат никогда не надоеет».



**ЗИМНЯЯ
ФАНТАЗИЯ**



Рисунки А. Волкова (Минск).

В НОМЕРЕ:

- Евг. ЕВТУШЕНКО. «Считайте меня коммунистом». Стихи . . . 3
Сергей ЛЬВОВ. Спасите наши души! Повесть 5

Стихи молодых

- В. КОСТРОВ. Старшим. Пусть и хотел... 50
С. ДРОФЕНКО. Путькладчик. Едва зарю сыграет ветер . . . 50
Николай ПОГОДИН. Янтарное ожерелье. Роман. (Продолжение) 51

Поговорим о книгах

- Степан ЗЛОБИН. Книга о большой любви 74
«Ах, зангезур-зангизбар!» 75

Разговор по душам

- А. ЕЛАГИНА. Спор 76

К нашей вкладке

- Виктор САЖИН. Перед открытием 81
Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ. Солдатский дневник будущего поэта . 82
Семен ГУДЗЕНКО. Из записных книжек (1941—1942) 83

Бригада «Юности» в колхозе «Заря социализма»

- С. КРУТИЛИН. Нова. (Репортаж). Стихи Семёна СОРИНА.
Рисунки художника Алексея ПАУКОВА 87

Большое в малом

- Э. ЧЕРЕПАХОВА. А такт есть? 94

Заметки и корреспонденции

- Н. ПРУДКОВА. Москва, площадь Коммуны 97
В. ВИЛИН. Автограф Джузеппе Гарибальди 99
Е. МАРКОВ. Под куполом цирка 100

Панорама «Юности» 102—105

Шахматы

- Вик. ВАСИЛЬЕВ. «Загадка Таля» 106

«Пылесос» 112

На 1-й и 4-й страницах обложки — линогравюры М. РОЙТЕРА
На 2-й и 3-й страницах обложки — рисунки Е. РАСТОРГУЕВА из се-
рии его работ, подготовленных для выставки «Советская Россия». На-
звание рисунка на 2-й странице — «Дождь», на 3-й странице —
«Москвичка».

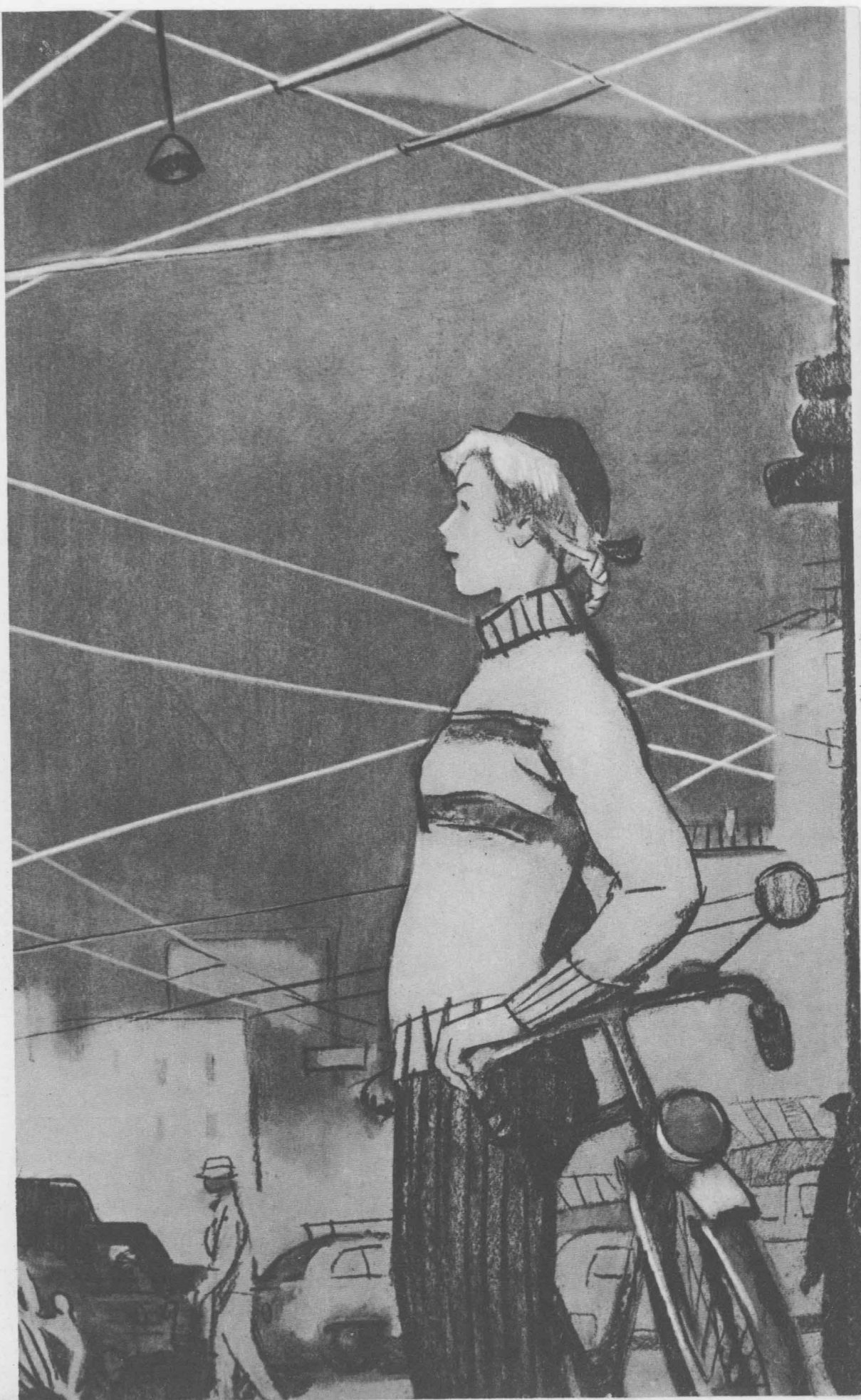
Художественный редактор
Ю. Цишевский.

Технический редактор
Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воробьёвского, 52. Телефон: Д 5-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 00208. Подписано к печати 15/1 1960 г. Тираж 450 000 экз.
Изд. № 147. Заказ № 2992. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63.
Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.





Цена 4 руб.

Главный редактор В. П. КАТАЕВ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: И. Л. АНДРОНИКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК, Г. А. МЕДЫН-
СКИЙ, Н. Н. НОСОВ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.